

А. С А М О Й Л О

Две
жизни

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1958

А. САМОЙЛО

Две жизни

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА—1958

Воспоминания генерал-лейтенанта в отставке А. А. Самойло «Две жизни» охватывают большой исторический период — с конца XIX в. до наших дней.

В первой части воспоминаний автор рассказывает о своем детстве, учебе в гимназии, юнкерском училище, Академии Генерального штаба и о своей службе в царской армии.

Вторая часть посвящена описанию событий от Октябрьской революции до Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., участником которых был автор. Особенно подробно автор рассказывает о борьбе с интервентами на Севере во время гражданской войны, где он командовал 6-й Отдельной армией.

Воспоминания А. А. Самойло рассчитаны на офицеров Советских Вооруженных Сил и широкие круги гражданских читателей.



А. А. Самойло
(1957 г.)

«Всякая жизнь интересна; не личность, так среда, страна занимают, ж и з н ь занимает».

А. И. Герцен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В С Т А Р О Й Р О С С И И

ДЕТСТВО И ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ

«Nescire, quid, antequam natus
sis, acciderit, id est semper esse pue-
rum» *.

Я родился в Москве в октябре 1869 года. Мой отец в то время был военным врачом во 2-м гренадерском Ростовском полку, стоявшем в Москве в Спасских казармах. Он хорошо владел языками, отлично знал математику. Склонность к этому, вероятно, была унаследована им от своего отца, моего деда, бывшего в звании профессора математики директором Смоленской гимназии.

По генеалогическим изысканиям одного из моих родственников — литератора, не имевшего, по-видимому, в свое время более существенных занятий, — род наш известен еще со времен кошевого атамана, а затем и гетмана запорожского войска Самойло-Кошка (Самийло-Кішка). Последний родился в 1530 году в г. Каневе, в семье простого казака, в тревожную пору непрерывных татарских набегов. После смерти в 1564 году гетмана Вишневецкого, сброшенного турками на острые колья, Самойло-Кошка был выбран сначала кошевым атаманом, а затем гетманом. Двадцать шесть лет он провел в плену у турок прикованным к галерам. После побега из плена в 1602 году убит в национально-освободительной войне с поляками **.

* «Не знать, что было до того, как ты родился, значит, остаться навсегда ребенком». — Цицерон.

** См. А. К а ш е н к о. Историчне оповидання про гетьмана ка-
зацького Самийло-Кішку, Катеринослав, 1917.

В ряде литературных источников особенно отмечается популярность Самойло-Кошки как прославленного казачка, который вывел невольников из турецкого плена. Читая еще мальчиком думу о Самойло-Кошке, я очень гордился его боевыми подвигами и в порыве ребяческого тщеславия всерьез сожалел лишь о том, что он был просто убит в бою, а не зажарен поляками и даже не посажен на кол турками.

Деятельность Самойло-Кошки была заметной страницей в истории Украины и осталась в летописях героической борьбы украинского народа против польско-шляхетского порабощения, за единство с братской Россией. Имя его стоит в одном ряду с замечательными именами предшественников славного Наливайко и доблестного Богдана Хмельницкого.

В настоящее время фамилия Самойло уникальна. Один из моих двоюродных братьев в связи с этим попал однажды в забавное положение. Он ехал куда-то по железной дороге и, проснувшись ночью, в купе на верхней полке увидел над своей головой незнакомый чемодан с надписью «Самойло». Уверенный, что никакого другого Самойло здесь не может быть, он решил, что чемодан принесла провожавшая его сестра, но забыла предупредить об этом. Едва он снял чемодан, чтобы рассмотреть его поближе, как пассажир, лежавший на соседней полке, с крайним возмущением воскликнул: «Зачем это вы по ночам копаетесь в чужих вещах?»

Объяснение, грозившее скандалом, завершилось родственными объяснениями: второй Самойло оказался двоюродным братом первого. Но, живя в разных городах, они еще ни разу до сих пор не видели друг друга.

Окончив с отличием Московский университет, отец мой получил право на длительную заграничную командировку в Германию для усовершенствования в медицинских науках. Мне было тогда четыре года. Мы жили в одной квартире с сестрой моей матери, Екатериной Васильевной Нечаевой, старой девой, на углу Петровки и Столешникова переулка, в церковном доме, по соседству с известным тогда в Москве французским шляпным магазином Лемерсье.

Дела в семье сложились в то время тяжело. Два моих младших брата были слабого здоровья и непрерывно болели. Мать была вынуждена с ними и няней, Анной Пав-

ловной Демидовой, жить отдельно от остальных, на другой половине квартиры. Екатерина Васильевна и Егор, денщик отца, предоставленный нам в услужение, привязались ко мне, как могли. Имея небольшие средства, тетушка не отказывала мне ни в чем. Сама она проводила все время в чтении преимущественно французских романов. Хорошо, что Егор был человек твердый, степенный и грамотный: он сдерживал меня во всех баловствах. Ему я обязан тем, что рано выучился читать и не испортился вконец.

Этот порядок нашей жизни остался и по возвращении отца из Германии. Будучи очень занятым службой, практикой и научными работами, он всецело предоставил дело моего воспитания Екатерине Васильевне. И вот мне, шестилетнему мальчишке, разрешалось делать все, что я хотел. Лишь иногда вечерами отец занимался со мной по арифметике и языкам. Но главное влияние на меня имел в ту пору Егор.

Егор был удивительным самородком — он самостоятельно выучился читать по «Родному слову» Ушинского и начал учить меня по этой книге, а также по сборнику сказок Афанасьева. Ложась спать, я непременно требовал, чтобы Егор рассказывал мне что-нибудь на сон. И он охотно выполнял мой просьбы.

Мать я почти не видел и не признавал. Отца любил чрезвычайно и очень огорчался, когда он в неудовольствии за мою рассеянность, теряя терпение на занятиях по арифметике, брал меня за ухо, не причиняя, впрочем, никакой боли. Занятия по языкам — немецкому и французскому — шли у нас лучше. Рано начал я заниматься и по английскому языку, что произошло случайно. Внизу, под нашей квартирой, тетка снимала маленькую комнатку для своего брата — Ивана Васильевича. Последний был выгнан из духовной академии за то, что обозвал обер-прокурора «святейшего синода» Победоносцева * прохвостом, а Каткова с его «Московскими ведомостями» — как-то

* Победоносцев, профессор-юрист, один из учителей Александра III, фанатик идеи «самодержавия, православия и народности». Вместе с Катковым редактировал газету «Московские ведомости». Горячим сторонником его был Суворин, редактор «Нового времени». Все они поддерживали дворянско-бюрократический режим. Тотчас после манифеста 17 октября 1905 года Победоносцев ушел в отставку, передав пост главы духовного ведомства князю Оболенскому.

еще хуже. Отец пришел в восторг от поступка Ивана Васильевича, в знак чего охотно согласился на его предложение начать со мной занятия по английскому языку, тем более что Иван Васильевич владел им в совершенстве. К несчастью, из-за унижения, которому Иван Васильевич подвергся, он начал пить и пить запоем. Немалая вина в этом ложилась и на меня. «Санька, — часто говорил Иван Васильевич, зная, что мне ни в чем не будет отказано, — попроси у тетушки денег на водку». И я тем охотнее делал это, что такая его фраза означала перерыв в занятиях английским языком. Наоборот, слова: «Санька, попроси у тетки денег опохмелиться», — предвещали возобновление наших занятий. С течением времени промежутки между этими фразами делались все длиннее, пока бедный Иван Васильевич не спился окончательно. Его отвезли тогда в подмосковное село Пятница-Берендеево к какому-то знакомому тетки — дьякону, тоже Ивану Васильевичу и еще более горькому пьянице.

Для меня это событие связано и с приятными воспоминаниями, так как тетка раза три поручала Ивану Васильевичу — дьякону, приезжавшему в Москву на своей телеге, отвозить меня к моему дядюшке в Берендеево для занятий по английскому языку. В деревне же я мог совершенно свободно ходить по лесам и болотам, играть в бабки и даже стрелять из старого ружья.

Дьякон, садясь в телегу, обычно клал под себя топор. На мой вопрос, зачем он это делает — ведь неудобно сидеть на топоре, объяснил: «Хочу, чтобы топор был под рукой: поедem лесом ночью, и, если нападут разбойники, буду им головы расшибать». Я очень жалел, что мне не пришлось ни разу видеть такое применение топора в руках человека, привыкшего махать кадиллом. К тому же я недоумевал: топор должен быть под рукой, а клали его совсем под другую часть тела.

Несравненно хуже повлияла на меня тетушкина страсть к романам. Я читал все, что попадало мне под руку из ее книг, а также из шкафа отца. Я отлично помнил сюжеты многих романов; рано понял, что значит влюбляться, и знал, что любовь может кончаться и счастливо и несчастливо. Едва я начал ходить в соседнюю приходскую школу, как влюбился сам в Машу Брюшкову, дочку меховщика с Неглинного проезда. Ухаживая за

ней, я приносил ей из церкви просвирки, добываемые мною по протекции Егора, ставшего помощником церковного старосты. Помню, что во мне рано развилась сентиментальность, не оставившая меня и после.

Здоровым противовесом этому была появившаяся у меня другая страсть — пилить, строгать, точить. Благодаря отцу, который передал нам с Егором верстак и токарный станок с полным набором инструментов, я мог вволю предаваться этим занятиям. Чтобы еще больше приохотить меня к работе, отец познакомил меня с Геништой — командиром нестроевой роты Ростовского полка. Геништа стал моим главным наставником во всех ремеслах.

Чтение глупых книг и увлечение ремеслами шли в определенный ущерб серьезной учебе, но еще долго я отдавал этому многие часы своей ранней юности.

Таким образом, главными моими учебными занятиями перед поступлением в гимназию были: теоретические занятия по языкам — немецкому и французскому с отцом по вечерам и английскому у Ивана Васильевича, до его отъезда в деревню. Практики было вдоволь и самой разнообразной. Владелец магазина француз Лемерсье держал породистых голубей и выписывал из Парижа мастериц-француенок. Плохо зная по-русски, он охотно пользовался бы моей готовностью лазать по крышам, гонять первых и развлекать разговорами вторых, если бы Егор предусмотрительно не уводил меня от опасностей как физических, так и моральных. Не менее занимательна была практика в немецком языке у моего сотоварища по двору Володи Михайловского, сына большого германофила, содержателя меблированных комнат на углу Столешникова переулка. Там периодически поселялись приезжие из Германии, а преимущественно «aus Riga» актрисы и кафешантанные певицы, с которыми Володя, а вместе с ним и я нередко весело болтали.

Отец не раз удерживал меня от этих знакомств и даже делал предостережения Михайловскому, но наблюдать за мной было некому, даже Егору считалось неудобным, как солдату, ходить по меблированным комнатам.

Желая приохотить меня к чтению русских классиков вместо французских романов, отец часто сам читал мне отдельные произведения. Он владел даром выразительного чтения, любил стихи и часто увлекал меня своим

чением. Один случай особенно остро запечатлелся в моей памяти. У меня на плече загрязнившаяся царапина превратилась в карбункул. Его надо было разрезать. Не зная, как склонить меня к этому, отец стал читать мне «Вий» Гоголя, а затем, прервав чтение, заявил, что продолжит его только после того, как нарыв будет разрезан. Я не только согласился на операцию, но и перенес ее с терпением, удивившим отца. Рубец на плече остался у меня до сих пор как неизгладимое свидетельство о впечатлении, произведенном на меня повестью Гоголя.

Помню, как двумя годами позже отец читал нам любимые места из «Войны и мира» и «Анны Карениной». Слушая его, я будто наяву видел перед собой и Долохова с бутылкой рома, сидящего на окне, и Вронского во время скачек и сам переживал все их ощущения.

Так прошли годы до русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Отец уехал в действующую армию, оставив нас, мальчуганов, с матерью и теткой. Уезжая, отец просил устроить меня в подготовительный класс гимназии, о чем уже договорился со своим близким товарищем по университету Дмитрием Федоровичем Назаровым, преподавателем математики в 3-й гимназии. Назаров много помог матери содействием и советами, но своим преподаванием в гимназии оказал мне медвежью услугу, о которой, как читатель увидит ниже, я не мог забыть на протяжении всей своей жизни. Другой просьбой отца было заставить меня брать уроки музыки. Однако из этого, к моему более позднему огорчению, ничего не вышло. Слишком не вязалось это занятие с моим тогдашним упрямым стремлением к самостоятельности.

Лето 1877 года мы жили на даче в селе Раменском, в 60 верстах от города по Рязанской дороге; тетка лечилась в Старой Руссе, и я был настолько предоставлен самому себе, что мать даже отпустила меня одного в Москву для поступления в гимназию.

Годы войны особых впечатлений во мне не оставили, но пробудили живой интерес к военному делу. Помню, как я был горд подвигами дяди (брата отца), только что выпущенного офицером из Михайловского артиллерийского училища. Он взорвал в бою у Браилова на Дунае удачным выстрелом из берегового орудия турецкий броненосец «Лютфи-Джелил». Я носил в гимназию и показывал товарищам портрет дяди, напечатанный на кон-

фетных бумажках. Столь же гордился я заслугами отца, работавшего под руководством знаменитого Пирогова. Отец получил все ордена с мечами, до Владимира включительно, за оперирование и перевязку раненых на полях сражений под неприятельскими пулями; его письма с войны глубоко занимали мое воображение.

Я поступил в 3-ю Московскую гимназию, помещавшуюся на Большой Лубянке (ныне улица Дзержинского), в бывшем доме князя Пожарского, предводителя народного ополчения в 1611/12 году; теперь это здание Министерства внутренних дел. На занятия я всегда шел проходным двором с Петровки на Неглинный проезд, мимо мехового магазина Брюшкова, в надежде хоть издали увидеть пленившую меня Машу, дочку хозяина.

Отец вернулся в Москву с полком по окончании войны, и я часто слышал от него слова, которые он любил повторять, слова высоко почитаемого им своего учителя по военно-полевой хирургии Н. И. Пирогова:

«Война заставила Россию сдаться, как и Крымская война, перед нашим внутренним бессилием». Речь шла о последствиях крепостного права и о самодержавии как источниках бессилия. Эти слова были первыми политическими мыслями, оставшимися в моей голове, хотя, конечно, полный смысл их оставался мне непонятен.

Отец увлекал меня рассказами о войне, показавшей, как и другие войны, великую любовь русского народа к своей родине, о силе и храбрости солдат, их готовности самоотверженно защищать наших братьев — балканских славян, томившихся под турецким игом. Сильную ненависть вызывала у отца подстрекательская политика Англии. Он горячо сочувствовал национально-освободительной войне балканских славян и был под влиянием морального воодушевления, охватившего русский народ. Не мог он без большого волнения говорить и о гениальном Пирогове, вновь, как и в Крымскую войну, показавшем на поле боя свое умное и самоотверженное мужество хирурга, о подвигах русского офицерства, а в особенности простого русского солдата, заложившего в этой войне основу нерушимой дружбы русского и болгарского народов.

Связи отца с Ростовским полком настолько упрочились, что все мы в семье поддерживали самые дружеские отношения со многими его офицерами. Полк этот сде-



А. И. Самойло
в должности дивизионного врача 1-й гренадер-
ской дивизии (1892 г.)

дился как бы второй семьей не только для отца, посвящавшего службе все свое время, но и для меня. Летом я ежедневно бегал из Коптевских выселок, где мы снимали дачу, через поле и Всехсвятскую рощу к отцу в лазарет.

Особыми симпатиями отца в полку пользовались офицеры, отличавшиеся свободомыслием и независимым поведением, справедливые командиры, умевшие заслужить любовь солдат. В этот «кружок», как в шутку называл отец своих полковых друзей, входили ротные командиры: ярый поляк Корсак, два брата украинцы Геништы, умный и хитрый еврей врач Гольдберг и полковой фельдшер Зайцев, воспитанный отцом и беспредельно ему преданный; часто среди членов «кружка» появлялся полковник Стессель (известный комендант Порт-Артура в русско-японскую войну), был тут и наш денщик Егор — лучший солдат нестроевой роты у Геништы.

Дружба их обращала на себя внимание и чуть ли даже не вызывала подозрений начальника дивизии генерала Водара. Он намекал на это отцу, когда последний получил должность полкового врача. В 80-х годах, когда отец был уже дивизионным врачом в 1-й гренадерской дивизии в чине действительного статского советника, он установил самую живую связь с офицерами 1-го гренадерского Екатеринославского полка. В этом полку уже после смерти отца начал в 1893 году свою службу и я, встретив там самое теплое отношение к памяти отца.

Еще будучи с Ростовским полком на войне в Азиатской Турции, отец, как врач, спас от смерти командира гренадерского корпуса генерала Роопа. Его и всю его семью отец продолжал лечить и в Москве и не раз вызывался для этой цели в Одессу, когда генерал Рооп получил назначение одесским генерал-губернатором. В первое же лето по возвращении в Москву после войны Рооп настоял, чтобы отец с семьей провел у него теплый сезон в подмосковном имении Леонове (по Владимирскому шоссе), в 20 километрах от станции Обираловки, увековеченной Львом Николаевичем Толстым.

В этом имении я впервые, несмотря на разницу лет, дружески сошелся с сыном Роопа Владимиром, тогда еще 15-летним московским кадетом, и не терял с ним связи до самой империалистической войны.

Дружба наша началась со сходства характеров. Владимир Рооп был красивый, изящный мальчик, танцор и скрипач; впоследствии, закончив Пажеский корпус, он сделался блестящим кавалергардским офицером, несколько, однако, не изменившись в своих товарищеских отношениях ко мне. Однажды в Леонове он позвал меня поехать с ним в лодке на мельницу на речке Пехорке, тогда запруженной и бывшей у имения Роопа довольно широкой. Владимир часто туда ездил, так как ему нравилась дочка мельника. Я тоже не преминул влюбиться в гостившую у нее подругу, хорошенькую польку Тосю Дмоховскую. Вскоре, однако, выяснилось, что Владимир, приглашая меня, действовал не вполне бескорыстно: ему нужен был компаньон, говорящий по-французски, для вящего эффекта в своем ухаживании. Приятное знакомство продолжалось недолго: лето кончилось, Рооп отъезжал в Петербург, в Пажеский корпус, меня — в Москву, — *turpe dictu!* * — ходить в гимназию, хотя бы и мимо магазина Брюшкова.

Живо помню, что в Леонове я впервые сильно обиделся на свою тетку Екатерину Васильевну: мне хотелось иметь такие же сапоги, как у Владимира, а она по наивности заказала их за пять целковых тут же, у местного крестьянина сапожника села Леонова! Можно себе представить, как они, сшитые из черного товара, выглядели рядом с щегольскими ботфортами Владимира и как велика была обида для влюбленного сердца!

Из Леонова мы вернулись в новую квартиру, снятую на Большой Якиманке, в доме купца Попова. При доме был большой сад и двор. У хозяина был сын, учившийся в Коммерческом училище (еще хуже, чем гимназия!), и две дочери: одна чрезмерно толстая, а другая, младшая, — худенькая и хорошенькая. Сын стал моим товарищем по столярничеству и травле кошек в саду, а младшая дочка вытеснила из моего сердца Машу Брюшкову и Тосю Дмоховскую.

Все свое свободное время отец посвящал или занятиям со мной языками, или беседам на разные просветительные темы. В них редко участвовали мои младшие брат и сестра. Мое же присутствие при всех разговорах отца с навещавшими нас родственниками, с матерью

* Стыдно сказать!

и Екатериной Васильевой не только разрешалось, но и поощрялось взрослыми.

Отец опасался, что на моем здоровье могут отразиться те или другие наследственные недостатки его самого, и проявлял постоянную заботу о моем здоровье и правильном режиме. Вспоминая о его беседах на эту тему, я вижу, что отец был горячим приверженцем Дарвина и Тимирязева.

Занятый весь день на службе и поездками по многочисленным пациентам Московского гарнизона, от командира гренадерского корпуса Малахова и до семей полковых офицеров, отец не забывал и о научной работе. Он выписывал много книг, преимущественно из Германии, и читал их часто далеко за полночь; от этого у него развились хронические головные боли, мучительно отражавшиеся и на здоровье и на общем самочувствии. На своем наглядном примере он пояснял мне вред такого ненормального режима и строго наблюдал, чтобы я не засиживался позже 11 часов вечера. Этой благодетельной привычкой я всецело обязан отцу. До настоящего своего преклонного возраста я почти не знал головных болей. При этом я всегда полностью воздерживался от вина и курения (вред последнего отец всегда ощущал на себе). Я убежденно объясняю свое здоровье, бодрость и выносливость тем, что следовал заботливым советам отца.

К сожалению, я мало обращал внимания на настойчивое предупреждение отца уберечься от грыжи, как наследственного недуга. Мой дед страдал им и также предостерегал от него отца, а у последнего недуг развился лишь в годы войны — в тяжелых условиях жизни на Карском плоскогорье Азиатского театра военных действий. Предупреждение отца о возможности заболеть я воспринимал с недоверием, как один из доводов отказаться от военной службы, связанной с верховой ездой. Действительность подтвердила мнение отца. Служба в пехотном полку никаких осложнений не вызывала, но верховая езда (участие в конных охотах «за лисичкой», стаж в кавалерии и артиллерии), несомненно, оживила наследственное предрасположение. Содействовала этому — уже по моим собственным наблюдениям — моя активная педагогическая деятельность, чтение лекций в больших аудиториях, когда приходилось сильно напрягать

голос; к 50 годам я отчетливо чувствовал, как прогрессировал недуг.

Так полностью оправдалось предсказание отца.

Отношение к вину у нас с отцом было одинаковое. У нас обоих даже небольшие порции легких вин вызывали сильные головные боли и непреодолимый тяжелый сон. Однажды во время экскурсии по Абхазии на исторической Афонской горе жара склонила меня выпить два стакана воды с очень небольшой долей легкого вина. В результате я пролежал весь день на траве, тут же у стола, не будучи в состоянии переменить своего положения на более удобное.

У меня в памяти хорошо сохранились горячие нападки отца на литературу, читавшуюся моей тетушкой. Интересными для меня были беседы отца с нашим близким родственником А. Д. Алентьевым на политические темы. Это был заслуженный казачий полковник, георгиевский кавалер, человек простой, даже малообразованный. Его любознательность по всем общественным и политическим вопросам охотно удовлетворялась отцом.

На основании этих разговоров у меня понемногу составились первые представления как о нашем собственном царе, так и о немецком кайзере Вильгельме, которому отец еще тогда предсказывал — быть «со свернутой шеей». Мое представление о царе оставалось довольно туманным, вероятно вследствие более осторожных высказываний о нем; знакомство же с Вильгельмом было гораздо полнее, разностороннее. Затем, правда много позже, у меня сложилось уже твердое понятие о Вильгельме как о гордом, самоуверенном, враждебном нам правителе, безосновательно считавшем себя гениальным ученым, оратором, политиком и военачальником, осуществляющим высокое предназначение владеть всем Востоком («Drang nach Osten») и властвовать над всеми морями.

Узнав из этих же разговоров о привезенных отцом из-за границы запрещенных книгах Герцена и других писателей, я поспешил прочитать их. Однако я не нашел в этих книгах ничего интересного, что, конечно, можно объяснить только тем, что я был еще слишком не подготовлен к такому чтению, ответа же на вопрос — как немецкие рабочие будут «свертывать шею Вильгельму», что меня больше всего интересовало, — в этих книгах тоже

не было. Отец объяснил мне, что главная тема запрещенной литературы — тяжелая жизнь народа. Рассказы отца меня очень трогали, так как он сопровождал их чтением стихов Некрасова и Кольцова, своих любимых поэтов. Читал он артистически, представляя голосом и в лицах крестьян и даже крестьянок, чем приводил в восторг Егора и няню Анну Павловну, приходивших его слушать. Особенно хорошо и трогательно изображал он разговор двух крестьянок, из которых одна с плачем говорит другой о смерти сына:

Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер и в землю зарыт.

Егор и няня не раз рассказывали о своей жизни, чем помогли мне острее почувствовать разницу в жизни богатых и бедных в городе и деревне. Эти рассказы явились семенами, давшими затем свои всходы — правильные взгляды на социальную структуру общества и на общественную жизнь.

Незаметно развивалось во мне и чувство любви к роду, к своей земле и ее природе. Отец в изобилии покупал мне книжки, которые читались и комментировались мной совместно с Егором. Он охотно, как взрослое дитя, и учился со мной, и с увлечением играл в городки и в бабки — мою любимую игру, которой я не изменял до старших классов гимназии. Особенно Егор восхищал меня умением так заливать бабки свинцом, что они при бросании всегда ложились на «плоску» (на плоский бок), а не на «жог» или «низку» (на другие свои бока). Это очень важно при жеребьёметании. Попутно Егор снабжал меня удачно выделанными самострелами и всякого рода забавными поделками из дерева, в чем был великим искусником.

Талантам Егора удивлялся и сам отец, он часто заказывал ему разные приспособления для своих научных работ и опытов и восхищался мастерством выполнения. Имей Егор надлежащее воспитание и образование, он, наверное, мог бы стать хорошим инженером или ученым.

Так складывались во мне еще в ребяческую пору представления о жизни, о неравенстве положения людей в обществе, о различии между физическим и умственным трудом, о несправедливом распределении земных благ.

Другой характер носили разговоры отца с матерью и Екатериной Васильевной.

Мать подвергалась упрекам за излишнюю нежность ко всем нам, за отсутствие необходимой строгости в нашем воспитании, а также за непрактичность в ведении домашнего хозяйства, влекшую к непредвиденным и излишним расходам. Любя музыку, отец нередко сетовал и на то, что мать не сумела приохотить меня к фортепьянной игре. Музыкальная культура, говорил он, часть национальной культуры народа, она является выражением его зрелости, как вообще все искусство.

Мою тетушку Екатерину Васильевну отец очень любил и уважал, но, как я уже говорил, осуждал ее за выбор книг для чтения (он не догадывался, как широко ее книгами пользуюсь и я). Упрекал отец тетушку и за то, что она портит меня своим безмерным баловством. Эта тема всегда доводила ее до слез. Нелегко сносила она и отцовские нападки на любимые ее произведения обоих Дюма, Поль де Кока и других, которые отец осуждал весьма резко. Еще в молодости доставалось тетушке от отца и брата Ивана Васильевича за чтение «Русского вестника» и «Гражданина». Настоячиво рекомендовалось ей заменить их «Современником» и «Отечественными записками». Недолюбливали они оба, и отец и дядюшка, Ибсена и Гауптмана.

В вину Ибсену ставились его пессимизм, отвлеченность и неясность идей, особенно высказывание, что его «прельщает не сама свобода, а лишь борьба за нее». В вину Гауптману — его грубый взгляд на человеческую природу, идея о передаче зла по наследству, выступление против культа масс в пользу аристократической личности.

Зато весьма поощрялось чтение Золя и Гюго, «Разбойников» Шиллера, «Путевых картин» Гейне, «Обломова» и «Фрегата «Паллады» Гончарова, «Записок охотника» Тургенева или «Энеиды» Котляревского, этой реалистической поэмы-сатиры на крепостное дворянство и чиновничество. С этими книгами в руках мне не возбранялось даже садиться обедать, особенно когда я обедал в обществе тетушки или матери, не дожидаясь прихода отца.

Даря мне книгу Гейне, отец сказал: «Люби его — это писатель, сочинения которого запрещаются, но будут всегда дороги людям». Этот завет отца мне впоследствии напомнил слова Салтыкова-Щедрина о литературе вообще: «Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время

обратится частью в развалины, частью в навоз, одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята от законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего».

Нападки отца на Екатерину Васильевну за чтение ею легкомысленных книг были связаны у него с любовью к отечественной литературе и искусству, к русскому языку. Эта любовь вылилась прежде всего в исключительное уважение к Большому и особенно к Малому театрам. Малый театр привлекал отца тем, что он видел в нем театр нового типа, связавший свою деятельность с живой общественной жизнью, выработавший свой собственный репертуар под просвещенным руководством великого русского актера М. С. Щепкина и драматурга А. Н. Островского.

Время от времени отец устраивал домашние литературные чтения для нас всех, объяснял нам важнейшие события общественной жизни, знакомил с новыми веяниями в литературе. Так, в связи с убийством Александра II в 1881 году он объяснил мне, чем оно было вызвано и насколько бесполезно, так как одного царя заменили другим. Я помню, что истинную ценность наименования царя «освободителем» отец пояснил Алентьеву на примере французского короля Людовика XI, прозванного «святым», между тем этот Людовик при казни одного из своих герцогов заставил шестерых его детей на коленях стоять под эшафотом, под ручьями крови отца.

В особой любви отца к Кольцову, Некрасову, Шевченко, Гоголю, Герцену и Салтыкову-Щедрину я теперь вижу отражение того общественного и политического подъема в России и современного ему подъема революционного движения на Западе, которые не могли не захватить гуманного и образованного человека.

О политических взглядах отца я могу судить по беседам его с Алентьевым. Помнится, отец не мог равнодушно говорить об Англии, по-видимому, под впечатлением крымской и турецкой войн, а также воспоминаний деда об интригах королевы Виктории и ее министров в период наполеоновских событий. Этим я склонен объяснить и крайнюю сдержанность отца ко всем английским писателям. Зато имя Дарвина всегда ставилось отцом в одном

ряду с именами Пастера, Менделеева, Тимирязева, Пирогова, Мечникова.

Мечников в моем воображении представлялся мучеником, пострадавшим от произвола самодержавия, и почему-то соперником немецкому Вирхову. О последнем много говорил отец в беседах со своими товарищами докторами, причем это имя нередко служило предметом ожесточенных споров. Присутствуя при встречах отца с его товарищами, я видел, что к отцу все они относились с большим уважением: ценили опыт, вынесенный им из русско-турецкой войны, и глубокое изучение трудов Пирогова по полевой хирургии. Благоговей перед Менделеевым, отец всегда имел его книгу «Основы химии» как настольную.

Иногда предметом споров отца являлись журналы и газеты, причем из газет, по его мнению, можно было читать лишь «Русские ведомости», как серьезный орган, пристально следивший за общественной жизнью страны; из журналов он предпочитал другим «Отечественные записки».

Следуя вкусам отца, я продолжал выписывать «Русские ведомости» и после его смерти, вплоть до моего переезда на службу в штаб Киевского военного округа.

В своей личной жизни отец был донельзя скромнен. Ел чрезвычайно мало, вина не выносил по свойству организма, не признавал карточной игры, избегал общения с лицами знатными и богатыми.

В такой семейной обстановке проходили мои первые гимназические годы. В седьмом, а затем и в восьмом классе я начал испытывать чувство неудовлетворенности. Виной этому прежде всего был я сам, моя привычка к чтению всего, что попадало под руку. Приходя из гимназии, я садился обедать с книгой и не оставлял ее уже до вечера. Уроки откладывались на самый поздний час. Инстинктивно чувствуя в себе некоторые способности, я быстро сообразил, что нецелесообразно корпеть над учебниками, когда, лишь перелистав их, можно получить тройку — балл душевного спокойствия. Все сильнее росло во мне желание обменять гимназию на военное училище, в крайности — на кадетский корпус. До поры до времени я не решался говорить об этом отцу, а потому не понимал толком, осуществимо ли мое желание.

Не зная также, какими должны быть учителя, я тем не менее был недоволен своими.

По оказываемому ему почтению первое место между учителями 3-й гимназии занимал законоучитель, протоиерей Языков. Плотный седой старик, одетый обычно в шелковую фиолетового цвета рясу, он важно шествовал на занятия, не обращая внимания на почтительные поклоны учеников. Входя в класс, он после молитвы садился за кафедру и, уставясь в стол, читал проповедь или слушал вызываемого «господина такого-то», ни разу не взглянув на нас. Будучи хорошо знаком с моей тетушкой Екатериной Васильевной, он не раз говорил ей, что я, верно, такой же еретик, как и мой отец, который в церковь не ходит и постов не соблюдает. Исходя из этих соображений, он не находил возможным ставить за мои ответы выше тройки. Так эта тройка сопровождала меня до самого выпуска, когда Языков просто изменил ее на четверку, найдя неприличным даже для себя как законоучителя и духовного наставника выпускать с тройкой нераскаявшегося грешника. Все же я не мог простить ему осуждающих слов об отце, человеке, готовом всем помогать, никогда не говорившем неправды, лечившем безвозмездно бедных, часто помогая им не только советами, но лекарствами и деньгами. Ведь сказал же Лессинг в своем «Натане Мудром», что «сила религии в любви человека к человеку, а не в догматах и обрядах».

Плохую память о себе оставил у меня и учитель математики Назаров, несмотря на его давнюю дружбу с отцом. Языкова я быстро забыл, выйдя из гимназии, Назарова же вспоминал всю свою жизнь. По дружбе к отцу он мне потворствовал на уроках, снисходил к слабому знанию заданного, не проверял, как я усвоил тот или иной раздел арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии. В результате у меня создались серьезные проблемы в этих предметах, а затем появилась на их основе нелюбовь к точным наукам. Помню, как трудно мне было справляться с механикой в военном училище и геодезией и астрономией в военной академии.

Несмотря на мою склонность к литературе, я не сохранил приятного воспоминания о преподавании этого предмета. Учителем русского языка у нас был Владимир Иванович Шенрок. Стол учителя ставился обычно вровень с двумя передними ученическими партами. Ученик,

вызванный к столу, мог при желании засматривать в лежащие на парте учебники, особенно когда последние услужливо клались вверх ногами. Естественно, я не был из числа очень щепетильных на этот счет и спокойно все считывал, отвечая урок. Только для Гоголя, которого не зная основательно я не считал для себя приличным, я делал достойное исключение. Очень подозреваю, что деликатный Владимир Иванович замечал наши проделки, но не имел духа положить им конец.

Учителя древних языков, особенно главного — латинского, Ходобай и Черный, были тупыми чешскими немцами, очень плохо знавшими русский язык. На грамматику языка оба они смотрели, как на катехизис.

За переводом учениками текстов они следили по своим подлинникам с надписанными заранее русским подстрочником и зло критиковали всякую неточность, допускаемую нами. Применить надлежащим образом грамматику к тексту они были не в состоянии. От этой мертвечины в преподавании жестоко страдали ученики, выгонявшиеся без сожаления десятками за неуспехи по древним языкам. Особенные строгости практиковались в конце 80-х годов, когда за одну — две грубые этимологические ошибки гимназисты, экзаменовавшиеся на аттестат зрелости по латыни, беспощадно выбрасывались из гимназии, несмотря ни на какие успехи по другим предметам. С особым злорадством Ходобай заставлял нас учить вокабулы (отдельные латинские слова с переводом их на русский). За дурное поведение в классе или за каждую допущенную ошибку он заставлял переписывать данное слово десятки раз. Обладая достаточным лингвистическим опытом по новым языкам, я не встречал особых трудностей и в изучении древних, но последних не любил и учился по ним лишь посредственно.

В такой постановке классического образования царское правительство видело одно из средств уберечь учащихся от свободомыслия. «*Oculos habent et non videbunt*» *.

С учителями новых языков — немецкого и французского (обязателен был один, но я изучал оба) — у меня была большая дружба. Особенно хорошо я помню французца Делароша, сына известного живописца. Изучение языка он интересно соединял с рассказом о том или ином

* «Имеют глаза, но не увидят».

авторе. Так, от него я впервые узнал о Монтескье, великом французском просветителе XVIII века, осмеивавшем феодально-монархический строй, «строй неестественный», подлежащий упразднению вместе с властью церкви. При выпуске из гимназии Деларош подарил мне копию с известного портрета Наполеона работы своего отца.

Учитель немецкого языка Бахман был ревностным пропагандистом «Нибелунгов» как выдающегося создания германского народного творчества, но заметного интереса к успехам учеников не проявлял.

Особым типом учителя был историк-географ Смирнов. Маленький, худой брюнет с густой черной бородой и усами, он обладал какой-то магической властью над учениками. Медленно войдя в класс, он садился за стол и почти неподвижно просиживал свой час, все время поводя глазами, замечая каждое движение любого из нас. Он никогда не делал замечаний, ни разу не повышал голоса, и лишь в конце учебного дня, когда классный надзиратель Дельсаль приходил на последний урок выписать фамилии провинившихся или получивших единицу учеников (таких оставляли после уроков в гимназии), тот или другой из нас неожиданно узнавал, что записан Смирновым.

Он редко что-либо объяснял, обычно лишь пересказывал «знаменитый» учебник Иловайского, задавал «отсюда и досюда», вызывал для ответа к столу, держал подолгу, заставляя излагать не только очередное задание, но и ранее пройденное. Иногда с целью общей проверки он спрашивал с места, задавая по два — три отдельных вопроса, в том числе и недавно отвечавшим. Мы называли это «облавой». Я всегда попадался на «удочку»; поэтому у меня по истории были только две отметки: пятерки за очередные ответы и единицы за «облавы».

Историю я любил и многое прочитывал помимо учебника Иловайского. Кстати, к этому учебнику подходит ироническое замечание Мериме, сказавшего, что «в истории он любит только анекдоты». Ничего другого вынести из этой книги было нельзя. О существовании классов и о борьбе их как движущей силе истории мне пришлось услышать только от отца, а позднее в военном училище и в университете.

Как-то раз, поспорив с товарищами, я вызвался на пари простоять целый урок за спиной у Смирнова и

остаться не замеченным им. Я выбрал место в дверной нише, сзади и несколько сбоку от учительского стола. В следующий урок истории перед приходом Смирнова я занял свою позицию и, не подавая признаков жизни, простоял целый час позади Смирнова. Удивительно, что класс ни одним неосторожным движением или чьим-либо взглядом не выдал меня.

* * *

«Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden» *.

Будучи в 7 классе гимназии, я стал настойчиво просить отца перевести меня в корпус или военное училище. Оказалось, что программа по математике кадетского корпуса шире гимназической, а я, как уже сказано, был с математикой не в ладах. Отец отвез меня к генералу Анчутину, тогдашнему начальнику Александровского военного училища, своему хорошему знакомому. К моему огорчению, Анчутин, выслушав нас, объяснил полную неосуществимость моего желания. В старшие классы корпуса меня не могли принять не только из-за математики, но и потому, что я вовсе не имел предварительной строевой подготовки, необходимой для кадета. Что же касалось военного училища, то сюда доступ был только через корпус, а в юнкерские училища принимали лишь вольноопределяющихся первого разряда, предварительно поступивших в полк, для чего опять-таки требовался аттестат зрелости.

Волей-неволей приходилось мириться с гимназией. Отец обещал устроить меня по военной линии, когда я получу среднее образование. В этом со своей стороны я дал отцу слово.

Начальником 1-й гренадерской дивизии и непосредственным начальником отца в то время был генерал Эллис, англичанин по происхождению. Жена генерала, Александра Ивановна, державшая целый штат иностранных гувернанток для своих детей, рекомендовала отцу для занятий со мной свою француженку m-lle Габриель. Это

* «Наши желания являются предчувствием заложенных в нас способностей; они предвещают то, что мы сможем осуществить». — Г е т е.

была пожилая и очень образованная особа. Отец охотно согласился, и вскоре я начал брать уроки. Они проходили по большей части в здании французской церкви на Малой Лубянке, позади 3-й гимназии, в семье знакомых m-lle Габриель. Часто уроки эти выливались в обычные разговоры, участие в которых охотно принимала Анжель, дочка хозяйки дома, моя ровесница. Так прошло несколько месяцев. Наступило рождество. M-lle Габриель предложила мне и Анжель пойти с ней во французскую церковь на ночную службу. Однако ей что-то помешало, и мы с Анжель были отпущены одни. Усевшись в больших с высокими спинками креслах, уединенно стоявших у стены, мы, как обычно, принялись болтать, мало интересуясь самой службой. Музыка и вся обстановка чрезвычайно располагали к интимности. Анжель весело высказала готовность просидеть так хоть до утра. Шутя же, мы обменивались соображениями pro и contra такой возможности, притом так увлеклись, что не заметили, как церковь опустела и свет внезапно погас. В испуге мы бросились к выходу. Дверь оказалась уже запертой. Мы принялись стучать. Это продолжалось минут 20—30, пока мать Анжель, обеспокоенная отсутствием дочери, не вышла к церкви и не услышала наш стук. Вскоре она нашла церковника, и мы были освобождены. Я очень поразился присутствию духа у Анжель, видя, как она, истая католичка, выходя из церкви, не забыла опустить свои пальцы в сосуд со святой водой и перекреститься, очевидно, в знак своего чудесного спасения из плена.

Последствия этого случая были самые разнообразные. Наиболее неприятным для меня был упрек отца за то, что я поставил его в неловкое положение перед начальником — генералом Эллис. M-lle Габриель высказала сожаление о необходимости прекратить мои уроки за отсутствием для этого помещения. Церковник рассказал кюре, последний передал моему учителю французского языка Деларошу, который счел нужным доложить директору. И вот на меня наложили небывалое в истории гимназии наказание: посадили в «строгий карцер», то есть заперли на целый день в пустой класс (на этот раз в одиночестве).

Умнее всех поступила Александра Ивановна Эллис. Она много смеялась и выпросила у отца позволение подарить мне за такую любовь к французскому языку библиотечку из французских классиков. В ближайший день,

когда я пришел к ней поблагодарить за внимание, мне был вынесен и затем погружен на извозчика большой мешок, вероятно, из-под картофеля, наполненный отлично изданными книгами французских классиков. Отец в этом видел замаскированное желание Эллис отблагодарить его за безвозмездное лечение семьи. Так своеобразно кончился мой роман с Анжель.

В гимназии появился новый и необычный учитель латинского языка — датский консул в Москве Тор Иванович Ланге, человек действительно необыкновенный и необыкновенных лингвистических способностей. Он говорил на всех основных европейских языках, не исключая и столь своеобразного венгерского. Приехав в Россию и еще не зная русского языка, он женился на русской (донской казачке), а затем в самый короткий срок так овладел русской речью, что с успехом переводил на русский язык стихи скандинавских поэтов.

Каждому из нас, гимназистов, Ланге в отличие от других учителей отвечал на поклоны, причем делал это с самой ласковой улыбкой. Это особенно нас поражало, так как почти все преподаватели, начиная с директора, считали ниже своего достоинства следовать правилам вежливости, обязательным для учеников.

В классе Ланге был своего рода виртуоз. Никогда не присаживаясь, он непрерывно следил за физиономией каждого из нас. В ответе вызванного ученика обычно принимал участие весь класс, так как Ланге все время задавал то одному, то другому дополнительные вопросы, дабы держать на высоком уровне внимание всего класса. Больше всех, не знаю уж почему, доставалось мне: я должен был тщательно следить за ответами товарищей, быть готовым по первому требованию Ланге указывать на ошибки, если их допускал отвечающий. Латинская грамматика как учебник даже не открывалась: все изучалось на самих текстах. Ланге умел затронуть все струны в наших гимназических душах, чтобы вложить в нас нужные сведения. Ко мне он был особенно внимателен. Однажды я даже был приглашен к нему на квартиру и оставлен завтракать. При этом он взял с меня обещание так подготовиться по латыни, чтобы на выпускных экзаменах переводить экспромтом любое место из Горация. Должно быть, Ланге считал вопросом своей профессиональной чести, как педагога максимальное развитие моих лингви-

стических задатков. Результаты были разительные. Через два года, в 1890 году, на выпускном экзамене в присутствии окружного попечителя я блестяще сдержал обещание, данное Ланге. Знание латинского языка и любовь к древним авторам сохранились у меня на всю жизнь.

Однако, оставляя гимназию, я сожалел, что более необходимые знания по математике, механике, химии мне не удалось получить с такой же полнотой. Спад увлечения древними языками начался в гимназиях уже после того, как я закончил гимназический курс. Однако слабое соответствие учебных программ требованиям жизни оставалось прежним. Характерно для тогдашних гимназических порядков и то, что в гимназиях не уживались свыше года — двух такие дельные преподаватели, как географ Макаров, увлекавший нас рассказами о виденных им странах света; как грек Медведев, открывавший нам мировое значение эллинской культуры; как француз Бертран, который не знал ни слова по-русски, но через несколько месяцев уже вел разговор со всем классом на французском языке.

Наоборот, в гимназии оставались на всю свою жизнь тусклые языковы, смирновы, ходобаи, просиживавшие до дыр на преподавательских стульях свои шелковые рясы или синие фраки.

Прощаясь со мной официально (не официально я еще по временам заходил к нему повидаться), Ланге с сожалением сообщил мне, что ему не удалось выхлопотать для меня медаль за успехи по древним и новым языкам.

Как я затем узнал, на педагогическом совете по вопросу о награждении меня медалью преподаватели резко разделились на две группы: Ланге, Деларош, Бахман и даже Смирнов стояли за медаль, все же остальные во главе с директором Лавровским горячо оспаривали мое право на награду. Наконец, директор закончил этот спор, упрекнув Ланге в намерении провести «свой устав в чужом монастыре».

Итак, медалью я награжден не был. Сознание же того, как далеко отстояло классическое образование с его формальным изучением древних языков от жизни, осталось у меня навсегда.

Это не мешает мне вспомнить Тора Ивановича Ланге самым добрым словом благодарного ученика!



В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ

«Alea jacta est» *

Поздравляя меня с получением аттестата зрелости и зная, что я не изменил своего решения идти на военную службу, отец сказал: «Поступай, как хочешь; мое же мнение таково, что правильные взгляды на жизнь можно выработать только через университет. Желаю, чтобы ты не раскался потом в своем решении. Военная служба от тебя и так не уйдет».

Мне было очень больно огорчать отца, особенно ввиду его сильно подорванного здоровья, но я не мог расстаться с давней своей мечтой и отнес аттестат в канцелярию Ростовского полка на предмет поступления вольноопределяющимся и последующего командирования в Московское юнкерское училище.

К этому времени в нашей семейной жизни произошли некоторые изменения. Екатерина Васильевна еще года два до этого отдала имевшиеся у нее восемь тысяч рублей моему отцу, попросив его принять на себя хлопоты по постройке небольшого деревянного домика на Казанской (ныне Суцевской) улице. Отец долго возился с этой постройкой. Наконец, к окончанию мной гимназии мы переехали в новый дом.

Кстати говоря, в строительном искусстве отец мой, по-видимому, был менее сведущ, чем в медицине, так как новый дом, несмотря на несколько печей, оказался

* «Жребий брошен». — Светоний, Цезарь.

чрезвычайно холодным; да и простоял он лишь до начала 900-х годов, когда, уже после смерти отца, треснула опорная кирпичная стена, и дом был продан на слом.

Кроме исполнения своей основной должности дивизионного врача 1-й гренадерской дивизии, отец работал по медицинской химии в университете у профессора Гулевича; здесь он познакомился и близко сошелся с профессором Склифосовским, а затем с приехавшим из-за границы профессором Эрисманом. Знакомству этому способствовали одинаковые взгляды на научные вопросы и на общественную жизнь в стране.

В моей памяти остался рассказ отца о необыкновенной точности и твердости руки Склифосовского как хирурга: будто бы своим ланцетом он мог прорезать совершенно точно заданное число листов бумаги, сложенных в стопку.

Окончив срок обязательной службы, ушел от нас наш дорогой Егор. Тетушка, пользуясь своим знакомством среди московского духовенства, устроила Егора церковным старостой.

Кроме двух рано умерших братьев, у меня были еще два брата — Владимир и Павел — и две сестры. Владимир поступил в ту же 3-ю гимназию и учился у того же Ланге латыни, но уже по сильно сокращенной программе; Павел был еще дома, он готовился к поступлению в кадетский корпус.

В августе 1890 года я был зачислен юнкером в Московское юнкерское училище, находившееся в Лефортове, на берегу Яузы, на нынешней Красноармейской улице.

Подготовка офицеров вообще велась тогда по трем основным линиям.

В военных училищах Петербурга и Москвы готовились офицеры всех родов войск. Сюда принимались только лица, окончившие кадетские корпуса. Училища и корпуса находились в ведении Главного управления военно-учебными заведениями.

Юнкерские пехотные училища комплектовались лицами со стороны, имеющими высшее и полное среднее образование. Курс обучения для первых был одногодичный, для вторых — двухгодичный, как и в военных училищах.

В окружные пехотные и кавалерийские юнкерские

училища принимались лица, не получившие полного среднего образования.

Те и другие юнкерские училища были в ведении строевого командования, причем из окружных училищ выпускались «подпрапорщики», обязанные до производства в офицеры отбыть продолжительный стаж в полках.

Значительная разница была и между военными и юнкерскими училищами. Первые отличались менее суровым режимом, состояли на лучшем довольствии, лучше были обставлены материально (помещения, обмундирование, преимущество в выборе офицерских вакансий и т. д.). Зато юнкерские училища давали более основательное образование своим питомцам, славились крепкой дисциплиной. Суровый режим юнкерских училищ особенно давал себя чувствовать молодым людям, привыкшим в гражданских гимназиях и училищах к свободной, а иногда распушенной, ничем не стесняемой жизни. Для них привыкать к твердому военному порядку было очень полезно, но действительно тяжело. В полной мере это пришлось испытать и мне.

Когда я в первый отпускной день после месячного безвыходного пребывания в училище явился домой и рассказал отцу о тяжелом впечатлении, которое произвел на меня новый режим, он необычайно резко прервал меня словами: «Ну, братец, об этом поздно говорить, да и стыдно! Не забывай, что ты на обязательной действительной службе. Теперь ты обязан кончить училище и кончить отлично, а потом иди хоть в дворники!» В тоне отца я почувствовал огорчение и дал себе слово успехами в занятиях исправить невыгодное впечатление от своей малодушной жалобы.

В память об этом разговоре с отцом я надписал на своем дневнике девиз «Терпи и не жалуйся» на трех языках:

«An'chu sa j ap'chu»

«Lerne zu dulden, ohne zu klagen»

и «Soffre e faci».

Юнкера, съезжавшиеся в училище со всех концов России, были каждый в форме полка, в который поступали вольноопределяющимися. Тут были и армейцы, и гренадеры, и гвардейцы, и даже пластуны из казачьих частей. Общей однородной спайки не было. Юнкеров обычно сближала между собой простая принадлежность

к одному и тому же отделению, взводу или роте. Как ни странно, сближались между собой преимущественно курильщики; они сходились в «курилках» и уборных, пели песни, вели длительные беседы на всевозможные темы, спорили, делились впечатлениями. Я, как некурящий, относился к их философским беседам в уборных иронически.

Лишь когда собирались пластуны и пели старинные песни, я любил слушать их, оставаясь в этих мало уютных помещениях. Мне особенно нравилась лермонтовская:

Много красавиц в аулах у нас.
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Занятия в училище начинались рано утром и продолжались до четырех часов дня, причем последние два часа были посвящены строевой подготовке. Потом мы обедали и после часового отдыха были предоставлены самим себе. Обычно все расходились по классам и готовились к очередным репетициям. В отпускные дни москвичи имели право на увольнение до 11 часов вечера, иногородним такое позднее возвращение разрешалось лишь по особому ходатайству. Обычным видом наказания за маловажные проступки было оставление без отпуска. Для меня это было самым большим наказанием, так как я сильно скучал по дому, особенно по отцу. Он в последнее время очень хворал и бывал особенно рад меня видеть. Оставление без отпуска практиковалось не только за собственные упущения, но и за вину других, например за шум в классе или за плохое поведение подчиненных, а также за скверные отметки на репетициях. Репетиции производились по всем предметам по мере того, как заканчивалось объяснение того или иного раздела. Преподаватели были штатные, но частью приглашались и со стороны, как правило, из числа офицеров Генерального штаба или окончивших другие военные академии. Общеобразовательные предметы и языки преподавали лица гражданские.

Памятное влияние на мои общественные взгляды оказал в ту пору молодой преподаватель законоведения, частный юрист (фамилию его я, к сожалению, забыл). В беседах с нами он смело говорил о политической жизни страны, иллюстрируя свои мысли ссылками на романы Тургенева, а то и на статьи Герцена. От него нам стало известно о появившихся тогда марксистских кружках. Вместе с проповедью точного исполнения законов он разъяснял их классовый смысл, осторожно упоминал об эксплуатации рабочего класса и крестьянства. Когда я рассказал об этом отцу, он посоветовал мне молчать, чтобы не подвести преподавателя, особенно когда я добавил, что сн русских самодержцев, начиная с Екатерины I, называет узурпаторами.

Однако этот преподаватель не продержался у нас долго. Однажды он высказал мысль, что «военное дело» в том виде, как оно у нас ведется, вряд ли стоит называть «делом». Эти слова стали известны начальству, и он был исключен из числа преподавателей как «непригодный для воспитания офицеров». Среди философов-курильщиков вопрос об исключении законоведа обсуждался очень горячо, причем называли и фамилию юнкера-доносчика.

В общем порядке несения службы в училище мы были подчинены строевым командирам: взводным, ротным и батальонному; они же руководили нашими строевыми занятиями.

Не могу сказать, чтобы мы чувствовали особое расположение к этому строевому начальству, державшемуся с нами всегда официально и сухо. Лучше мы относились к преподавателям. Но тут отношения складывались у всех по-разному.

Мне больше других запомнились инспектор классов, военный инженер полковник Прудников и его помощник артиллерист Лобачевский. Несмотря на свою внешнюю грубость и какую-то непонятную потребность «подтянуть» попавшегося им на глаза юнкера, выругать его, а иногда и оставить без отпуска, оба пользовались нашими симпатиями. Идеалом офицера нам представлялся тогда молодой красивый преподаватель, только что окончивший Академию Генерального штаба, капитан конногвардейской артиллерии Ванновский, племянник военного министра. Он держался очень уверенно, однако свои лекции всегда

читал по конспекту, или по «шпаргалке», как выражались юнкера. Впоследствии, в империалистическую войну, он командовал казачьей дивизией и, как говорят, сильно преследовал казнокрадство, бывшее в армии в том или другом виде нередким явлением, а в казачьих войсках в особенности.

По военным наукам я учился отлично; меньшими моими симпатиями, естественно, пользовались механика и химия, особенно первая. Механик Лебедев был длинный, худой человек, говоривший каким-то замогильным голосом. Во время чтения лекций он закатывал глаза, как бы упиваясь выводимыми на доске формулами, и постоянно хвастался тем, что на математическом небосклоне представлял если не звезду, то звездочку не последней величины. «Некоторые меня, правда, не ценят», — сетовал он, причем, как мне казалось, глядел очень пристально на меня. Девятка, реже десятка были обычной моей отметкой по механике и химии при высших баллах по всем остальным предметам.

Готовясь к репетициям за целые отделы по механике и химии, я часто обращался за помощью к своему соседу по койке Кудленко, с которым потом мы вместе поступили в академию. От занятий по языкам я был освобожден, по ним мне были выставлены высшие отметки, в чем в свою очередь сильно завидовал мне Кудленко.

Со многими другими товарищами судьба сводила меня впоследствии на военном поприще; многие из них играли видную, хотя не всегда положительную роль в общественной жизни страны.

Получая от отца в дни отпусков по 5 рублей в месяц, я почти ежедневно после обеда покупал одно или пару пирожных у пирожника, ютившегося в темном углу длинного коридора, ведущего в наши роты. Со своей покупкой я садился обычно тут же, на окне у бака с водой. «Угощаешь?» — коротко спрашивал небольшой ростом смуглый, монгольского типа юнкер, проходя мимо меня в соседнюю роту. Получив в ответ любимое юнкерское словцо «валяй» и часть пирожного, он, не останавливаясь даже, следовал дальше. Это был будущий верховный главнокомандующий при правительстве Керенского генерал Корнилов. Я не берусь сказать, что он нарочно искал встреч со мной в эти послеобеденные минуты, скорей всего они происходили случайно. Но так или

иначе это близкое «общение» с Корниловым заставляло меня невольно обращаться на него внимание во время оживленных юнкерских дебатов в курилке, где Корнилов любил поораторствовать на темы об училищах и общественных порядках.

Воспоминание о встречах с Корниловым в училище я мог бы этим и ограничить, но, чтобы не возвращаться еще раз к его личности, поднятой контрреволюционными силами на пьедестал «героя», считаю не лишним дополнить свои записки еще несколькими замечаниями.

Собственное показание Корнилова, что он сын простого казака, по-видимому, неправильно и навечно желанием демократизировать свое происхождение. Бóльшего доверия заслуживает утверждение, что отец Корнилова был чиновником. Мнения о Корнилове как о командире тоже были разные. В 1914 году, командуя 48-й пехотной дивизией, он потерял на австрийском фронте, под Львовом, 8 тысяч человек пленными, 22 орудия и был взят в плен, откуда бежал посредством подкупа. Получение за это высокой награды — георгиевского креста — может свидетельствовать больше о его определенного рода ловкости, чем о других, более достойных качествах. С другой стороны, командуя 10-й армией летом 1917 года на Юго-Западном фронте, он проявил себя неплохо как военный специалист. Назначенный затем командовать фронтом, Корнилов ознаменовал свою деятельность позорным отступлением в районе Тарнополя, обратившимся в паническое бегство войск. Причем он не мог предотвратить грабежей города и населения, несмотря на введенную для поднятия дисциплины смертную казнь.

Говорили про личную храбрость Корнилова, но, по моему мнению, это было проявлением его крайнего честолюбия, а также склонности к авантюризму, чем объясняются и его связи с такими авантюристами, как Керенский и Савинков. Он окружил себя пестро разодетой личной охраной и «батальонами смерти» с нарукавными надписями «корниловцы»; широко использовал для своих военно-политических «подвигов» поддержку английского посла Бьюкенена, отзывавшегося, однако, о нем как о «способном солдате, но капризном государственном деятеле».

Одновременно со мной находился в училище М. Д. Бонч-Бруевич. Во время империалистической войны

он был начальником штаба при генерал-адъютанте Рузском. В училище он, как имевший уже высшее образование (окончил Межевой институт *), состоял в одногодичном отделении. Бонч-Бруевич опередил меня и в академии и по службе (как гвардеец) на несколько лет. Перед войной мы вместе служили в штабе Киевского военного округа. Затем, в начале 1918 года, уже при Советской власти, я встречался с ним в его бытность военным руководителем и начальником штаба Высшего Военного совета.

Фельдфебелем в одной из рот училища был симпатичный юнкер Болховитинов, ставший в империалистическую войну начальником штаба Кавказской армии. Своим помощником по этой должности он имел Томилова, также воспитанника нашего училища.

Вспоминаю и многих других товарищей по училищу, но углубляться в рассказы о них не имею возможности.

Кормили нас в училище просто и не всегда сытно. За утренним чаем давали трехкопеечную булку; на завтрак — чай и котлету с каким-нибудь гарниром или пару жареных пирожков; обед состоял из супа с мясной «порцией» и обычно такой же, как и за завтраком, котлетой; наконец, вечером — чай с булкой. По праздникам к обеду добавлялось третье блюдо — небольшое сдобное печенье или что-нибудь в этом роде.

Никаких развлечений юнкерам не устраивалось, хотя в училище и была так называемая танцевальная зала с роялем. Среди юнкеров, конечно, находились любители что-либо спеть или сыграть, но художественной самодеятельности, как это распространено сейчас, тогда не существовало.

Строевые офицеры и начальствующие лица жили в отдельном здании через улицу. Мы мало знали о их быте, но однажды все были поражены известием о самоубийстве одного из наиболее симпатичных молодых офицеров.

На лето училище в полном составе выходило в лагерь в Серебряный Бор — в большую сосновую рощу, где в настоящее время раскинулся район Ново-Песчаных улиц.

Такова была система подготовки офицеров в дореволюционной армии. Лучшими военно-учебными заведе-

*В своих воспоминаниях, опубликованных в 1957 г., М. Д. Бонч-Бруевич пишет, что я, как и он, кончил Межевой институт. Это не соответствует действительности.

ниями были кадетские корпуса и военные училища. Здесь была, пожалуй, какая-то единая продуманная система воспитания, существовали единые учебные планы. Юнкерские училища, разбросанные по военным округам, были в худшем положении, а главное — очень терпели от произвола окружных штабов. Положение их можно сравнить только с положением существовавших в первую мировую войну различных школ прапорщиков.

Характерной особенностью системы подготовки офицеров в училищах различных родов войск было то, что единых учебников не было и что главное внимание обращалось не на то, что преподавать и изучать, а как преподавать и изучать.

На втором курсе мне по старшинству баллов, полученных на переходных экзаменах, было присвоено звание «унтер-офицера училища» (вообще унтер-офицерское звание давалось раньше) с назначением сначала командиром отделения, а затем и помощником командира взвода (командирами взводов были младшие офицеры училища). Я мог бы рассчитывать на звание фельдфебеля, если бы не мои посредственные знания по механике и химии.

Даже и тут остро чувствовалась разница между юнкерскими и военными училищами: в последних должностные унтер-офицеры имели особое наименование «портупей-юнkerов» и получали для носки на ремне тесаки с офицерскими темляками. В юнкерских училищах унтер-офицеры должны были довольствоваться, как и рядовые юнкера, обыкновенными штыками, без всяких темляков. Не имели они и никаких особых наименований.

Весной 1892 года, когда после сдачи выпускных экзаменов я явился в отпуск домой, отец шутя сказал мне: «Вот видишь, хорошо кончил и за два года даже ни в кого не влюбился».



ЖИЗНЬ В ПОЛКУ (1892—1895)

«Vita alla militare»*.

Старший класс в училище — год больших тревожных, особенно во второй его половине. Это время бесконечных разговоров о предстоящем производстве, о будущей офицерской жизни. Наконец, становятся известны названия полков, где есть офицерские вакансии. Они разбираются юнкерами в порядке средних баллов, полученных за успехи в науках: сначала право выбора предоставляется фельдфебелям, потом взводным унтер-офицерам, отделенным командирам, наконец всей массе рядовых юнкеров.

Несколько гвардейских вакансий обычно разбирались фельдфебелями, а если они отказывались, доставалось взводным унтер-офицерам. По своим баллам я мог бы рассчитывать на гвардейскую вакансию хотя бы в Литовском или Волынском полках 3-й гвардейской дивизии, расположенной в Варшаве. Но служба в гвардейских полках требовала определенных средств, а у меня их не было. Поэтому от гвардии я должен был отказаться. Второй причиной тут явилось мое стремление остаться в Москве, чтобы не расставаться с отцом. Лучшим полком Московского гарнизона считался 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. Однако в нем ко дню производства вакансий не было, и я согласился временно служить в 6-м гренадерском Таврическом полку, стоявшем в

* «Строгая военная жизнь» («по-военному»).

Туле. Осенью 1892 года этот полк собирались переводить в Москву. К тому же у меня сохранялась надежда, что и в Екатеринославском полку могут со временем открыться вакансии.

Всех нас интересовал вопрос о пошивке обмундирования. Каждому выпускнику полагались пошивочные деньги. Училище платило их фирме за принятый ею по договору заказ. Обмундирование давалось нам уже в лагере с расчетом, чтобы тотчас по получении приказа о производстве в офицеры мы могли надеть офицерскую форму. Естественно, что день производства в офицеры ожидался нами с нетерпением. Обычно этот день приходился на август месяц, и мы старались заранее узнать число различными путями и средствами. Порядок празднования этого дня обыкновенно предоставлялся на усмотрение самих юнкеров.

В моем выпуске было решено устроить официальный ужин в так называемой «кукушке», то есть в лагерном офицерском собрании на Ходынском поле, после чего офицеры группами могли продолжать свои частные празднества по усмотрению каждой из таких групп.

Для меня вопрос о порядке празднования особого интереса не представлял, так как я не питал склонности к балам и кутежам и вино пить не мог и не умел. Вечер прошел оживленно и весело, за тостами я все же был вынужден пить — немного по общему масштабу, но много по моему личному. Еще задолго до конца торжества, затянувшегося чуть ли не на всю ночь, я почувствовал необходимость вернуться в училище. С трудом пробираясь через лес, я присел отдохнуть, заснул и проснулся под каким-то кустом, когда солнце стояло уже высоко.

Мои товарищи, вернувшиеся в училище из разных «стретенских» переулков, не могли поверить, что я провел всю ночь под кустом. «Знаем мы эти кусты!» * — многозначительно говорили они.

За этими радостными днями наступили дни, глубоко для меня печальные. Здоровье отца ухудшилось. Чтобы немного его порадовать, я обещал ему готовиться в академию, куда мог поступить лишь через три года — срок,

* Намек на бывшее тогда выражение «ходить в кусты», означавшее грешить против 7-й заповеди.

обязательный для отбытия строевого ценза. На это время я решил вольнослушателем посещать университетские лекции на классическом отделении историко-филологического факультета. Отец одобрил мой план, и в ближайшие же дни через профессора Эрисмана получил для меня от ректора университета Боголепова разрешение посещать лекции. Кроме того, приятель отца генерал Малахов, командир гренадерского корпуса, под свою личную ответственность разрешил мне на лекции в университет ходить в штатском платье.

Эти хлопоты, столь приятные для отца, были уже последними его заботами обо мне. 25 октября 1892 года вследствие кровоизлияния в мозг, случившегося с отцом на улице около Спасских казарм Ростовского полка, он скончался, не приходя в сознание, в ближайшей гостинице. Мне не пришлось даже быть при последних минутах его жизни.

Хоронили отца офицеры родного ему Ростовского полка. Я был глубоко тронут, увидев на похоронах нашего старого Егора. По его настоянию мы вместе с ним собственноручно сделали крест и поставили его на могиле отца на Ваганьковском кладбище.

Я и мать долго потом не теряли связи с «кружком» отца в полку. Помню туманные рассказы огорченной матери о том, что друзья отца якобы влияли на настроение других офицеров своим вольнодумством.

Я очень жалею, что мне не приходило в голову выяснить, какими идейными связями была так скреплена дружба отца с этими офицерами. Но мне кажется не случайным, что именно Ростовский полк был первым в Московском гарнизоне, выступившим в знаменательные дни Московского вооруженного восстания в декабре 1905 года на стороне трудящихся. У меня нет ровно никаких данных считать, что высокая общественная сознательность Ростовского полка была в какой-то, хотя бы и отдаленной, связи с деятельностью офицеров — друзей отца. Может быть, даже сама сплоченность последних была обязана каким-то внутренним настроениям, уже имевшимся в полку. Но я всегда испытывал большое моральное удовлетворение при сопоставлении этих фактов.

После месячного отпуска, положенного по окончании училища и проведенного с матерью, я отправился в

Тулу представиться командиру и офицерам Таврического полка. Командир полка меня обрадовал, сказав, что он уже был извещен о переводе меня в Екатеринославский полк и дал на это свое согласие. «Пока же, — добавил он, — я вас направлю, как москвича, в качестве начальника эшелона в Москву, на наши новые квартиры». Я был горд таким ответственным поручением, пока не узнал, что эшелон был хозяйственный, что мне вручалась судьба лишь бочек с кислой капустой, мешков с картофелем и прочих хозяйственных вещей.

По возвращении в Москву я был назначен во 2-й батальон Екатеринославского полка, который был расположен на территории Кремля. Остальные подразделения и штаб полка стояли в казармах на Покровском бульваре. В кремлевском здании находилось также полковое офицерское собрание со столовой и библиотекой; тут же было несколько квартир для офицеров полка.

В полку встретили меня чрезвычайно радушно, и я понимал, что это, конечно, из уважения к покойному отцу, в ведение которого как дивизионного врача входил и Екатеринославский полк, возглавлявший дивизию.

Полк произвел на меня очень хорошее впечатление. В отличие от провинциального Таврического полка здесь все было подчинено интересам службы. Командовал полком флигель-адъютант полковник Попов.

Кремлевскими батальонами — их было два — командовали подполковники: одним — тупой немец, другим — поляк, великолепный строевик, человек желчный, раздражительный. Офицеры не любили обоих. Ротные команды были хорошими служаками и воспитателями младших офицеров. Они никому не делали поблажек, но и не смешивали служебных отношений с отношениями вне службы.

Полк отличался от других московских полков своими порядками. Так, например, в офицерское собрание нашего полка не допускались женщины. Никаких общеполковых развлечений для офицеров или их семей не устраивалось. От всех офицеров полка требовалось высоко держать честь и знамя своего полка. Однако то обстоятельство, что полк находился в Кремле, близко к правящей знати, накладывало определенный отпечаток

на офицеров полка. Интриги и разврат царского окружения, нравы придворных и прочих живо комментировались в офицерской среде.

В Екатеринославском полку среди офицеров было довольно много поляков: Сила-Новицкие, Дубровский, Боневский, Яцына и другие. Офицеры эти играли заметную роль в жизни полка.

Пугали нас, молодых офицеров, рассказами об исключительной строгости и даже свирепости начальника дивизии генерала Водара. Эту репутацию разделяли с ним, хотя и в меньшей степени, начальники 2-й гренадерской дивизии Дукмасов и кавалерийской дивизии фон дер Лауниц.

Наш бригадный командир генерал Коссович боялся Водара даже больше, чем мы. Коссович был требовательный, но суетливый человек. Впрочем, он стоял все же ближе к офицерству, особенно к младшему. Я с самого начала приобрел его расположение тем, что, вопреки тогдашней моде, носил сапоги не с острыми носками, чего Коссович не терпел, а с тупыми. В этом он видел, кажется, проявление необходимой воли. Во время учений, маневров, выходов в поле Коссович брал меня к себе в ординарцы, поручал выполнять для него разного рода письменные работы: доклады, рапорты, отчеты и т. п. Зная, что Коссович окончил военно-инженерную академию вторым, я как-то спросил его, как он достиг такого успеха. «Я окончил ее вторым потому, что в моем выпуске не было третьего», — отвечал Коссович. Это, конечно, была шутка, потому что свое дело он знал хорошо.

Чуждый всяких идеалистических настроений и очень жизнерадостный, Коссович всегда, однако, носился с разными сентенциями из Шопенгауэра — пессимиста, идеалиста и волюнтариста. Он с удовольствием рассказывал нам за обедом, что Шопенгауэр, приходя в собрание к общему столу, вынимал из кармана и клал перед собой золотую монету, которую после обеда обычно снова прятал. Когда однажды его спросили, почему он так делает, Шопенгауэр ответил: «Я решил оставить эту монету в пользу бедных в тот день, когда услышу, что офицеры за столом будут говорить о чем-нибудь другом, а

не о женщинах, лошадях и собаках» *. Меня Коссович донимал изречением Шопенгауэра: «Кто ясно думает, тот ясно и говорит». Однажды на маневрах он приказал мне взять у полкового горниста лошадь и выполнить какое-то приказание; не желая ехать на малорослой, неказистой лошадке, я попросил разрешения спешить одного из драгун, находившихся при Коссовиче для поручений. «Разве вы не знаете, — ответил он, — что драгунская лошадь, если она привыкла носить Иванова, не позволит сесть на себя Петрову?» Однако, уступая моему настоянию, он разрешил мне сделать так, как я просил. Едва я вдел ногу в стремя, как лошадь поднялась на дыбы, а затем, упав на передние ноги, так поддала задними, что я перелетел у нее через голову, чуть не разбив собственную о стоявшую рядом пушку. При этом я сильно помял данную мне генералом подозрную трубу. Хотя этот случай не изменил генеральского расположения ко мне, тем не менее в течение всех трех лет моей службы в этом полку Коссович неоднократно вспоминал о трубе и корил меня за упрямство.

В нашем полковом собрании офицерам разрешалось играть на деньги в неазартные карточные игры. Однажды я наблюдал такую сцену. За карточным столом сидели четыре офицера, среди них — ротный командир, молодой штабс-капитан, только что получивший роту, и поручик, офицер его роты. Они были дружны и говорили на «ты». Все шло нормально, партнеры мирно разговаривали и шутили. Но вдруг поручик стал нервничать, выражая неудовольствие ходами штабс-капитана, своего визави, а вскоре, потеряв терпение, вскочил и резко бросил: «Да вы, господин капитан, играете, как сапожник!» Услыхав это, командир батальона, — немец, служака и педант, случайно наблюдавший эту сцену, приказал прекратить игру, арестовал поручика и подал командиру полка рапорт, в котором писал, что подчиненный ему офицер в присутствии других лиц разговаривал грубо со своим непосредственным начальником и оскорбил его. Напрасно все присутствовавшие при этом и сам «оскорбленный» доказывали немцу, что он не прав. На нашу сто-

* В данном случае речь шла о прусских офицерах. Впрочем, известен рассказ о Петре I, приказывавшем: если встретишь разговаривающими двух фендриков, разгоняй их батогами, «понеже ни о чем путном они говорить не могут».

рону встал и командир полка, но немец упорствовал и рапорт свой назад не взял. Дело кончилось тем, что поручик получил по приговору суда месяц заключения в военной тюрьме.

В этом же году со мной произошел такой случай. Однажды в столовой офицерского собрания на обеде присутствовал Водар, посетивший в этот день полк. Я случайно оказался за соседним с ним столом. Увидев меня, Водар сказал: «Подпоручик Самойло (он знал меня, так как часто видел у отца в штабе дивизии), передайте подпоручику Воронову, чтобы он завтра пришел ко мне в штаб». Воронов был мой близкий друг, и я, выслушав стоя приказание и отыскав глазами стол, за которым сидел Воронов, громко произнес: «Володя, начальник дивизии приказал тебе завтра прийти в штаб дивизии». Водар страшно рассердился и, обращаясь к командиру полка, посоветовал наложить на меня взыскание за то, что я не отличаю товарищеские отношения от служебных. «А вам, полковник, — добавил Водар, — следует научить этому своих офицеров». Правда, командир полка не стал меня наказывать, но этот случай я запомнил навсегда и уже никогда больше не попадал в подобное положение.

Второе мое столкновение с Водаром закончилось для меня более печально.

Старший адъютант штаба дивизии капитан Васильев, большой приятель отца, обещал в свое время отцу взять меня к себе в помощники в штаб дивизии, чтобы я имел возможность ближе познакомиться с войсковым хозяйством, так как это мне будет нужно в случае, если я захочу поступить в академию. Я дал согласие, и прикомандирование состоялось. Через два месяца после того как я начал работать в штабе, в одном из полков закончился «денежный журнал» — книга, в которую записывались все денежные операции. Книга эта была прошнурована, пронумерована постранично и имела сургучные печати. Требовалось дополнить эту книгу чистыми листами, предварительно оформив это в штабе дивизии. Получив такое задание, я, не долго думая, снял печати и вшил новые страницы. После этого я понес журнал Водару на подпись. Вот тут-то и началось. Вызвав начальника штаба, Водар сказал ему: «Понимаете ли вы, полковник, что при таких порядках у нас в штабе я не могу ручаться,

что все обстоит чисто в денежных операциях полка?» Меня же он приказал немедленно откомандировать в полк, сказав, что мне еще рано «болтаться по штабам».

При таких жестких требованиях можно было предположить, что порядок и дисциплина в дивизии находились на высоком уровне. Но дело обстояло далеко не так. Позже, когда в 1899 году я командовал для цензу ротой, мой фельдфебель Сергеев рассказал мне о таком случае. Дело было два года назад, летом, в лагерях. Сергеев, лежа в своей палатке, слышал, как один из солдат, находившихся в соседней палатке, сказал своим товарищам: «Хотите, ребята, я сейчас посажу ротного под арест?» Все засмеялись и, конечно, согласились. Тогда солдат взял метлу, снял ее с палки и, выйдя на переднюю линейку, по которой в это время проходил Водар, стал усиленно мести. Остановившись возле солдата, Водар обратился к сопровождавшему его командиру полка со словами: «Вот вам, полковник, пример того, как плохо ротный командир заботится о солдате: он, очевидно, не считает нужным поинтересоваться, есть ли к веникам палки, и солдаты должны понапрасну нагибаться. Арестуйте его за такое нерадивое отношение к солдату!» Разговор этот слышали все вокруг. А метущий, усовестившись, доложил начальнику дивизии: «Так что, ваше превосходительство, веник на палке был, но я его снял». — «Ну и дурак!» — выругался Водар и пошел дальше.

Первый же лагерный сбор под Москвой на Ходынском поле, где находились почти все части гренадерского корпуса и все военно-учебные заведения Москвы и Твери, позволил мне близко познакомиться с офицерским составом этих, считавшихся лучшими, частей русской армии. И что меня поразило прежде всего, так это разобщенность между офицерами разных родов войск. Вскоре я понял причину этого: она заключалась в том, что офицеры, как правило, оказывались на службе в том или ином роде войск в прямой зависимости от своего имущественного положения. Так, в пехоте подавляющее большинство офицеров происходило из малозажиточных офицерских семей. Их путь в армию лежал через кадетские корпуса и военные училища. Ступенькой ниже их стояла также довольно значительная группа офицеров, вышедших из подпрапорщиков, которых выпускали окружные

юнкерские училища; комплектовавшиеся за счет недоучек из гимназий и других гражданских учебных заведений.

Подготовка офицеров для кавалерии шла по тем же двум линиям. Но обычно в кавалерию шли дети более зажиточных родителей. Кавалерийские офицеры слыли более воспитанными.

В артиллерию и инженерные части попадали те, кто хорошо проявил себя в учебе в училище, особенно по математике. Общий культурный уровень офицеров-артиллеристов был выше, чем офицеров других родов войск.

В практической жизни все эти перегородки, отделявшие различные категории офицеров, под влиянием условий господствующего общественного строя сплошь и рядом принимали уродливые формы и еще больше разъединяли офицерский состав армии, отражаясь на ее боеспособности.

Для сравнительно немногочисленной группы офицеров, окончивших военные академии и в том числе Академию Генерального штаба, были весьма характерны разъедавшие эту среду интриганство и высокомерие.

Ближе всех к этой категории офицеров примыкали офицеры гвардии, куда могли идти самые способные воспитанники военных училищ, но куда шли обычно самые богатые (особенно в гвардейскую кавалерию) — представители родовитого дворянства и капиталистических кругов.

Но и среди офицеров гвардии существовали перегородки, отделявшие гвардию петербургскую от гвардии «суконной» (варшавской), офицерство столичное от провинциальной «армейщины», генштабистов родовитых и богатых от их собратьев разночинцев.

Даже в толще основной армейской массы офицеров эта рознь проявлялась между пехотой (лишь «пылящей») и кавалерией, одетой в блестящие гусарские, уланские и драгунские мундиры; между «неучами» в пехотной форме и «учеными» — артиллеристами и саперами.

О розни между офицерами сухопутных войск и военно-морского флота я уже не говорю: она бросалась в глаза каждому.

Рознь, о которой я говорю, не была абстрактной, она существовала в действительности, проявлялась везде, где встречались представители различных названных выше офицерских категорий. Нередко даже офицеры различных

родов оружия своим поведением как бы подчеркивали неприязненное отношение друг к другу. Менее заметно это было при встречах служебного характера (на совместных учениях, занятиях, маневрах и т. п.). Конечно, нельзя бросать такой упрек всему офицерскому составу и тем более нельзя предположить, что это делалось сознательно. Но так или иначе такие отношения существовали испокон веков и были хорошо известны всем, хотя почему-то начальство не заботилось о том, чтобы изжить в армии подобные отношения.

Моя характеристика армейских порядков была бы неполной, если не отметить еще одну черту, которую я наблюдал изо дня в день в своем гарнизоне. Я имею в виду разнь между обер-офицерами и штаб-офицерами, а также между теми и другими и генеральским составом. Не явилась ли она следствием крымской, русско-турецкой и русско-японской войн? Или, может быть, это было реакцией на немецкое засилие? Не нужно и доказывать, сколь вредно отражались подобные настроения на мощи армии, ибо в основе их лежало недоверие подчиненных к служебному авторитету начальников, отсутствие того уважения друг к другу, которое возможно лишь при наличии больших знаний и опыта у старших и при служении тех и других одним и тем же идеалам, под которыми следует понимать беззаветную любовь к Родине и верность своему народу.

Слово, данное отцу, я твердо выполнял. Зимой, живя в Москве, я использовал все свободное время, чтобы послушать лекции в университете. Территориальная близость полка от университета облегчила мне эту задачу. Мой хороший знакомый капитан Авдеев, который жил обычно в гостинице рядом с университетом, любезно предоставлял мне свой номер для переодеваний в штатское платье. Сам Авдеев, страстный любитель лошадей, проводил все время за Тверской заставой, где он тренировал их на кругу.

На лекциях в университете я познакомился с молодым человеком в очках, Михаилом Николаевичем Покровским. С ним, но уже как с известным историком, я встретился впоследствии, через двадцать пять лет, в Брест-Литовске на переговорах о мире с германской делегацией. В университете я всегда с удовольствием общался с ним. Он ориентировал меня в политической обстановке, охотно

комментировал лекции, смысл которых иногда был мне не ясен.

Обычно я посещал лекции по русской, всеобщей и римской истории. Читали их профессора Ключевский и Герье. По классической филологии помню лекции профессора Корша, по сравнительному языковедению — профессора Фортунатова, по древним языкам — профессора Адольфа, который до этого преподавал в 3-й гимназии, где я учился. Изредка посещал я лекции и занятия по новым языкам у профессоров, фамилии которых моя память не сохранила.

Летом 1895 года я был освобожден от всех занятий в полку, так как подал рапорт о зачислении в Академию Генерального штаба и готовился к вступительным экзаменам. Жил я почти все время в лагерях. Два раза в неделю ко мне приезжал преподаватель английского языка Мак-Клиланд, которого оплачивал штаб округа. Мак-Клиланду я обязан не только знанием языка, но и первым своим знакомством с Англией, хотя далеко не все, что рассказывал мне об этой стране Мак-Клиланд, соответствовало действительности. Так, например, он уверял меня, что англичане — наиболее правдивые люди. Я не считал, конечно, возможным вдаваться в полемику, но тем не менее на веру все это не принимал, ибо никогда не считал случайным выражение «вероломный Альбион». Мое недоверие на этот счет еще более укрепилось впоследствии, когда я узнал, как в Англии понимают обязанности послов, аккредитуемых в другие страны: «*Legatus est vir bonus perg re missus ad mentiendum rei publicae causa*»*.

Предварительный экзамен в академию при штабе округа я сдал успешно и получил предписание выехать в Петербург, где должен был держать конкурсный вступительный экзамен при самой академии.

Этим закончилась моя служба в Екатеринославском полку.

Военное училище и полк, службу в котором я совмещал с занятиями в университете, дали мне очень много. Училище отучило меня от моей безалаберной жизни и приучило к порядку. Строгий полковой режим, новые то-

* «Посол — это доблестный человек, посылаемый за границу обманывать во имя интересов своего государства».

варищи по работе, новые обязанности и знакомства — все это не могло не сказаться на моем отношении к жизни. Лекции в университете, общение со студентами научили меня широко смотреть на мою новую специальность и способствовали успешному окончанию академии.

Моими товарищами по полку были преимущественно молодые офицеры, пришедшие в полк из кадетских корпусов. Но именно эти люди, в сущности только еще вступавшие в жизнь, оказывали на меня наибольшее и весьма благотворное влияние. Это были Петр Кузьмич Козлов, участник экспедиции Пржевальского, а затем и сам известный путешественник, а также мои близкие друзья, молодые поручики Воронов и Сухопаров — оба хорошие спортсмены и охотники, отличные строевые офицеры, проявлявшие большой интерес к общественной жизни и литературе. С начальством они держались независимо, не боялись говорить то, что думали, любили и умели пошутить. Жили они вместе в комнате на третьем этаже офицерского флигеля Кремлевских казарм. Мне они нравились, и я дорожил их дружбой. Летом мы все трое жили рядом в наших лагерных офицерских домиках-палатках. А зимой не проходило дня, чтобы я не побывал у них.

После утренних занятий я обычно забегал к Воронову, чтобы пофехтовать с ним. А фехтовать он был большой мастер. Как-то раз я зашел к нему и, не застав его дома, уселся по-мальчишески на открытом окне, свесив ноги наружу: мне вздумалось, хоть и без бутылки рома, испытать ощущение толстовского Долохова. Вернувшись к себе и увидев эту картину, Воронов схватил меня сзади, втащил в комнату и, сунув мне в руку эспадрон, сказал: «А теперь защищайся за свое легкомыслие». Долго после этого у меня не проходили многочисленные синяки — следы своеобразной товарищеской заботы.

Мы все втроем идеалом военного человека считали Ганнибала. «Никогда еще, — говорит о нем Тит Ливий, — душа одного и того же человека не была так равномерно приспособлена к обоим столь разнообразным обязанностям — повелевать и повиноваться. Трудно поэтому было решить, кто им больше дорожил: главнокомандующий или войска. Насколько он был смел, бросаясь навстречу опасности, настолько же он был осторожен в самой опасности. Не было такого труда, при котором он уставал бы

телом или падал духом. Распределяя время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь, уделяя покою те часы, которые у него оставались свободными от работы, он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть. Часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал среди воинов. Первым устремлялся в бой, последним после сражения оставлял поле. Он был образованным человеком и блестящим дипломатом. Непоколебимо хранил клятву ненависти к Риму, данную еще мальчишкой отцу. При опасности попасть в плен к римлянам предпочел кончить жизнь самоубийством».

Из писателей нам очень нравился Марк Твен, за чтением изумительно остроумных и веселых произведений которого мы коротали ночи во время дежурств по полку.

Сухопаров был начальником полковой охотничьей команды *, а Воронов его помощником. Из этой команды они создали такой военный коллектив, который славился во всем гренадерском корпусе. Оба они, хотя и были близкими друзьями, обращались часто друг к другу на «вы», прибавляя иногда шутливо английское «сэр». С течением времени форма обращения на «вы» стала их обычной манерой обращения. В полку среди младших офицеров был барон Кистер, известный в свое время в Москве спортсмен и боксер, часто с успехом выступавший в состязаниях с приезжавшими иностранными боксерами. Кистер носил монокль и отличался пренебрежительным, а иногда и жестоким обращением с солдатами, которые его ненавидели. Воронов и Сухопаров, признавая его спортивный талант, не хотели дружбы с ним и не переходили с ним на дружеское «ты». В 1918 году, читая списки офицеров, расстрелянных в Вологде за участие в контрреволюционном заговоре, я встретил фамилию Кистера. Несомненно, это был тот самый барон Кистер.

Свое дружеское расположение к Воронову и Сухопарову я сохранил и в дальнейшем. Сухопаров получил после русско-японской войны батальон в Новочеркасском полку, стоявшем в Петербурге. Там мы продолжали встречаться с ним. Дважды приезжал в Петербург и Во-

* Охотничьей командой называлась группа офицеров и солдат, которые добровольно согласились выполнять самые опасные поручения, главным образом разведывательного характера.

ронов, вернувшийся с японской войны с боевыми наградами.

Я не сомневаюсь, что, если бы Воронов и Сухопаров пережили империалистическую войну, они были бы в рядах защитников революции. Но оба они не дожили до конца войны: Воронов, тяжело раненный, был взят немцами в плен и там погиб, Сухопаров, по слухам, был убит на фронте.

В моей памяти Воронов и Сухопаров остались как представители передового русского офицерства. В полку они открыто осуждали офицеров, которые грубо обращались с солдатами. Еще беспощаднее они были в осуждении случаев разврата среди офицеров. Оба были верны своим невестам. Оба они женились только после того, как у них создались для этого материальные возможности. А надо сказать, что в положении офицерских невест многим девушкам приходилось засиживаться иногда очень долго: младшие офицеры получали так мало, что не могли на эти деньги содержать семью. Впрочем, над этим задумывались далеко не все и не всегда. Например, я помню в нашем полку командира одной из рот капитана Неверова. На сто рублей своего месячного жалованья он содержал семью из восьми человек. Правда, он снимал квартиру под Москвой, в деревне Шелепихе, за Дорогомиловской заставой, где имел небольшой огород. Круглый год он ежедневно пешком приходил на службу в Кремль и таким же образом возвращался к себе домой и никогда не жаловался на трудности.

Зная о моих довольно частых, хотя и невинных сердечных увлечениях, Воронов и Сухопаров беспощадно меня высмеивали за это. Моей реабилитации в их глазах помог лишь следующий случай. Известный московский купец миллионер Протопопов состоял почетным старостой нашей полковой церкви, находившейся в городском манеже. По установившейся традиции Протопопов в различные торжественные даты устраивал для офицеров нашего полка званые обеды. В благодарность за это командир полка рекомендовал офицерам на рождество и пасху хотя бы по очереди поздравлять семью Протопоповых. Дважды с визитом был в доме купца и я, сопровождая командира Яцыну. Только Воронов и Сухопаров решительно отказывались от этих визитов, объясняя свой отказ тем, что у Протопоповых были две взрослые дочери.

Однажды Яцына, приглашая меня к Протопопову, заметил, что я понравился хозяйке, которая не прочь была бы видеть меня женихом своей Наденьки. Я попросил Яцыну передать мою благодарность за оказанную мне честь, но больше к Протопоповым решил не ездить. Воронов и Сухопаров с удовлетворением констатировали, что я, по их мнению, стал исправляться. И только мой дядюшка Алентьев, узнав об этом, сказал: «Ну и дурак же ты, брат!» Я утешал себя мыслью, что отец мой, вероятно, присоединился бы к мнению Воронова и Сухопарова.

Спустя несколько месяцев Наденька Протопопова вышла замуж за одного из офицеров нашего полка поручика Бейдемана. Хорошо зная Бейдемана, я искренне пожалел Наденьку. Через пять лет женился и я. Жену мою также звали Наденькой. Поселились мы в маленьком домике у Малого Каменного моста, и вдруг выяснилось, что этот домик куплен на слом Протопоповым. Вскоре здесь был построен большой дом, полновластным хозяином которого стал Бейдеман.



Глава 4-я

В АКАДЕМИИ

«Per aspera ad astra»*.

В августе 1895 года после некоторой задержки в полку по случаю смерти царя Александра III я приехал в Петербург держать вступительный экзамен. Академия помещалась тогда на Английской набережной, около Николаевского моста. Подыскивать себе квартиру я отправился на Васильевский остров и скоро снял ее на Большом проспекте за двенадцать рублей в месяц, с обедом за другие двенадцать. Это был максимум того, что я мог выделить на эти главные статьи расходов из моего месячного бюджета в 60 рублей.

Академия в то время имела два основных назначения. Первой ее задачей было повышать специальное военное образование офицеров. Для этого предназначались два первых курса. Окончившие их офицеры получали право на ношение особого академического значка. Второй задачей академии было комплектовать корпус офицеров Генерального штаба. Для этого существовал третий, дополнительный курс, на который переводились лучшие по баллам офицеры, кончившие два первых курса. Зачисление на этот третий курс осуществлялось по числу вакансий, открывавшихся по штатам Генерального штаба.

Наличие при Генеральном штабе специального офицерского корпуса было одной из особенностей русской армии, отличавшей ее от других европейских армий. Офи-

* «Лишь преодолевая трудности, можно достичь вершин».

церам Генерального штаба была присвоена особая форма одежды, они пользовались правами на ускоренное чиновное производство. Перед ними открывалась широкая дорога для службы не только по военному ведомству, но и на поприще дипломатическом, а также по ведомствам внутренних дел и даже народного просвещения. Естественно, что оказаться в офицерском корпусе Генштаба было очень много желающих. В академию стремились офицеры из всех родов войск армии и гвардии, казачества и флота. Не брезговали академией и отпрыски императорской фамилии. Академия находилась как бы под боком у гвардии, великих князей, военной и всякой иной аристократии. Обширная сеть из протекций, родственных связей, дружеских отношений, знакомств, интриг и прямой подлости была связана с поступлением в академию и обучением в ней. Здесь расцветали и разносились по всей армии чувства, не имевшие ничего общего с крепкой товарищеской спайкой, доверием и уважением к Генеральному штабу как «мозгу» армии. Недаром один из молодых преподавателей академии полковник Мартынов говорил, что академия — это нечто среднее между институтом благородных девиц и иезуитской коллегией. Профессорский состав, по преимуществу из немцев, группировался вокруг маститого ученого стратега Леера, начальника академии, воспитавшего и лиц царской крови.

В академии я встретился со многими товарищами, одноклассниками и однокашниками по Алексеевскому училищу: Кудленко, Ласточкиным и другими.

Вступительные экзамены носили торжественный характер, но ничего особенного не представляли. Оригинальными были темы для сочинений по русскому языку, вроде «Не по-хорошему мил, а по-милу хорош», рассчитанные скорее на выявление фантазии, чем знаний. Я выбрал именно эту тему и иллюстрировал свои рассуждения примерами из военной истории. На высший балл по каждому из иностранных языков полагалось также писать сочинение; мне была дана тема «Полтавская битва». По всем четырем языкам, считая и русский, я получил по 12; по всем остальным предметам, общим и военным, — по 11 или 12 и только по математике 10.

Среди преподавателей своей сухостью и какой-то неприязненностью выделялись три профессора — геодезии и астрономии — Шарнгорст, Штубендорф и Цингер, все

трое генералы и немцы. Впечатление от остальных было вначале даже приятное, кроме полковника Орлова, говорившего вкрадчиво и даже слишком нежно, но не внушавшего симпатии.

Ни с кем из слушателей ясных и приятельских отношений у меня не установилось. Со многими из них, особенно с гвардейцами (за исключением симпатичного подпоручика Семеновского полка Скалона) и кавалеристами, я за все пребывание в академии ни разу дружески не разговаривал.

Сразу после начала занятий определились две категории слушателей: одни исправно посещали все лекции — тем более, что это считалось обязательным, — другие заехали за изучение курсов дома, а на лекции приходили лишь эпизодически, поручая приятелям расписываться за себя на явочных листах.

Через год на переходных экзаменах лучшие знания показали те, кто занимался дома. Но я по своему упрямству не только не прекратил посещение лекций, но своими записями их снабжал даже своих близких товарищей. Думаю, что если не в баллах, то в своем военном развитии я не прогадал.

Правда, качество лекций было неодинаковым. Увлекательно читал стратегию генерал Михневич. С кием в руке он бегал по всей длинной кафедре, представляя иногда в лицах, тоне, жестах характеризуемых им полководцев.

Тактику преподавал нам толстый, тяжелый генерал Кублицкий. Он, тяжело дыша, ставил свой стул возле карты и читал сидя, указывая иногда нужные места на карте ногой. Несколькими годами позже он получил дивизию в Харькове, а я был назначен к нему в штаб.

Военную историю читали по эпохам несколько профессоров. Невзрачный на вид, косоглазый М. В. Алексеев (будущий генерал-адъютант и начальник штаба Верховного главнокомандующего — царя) содержательно и просто читал турецкие войны XIX века. В своих лекциях Алексеев выпукло обрисовывал «Восточный вопрос» как узел европейских противоречий, связанных с судьбой Турции и историческими стремлениями России к выходу из Черного моря. Конечно, он в своих лекциях не затрагивал трагических сторон войны, которые так ярко выразил Верещагин в ряде своих картин. И, разумеется, не

говорил нам об отсталости России, ничтожестве ее правителей, интендантском хищничестве и других подобных вещах...

Средневековые войны читал немец Гейсман. Он непрерывно ходил взад и вперед по кафедре и, не отрывая глаз от тетради, передавал слово в слово свой учебник. Всем нам было ясно, что посещать лекции «гершки» бесполезно, и только упрямцы, как я, не пропускали его лекций из принципа.

Наполеоновские войны были специальностью полковника Баскакова, богатого сахарозаводчика. На свои лекции он приносил отличные карты, схемы и т. п., но читал монотонно и скучно.

Великолепным лектором был профессор инженерного искусства генерал Цезарь Кюи — этот «первый инженер среди композиторов и первый композитор среди инженеров». Особенно хорошо и красиво рисовал он на доске сложные фортификационные сооружения.

Надоедливо, скучно читал военную администрацию европейских армий генерал Макшеев. Он был автором такой уймы учебников по всем отделам военной администрации разных стран, что, получив эти учебники для подготовки к экзамену, мы с моим однокурсником Ласточкиным, соседом по квартире, еле дотащили их из академии до извозчика.

Несмотря на молодые годы, Макшеев был совершенно глухой и принимал доклады слушателей через рупор. Готовясь по его учебникам к экзамену, мы ворчали, что он, написав столько книг по администрации, лишь оглох, а не сошел с ума!

Сам Леер в мое время уже не преподавал.

Его правой рукой и единоличным вершителем всех академических дел был полковник Золотарев, профессор военной статистики. Содержание этого предмета было очень скучным, так как преимущественно состояло в детальном описании не только больших водных линий и пространств в приграничной полосе нашей с Германией и Австро-Венгрией, но и всех мелких речушек, ручьев и болот, которые в изображении их Золотаревым вырастали в серьезные препятствия, а иногда даже в преграды на путях к нашим заграничным противникам. В империалистическую войну немало вреда причинила нам эта военная статистика Золотарева.

Гражданскими профессорами были известные ученые: Ламанский читал историю, Иностранцев — исследователь русского Севера и Урала — геологию, Введенский — философию.

Конечно, в лекциях, посвященных истории и философии, не было и следа марксизма и диалектического материализма. История преподносилась нам по старым идеалистическим схемам, философия — в духе правоверного кантианства. На этих лекциях не произносилось даже имени передовых мыслителей, общественных деятелей и ученых, таких, как Маркс, Энгельс, Дарвин или Герцен и Чернышевский. Естественно, что наши понятия в области философии, этики, истории, социологии, истории литературы и искусства, экономических наук и естествознания были, как правило, весьма односторонними.

Преподавателей и профессоров по иностранным языкам я совсем не знал, потому что от занятий по языкам был освобожден так же, как от верховой езды были освобождены кавалеристы. Кстати, верховую езду преподавал в академии кавалерийский ротмистр, выгнанный из полка конной гвардии за то, что женился на известной тогда в Петербурге певице Мравиной — солистке императорского Мариинского оперного театра. Он был выгнан по личному приказанию Николая II, хотя сам царь, как известно, был связан с балериной Кшесинской и построил ей особняк в Петербурге. Неравнодушен к хорошеньким балеринам был и великий князь Николай Николаевич. Рассказывали, что он, сидя рядом с царем на праздничном спектакле в Красносельском лагерном театре, неистово орал: «Балета-а-а-а! Балета-а-а-а!», вызывая отлично танцевавшую балерину. Вероятно, отсюда брали начало и слухи о «красноте» и даже «революционности» Николая Николаевича, так как фамилия балерины «Балета» по-французски значит «долой государство!» («à bas l'état!»).

Преподавание военных наук находилось под сильным влиянием западноевропейских и особенно германских доктрин.

Главенствующее значение имели стратегия и тактика. Современного понятия о «военном искусстве», обнимающем вопросы тактики, оперативного искусства и стратегии, совсем не существовало. Экономические и моральные

возможности как своей страны, так и стран противника не изучались.

Законодателем военной науки был престарелый уже Генрих Антонович Леер, крупный военный теоретик до-революционной России. Он ограничивал области военной науки одной лишь стратегией. Последняя, по его определению, есть синтез всего военного дела, его обобщение и философия.

Очевидна связь этого определения с учением о стратегии военного светила тогдашней Германии — Мольтке Старшего: «Стратегия — это больше, чем наука; это перенос знания в практическую жизнь, дальнейшее развитие первоначальной руководящей мысли в соответствии с постоянно меняющейся обстановкой. Стратегия — это искусство действия под гнетом труднейших условий». Последователями Мольтке, как известно, были видные военные мыслители Германии Шлифен и Людендорф.

Теперь с высот нашей советской военной науки, базирующейся на теоретическом фундаменте диалектического и исторического материализма, кажутся жалкими эти потуги определить роль и значение военной стратегии и ее составных элементов. Но тогда все это считалось образцом военной мудрости.

Кроме лекций в академии, по некоторым предметам были организованы и практические занятия.

Широко проводились занятия по тактике. Для руководства ими приглашались офицеры из Главного управления Генерального штаба. По астрономии нам давались практические задачи на вычисления; по военной администрации поручалось составление карт. Все домашние работы этого рода необходимо было выполнять собственноручно. В действительности же состоятельные офицеры заказывали карты компетентным исполнителям и затем получали высокие баллы от профессоров. Об этом хорошо было известно академическому начальству, но оно не принимало никаких мер. Случайно обнаруженные факты такого недобросовестного отношения офицеров к своим обязанностям, разумеется, строго наказывались, но, помимо, больше за проявленную при этом неловкость, чем по существу дела.

Помню, при мне произошел такой случай. Генерал принимал от офицера ответственную задачу по австро-

венгерской статистике и следил за его докладом по от-
лично выполненной огромной карте.

— Вы собственноручно начертили эту карту? — спро-
сил он.

Офицер торжественно это подтвердил.

— Странно, — заметил генерал, — кажется, эта карта
уже была представлена мне в прошлом году.

— Это, вероятно, оттого, что я перечертил ее с карты
моего товарища, — в некотором смущении оправдывался
офицер.

— Вы можете дать мне слово, что перечерчивали
сами?

— Конечно, ваше превосходительство, — офицер при-
ободрился, надеясь, что теперь выпутается из неприятного
положения.

— В таком случае, объясните мне, зачем вы перечер-
тили вот этот маленький крестик, который я поставил
здесь в прошлом году? — жестко спросил генерал.

Это был удар, который определяется даже специаль-
ным термином «*Coup de grâce*» *.

Через два дня офицер был отчислен из академии об-
ратно в полк, как человек, не дорожащий честью офи-
церского слова.

Однако офицеры все-таки находили способы посту-
пить по-своему. С моим товарищем Кудленко мы погово-
рили, что он будет решать за меня задачи по астроно-
мии, которые давались ему легко, а я за него — задачи
по военной администрации. Обоим нам это соглашение
было выгодно в смысле большой экономии времени, столь
дорогого в дни подготовки к экзаменам. Но тут не обо-
шлось без казуса. Однажды я отправился сдавать гене-
ралу Шарнгорсту задачу, решенную для меня Кудленко.
Передо мной было еще четыре человека. Шарнгорст, бегло
просмотрев задачу одного из них, сердито сказал: «Я же
вам объяснял, что при решении задачи по солнцу надо
принимать в расчет видимый радиус светила!» Следую-
щий офицер, оказалось, этого радиуса тоже не принимал

* «Последний смертельный удар» (освобождающий от страда-
ний). Вероятно, возникновение термина находится в какой-то связи
с обычаем в древнем римском колизее, где император опускал
большой палец руки вниз, давал гладиатору-победителю знак по-
кончить последним ударом страдания поверженного «противника».

в расчет, и генерал, уже сильно рассердившись, швырнул его тетрадь на стол и что-то отметил в своей книжке.

— Ну а вы? — обратился он ко мне.

Уверенный в искусстве Кудленко, я ответил, что принял радиус в расчет. «Ну, слава богу, хоть один нашелся толковый человек!» Шарнгорст облегченно вздохнул и стал смотреть мою задачу: «Да вы же решали по звезде и потому правильно сделали, что не принимали в расчет радиуса!» — воскликнул он и, строго на меня посмотрев, также что-то отметил в своей книжке. Я отошел от Шарнгорста в большом конфузе и сел на свое место около Кудленко, встретившего меня словами: «Ну ты, толковый человек, потащил задачу, даже не взглянув на нее!»

Отрицательной стороной академического курса была, на мой взгляд, именно его «академичность», погоня за высоким уровнем общего и притом теоретического образования в ущерб практической полевой подготовке и работе в живой жизненной обстановке. Сколько я могу судить, подготовка офицеров в западных армиях была лишена этого недостатка. Во время службы в штабе Киевского военного округа мне пришлось сопровождать приехавшего к нам румынского офицера Генерального штаба. Я должен был показывать гостю то, что нам было выгодно показать, и отнюдь не показывать то, что не следовало. Румын поинтересовался устройством нашего артиллерийского полигона, и начальник штаба генерал Маврин разрешил свозить его на полигон, но не показывать только что полученную в Киеве нашу новую шнейдеровскую гаубицу, которой никто из нас, офицеров Генерального штаба, еще даже и не видел. Подъезжая к полигону, я соображал, как проехать на него так, чтобы даже случайно не попасть на секретную гаубицу. Едва мы въехали в ворота, как вдали, не менее чем за 150—200 саженьей, увидели какое-то не знакомое мне орудие. Показав на него рукой, румын равнодушно заметил: «А, это ваша новая гаубица!» — и затем за все время своего пребывания на полигоне об этой гаубице даже и не вспомнил, очевидно несколько ею не интересуясь.

Как мне было стыдно перед самим собой, со всем моим багажом — астрономическим, геодезическим, военно-психологическим и вообще академическим! Месяц спустя, надевая полученный мной первый иностранный орден — румынский, я вспомнил свою поездку на поли-

гон и дал себе слово изживать недочеты в своей односторонней академической подготовке.

Из офицеров — слушателей академии мне более других запомнились уже названные выше подпоручик-семеновец Скалон и корнет-драгун Баженов. Скалон, несмотря на свое положение гвардейского офицера и бывшего камер-пажа, держался всегда скромно и просто. Баженов — типичный армейский офицер, хотя, по-видимому, способный и талантливый, отличался неприятным апломбом и самомнением. О Скалоне мне придется еще многое говорить. О Баженове стоит сказать лишь то, что он окончил академию первым.

Летнее время в академии — время практических занятий: топографических съемок и решения тактических задач в поле. Это важный и наиболее приятный период академического курса. Слушатели получали летом несколько повышенное содержание и проводили целые дни на воздухе, по большей части где-нибудь в деревне, иногда на значительном расстоянии от Петербурга.

Для проверки результатов практики к нам приезжали профессора и преподаватели.

Меня по полуинструментальной съемке проверял профессор Алексеев. Он остался чрезвычайно доволен усовершенствованием, внесенным мной в технику триангуляции, и впоследствии дважды вспоминал об этом при встречах со мной в Киевском округе и в Могилеве, в Ставке Верховного главнокомандующего.

Но, сознаваясь откровенно, это была всего лишь небольшая хитрость с моей стороны. Триангуляция — разбивка снимаемого участка на треугольники путем постановки на местности вех и последующего перенесения этих треугольников на планшет с помощью кипрегеля (подзорной трубы и соединенной с нею линейки). Треугольники на планшете обозначаются точками (места вех) и служат канвой, по которой и наносятся затем местные предметы. Точность триангуляции проверяется последовательным приложением линейки кипрегеля к каким-либо двум точкам на ориентированном планшете и визированием в трубу: если в поле зрения ее окажется визируемая вежа, то значит триангуляция, а следовательно, положение наносимых местных предметов верны.

Моя хитрость заключалась в том, что, когда при визировании вежа не входила в трубу, я просто перестав-

лял самую веху так, что она приходилась точно на перекрещении нитей окуляра, а данное положение линейки фиксировал втыкавшимися в точки планшета тонкими иголками. Ясно, что, когда Алексеев при проверке прикладывал линейку к выбранным точкам на планшете, я втыкал в них иголки, определяя этим положение линейки, и изумленный точностью триангуляции Алексеев видел веху точно на перекрещении.

Суть дела при этом не страдала, а уличить меня в моей невинной хитрости было нельзя.

На младшем курсе мне пришлось проводить съемки вблизи Павловского вокзала. Музыкальные концерты на вокзале были одним из традиционных фешенебельных развлечений.

Моим соседом по съемке был Скалон, и мы вместе ходили на концерты, причем Скалон много рассказывал мне о своем житье-бытье в Семеновском полку.

Однажды он, будучи со своим взводом, несшим внутренний караул в Аничковом дворце, был приглашен царем на сеанс французского фокусника, показывавшего свое искусство царской семье.

Фокусник, демонстрируя толстую палку в числе своих аксессуаров, случайно ударил ею по висевшему на стене большому венецианскому зеркалу. Удар был так силен, что осколки зеркала обильно усыпали весь пол. Царь, не скрывая своего крайнего огорчения, приказал сбежавшимся лакеям подобрать осколки, а раму зеркала завесить, чтобы пустое место не напоминало о неловкости фокусника.

По окончании сеанса царь все же ласково поблагодарил артиста, и тот в ответ быстро сдернул полотнище с зеркальной рамы. Изумленным зрителям предстало зеркало в полной его неприкосновенности.

По своему среднему баллу, вычислявшемуся для каждого офицера собственноручно Золотаревым по сложной системе различных коэффициентов, я был переведен на дополнительный курс академии. На этом курсе каждый офицер в течение года должен был выполнить три поручавшиеся по жребию выпускные темы: одну — по теоретической разработке какого-нибудь военного вопроса (исследовательская тема); другую — по самостоятельному изучению какой-либо кампании (историческая тема); третью — по самостоятельной разработке какой-

либо стратегической операции на заданном театре военных действий (стратегическая тема). По каждой теме в назначенный срок офицер делал 45-минутный доклад, сопровождаемый целой галереей собственноручно выполненных карт, схем, таблиц, графиков и тому подобных картографических приложений. Доклад делался перед комиссией, составленной из профессоров специалистов и часто в присутствии самого Леера. Офицер был обязан точно, минута в минуту, в отведенный срок изложить самое существенное из его темы. Непростительным недостатком считалось, если офицер этого условия не выдерживал в точности, а особенно если излагал менее важное в ущерб упущенному более важному.

Если по заданной научно-исследовательской или исторической теме офицер не находил достаточно печатных материалов или если они имелись только на иностранных языках, не знакомых офицеру, академического начальства это не касалось: офицер должен был выполнить тему любыми средствами.

Не могу не вспомнить защиту своей работы по первой теме — «О значении на войне морального элемента».

— Скажите, поручик, — обратился ко мне после моего доклада присутствовавший на нем Леер, — если бы при действиях на высоких, покрытых снегом горах вам предложили выбирать полк, натренированный в таких действиях, или полк без необходимой практики, но с высоким моральным духом, — какой бы полк вы предпочли?

— Предпочел бы полк, сильный своим духом, — ответил я и сослался на переход через Альпы Суворова, войска которого, конечно, специальной подготовки не имели.

— Тогда я вам задам вопрос на примере, более близком к вашей обычной обстановке, — продолжал Леер. — Перед вами широкая и глубокая река, а у вас один полк из людей, умеющих плавать, а другой — из людей, не умеющих плавать, но сильных духом. Какой полк предпочли бы вы?

— Ваше высокопревосходительство, а полки какой национальности? — спросил я.

— Ну, положим, что полк, умеющий плавать, немецкий, а другой — русский.

— Я предпочту русский полк! — ответил я. — Потому что при некоторых местных условиях, например в

лесистой местности, смекалистые русские солдаты найдут возможность переправить через реку не только себя, но и пулеметы, пушки, обозы, а немцы при такой неожиданности, возможно, и спасуют.

— Ну, зачем же вы такого плохого мнения о немцах? — с оттенком некоторой обиды возразил Леер. Только тут я сообразил, что Леер-то немец, и невольно смутился, ибо совсем не собирался своими ответами задевать его национальное достоинство. Я хотел только подчеркнуть свое убеждение в том, что наши русские солдаты по своим моральным качествам являются лучшими в мире.

Особенной сложностью, конечно, отличалась третья, стратегическая тема. Офицер должен был долго работать с подлинными документами Статистического управления, чтобы собрать точные материалы, составить план материального снабжения своих войск, их сосредоточения для решающего боя, обеспечить ход сражения надлежащими оперативными и боевыми распоряжениями. Офицер должен был собственноручно снабдить свой доклад всеми необходимыми картами, схемами, расчетами и т. п.

Из трех баллов, полученных по этим трем темам, в конце года выводился средний балл, который и решал, попадает ли офицер в число «причисляемых к Генеральному штабу». Опять-таки в зависимости от числа вакансий.

Академическое начальство располагало, разумеется, множеством средств, чтобы по своему усмотрению влиять на судьбу офицера.

Допустим, к примеру, что у профессора N (как это и было в моем выпуске) состоял слушателем его брат или сын. Последний мог рассчитывать на получение лучшего балла не только благодаря связям родства или знакомства, но и в силу более строгого отношения самого профессора N ко всем соперникам своего протеже. Давление этих обстоятельств я испытал на себе.

Первые две темы у меня сошли отлично. Но когда я подал свою стратегическую тему генералу Орлову, он, взяв в руки мой скромный фолиант, воскликнул: «Я удручен одним видом вашей работы!»

Понимая, какими последствиями грозит мне такое предвзятое отношение к моему труду, я отправился к Золотареву, доложил о своих опасениях и просил содей-

ствия, чтобы на мою защиту пришел генерал Леер. Золотарев обещал.

После моего доклада первым говорил профессор Кублицкий. Сделав несколько общих замечаний, он заключил, что работа выполнена отлично. «К сожалению, — начал свою речь Орлов, — я не могу присоединиться к мнению генерала Кублицкого». После этого он стал отмечать недостатки работы. Я с радостью видел, что никаких крупных недочетов он не нашел.

Выслушав до десятка сравнительно мелких замечаний, Леер, смеясь, обратился к Орлову и сказал: «Ну, не будем заниматься ловлей блох, хотя занятие это в известных пределах полезное. Я считаю также, что тема отработана вполне хорошо».

С этими словами он встал и вышел. Орлов своего мнения не отстаивал и согласился признать работу хорошей.

По традиции все офицеры, кончающие полный курс академии, отвозились в Царское Село и представлялись царю, а затем завтракали в одной из дворцовых зал. Так было и с нашим выпуском 1898 года. Царь выслушивал фамилию офицера и каждому подавал руку, пристально вглядываясь в глаза, как будто желая прочесть в них что-то.

Закончив, таким образом, свой академический курс, я был признан достойным причисления к Генеральному штабу. Теперь мне предстояло годичное цензовое командование ротой в своем полку, а также штабной ценз при штабе 36-й пехотной дивизии, расположенной в Орле.

За окончание академии я получил чин штабс-капитана и отбыл в летний отпуск.



ШТАБНОЙ ЦЕНЗ. ЦЕНЗОВОЕ КОМАНДОВАНИЕ РОТОЙ

«Probieren geht über Studieren»*

Свой отпуск я провел в Петербурге, который чрезвычайно полюбил, а затем с предписанием от академии отправился в Орел.

36-я пехотная дивизия, где мне предстояло отбыть штабной ценз, готовилась к выходу на полковые и дивизионные учения и маневры. Они были связаны с постоянными переходами с места на место по Орловской губернии, чтобы проводить занятия на различной по своим свойствам местности.

Во все время маневров начальник дивизии использовал меня вместо отсутствовавшего офицера Генерального штаба. Мне поручалось составление плана передвижений, программ строевых занятий, отчетов и всякого рода распоряжений. Это дало мне обширную практику в штабной работе.

Войсковые занятия протекали вполне благополучно, и я неоднократно удостоивался благодарностей от своего строгого и взыскательного начальника.

После маневров дивизия возвратилась в Орел, я же вскоре вернулся в Москву, в родной полк, где мне предстояло принять в командование роту.

Особых перемен в полку за мое пребывание в академии не произошло. Так же жили и мои друзья — Воронов

* «Практика — лучший учитель».

и Сухопаров. Они тепло приветствовали меня и от души поздравили с штабс-капитанским чином. Им без академического образования предстояло получить его только лет через 10—12. Таков был обычный срок для получения роты, без которой этот чин не давался. Идти же в академию оба упорно отказывались.

В нашей семье я также особых перемен не обнаружил. Мать моя с братьями и сестрами по-прежнему жили в нашем потихоньку разваливавшемся домике.

Дядюшка А. Д. Алентьев в связи с моим возвращением вновь вспылал намерением женить меня.

Однажды он сказал: «Приходи завтра к нам, я покажу тебе хорошенького черненького жучка!»

Из любопытства я пришел и увидел Жучка, который действительно мне очень понравился. Вместе со своей кузиной я отправился его провожать; мы были приглашены зайти; остались обедать. Через неделю эта программа была повторена; я просидел до вечера. Вечером Жучок (она же Наденька Соколова, девушка редкой души, как ее рекомендовали Алентьевы) должен был пойти по делу к своей тетке в Благовещенский переулоч. Я вызвался его проводить. Мы долго сидели на лавочке у Патриарших прудов, а на возвратном пути я сделал предложение, которое и было принято. Узнав про это, Алентьев воскликнул: «Вот это по-нашему — по-казацки! Чего там канитель-то разводите!»

Когда меня упрекали в недостаточно обдуманном, даже опрометчивом решении такого важного вопроса, я, чтобы отделаться, ссылался на Сократа. Великий философ сказал своему ученику, обратившемуся к нему за советом, жениться или нет. «Женишься ли ты или нет, — верно лишь то, что будешь раскаиваться в том, что сделал». Вопреки Сократу, я никогда не имел повода раскаиваться в этом своем поступке. Моя невеста сочла нужным сказать в ответ на мое предложение, что средствами не располагает и вся родительская помощь, на которую она может рассчитывать, это от 50 до 100 рублей в месяц, в зависимости от заработка отца. Отец ее был мастер-деревообделочник, имевший свою небольшую мастерскую. Я заверил ее, что если ее не пугают материальные трудности, то меня они тоже не страшат.

Не могу не упомянуть об одном удивительном совпадении: когда мы с Наденькой заходили на минутку к ее

тетушке в Благовещенский переулочек, то там ко мне, оставшемуся в передней, вдруг высыпал целый выводок белоголовых ребятишек. С ними была девочка лет десяти, поразившая меня белизной своих мягких льняных волос. Можно ли было предположить тогда, что этой «льняной» девочке суждено было через много лет стать моей второй женой...

Быстро прошел год службы в родном полку, тем более что суровый Водар был сменен приветливым и деликатным генералом Ласковским. Поздней осенью 1900 года пришло извещение, что я, как причисленный к Генеральному штабу, назначаюсь для стажировки в штаб Казанского военного округа. Не особенно хотелось уезжать из Москвы, но делать было нечего.

Собрались мы с женой налегке и отправились. Занятно было, добравшись до Волги, переезжать в татарских санках на левый берег к железнодорожной станции Зеленый Дол.

Казань очень радушно приняла нас в русло тихой, совершенно патриархальной жизни. Мы сняли полторы комнатки в гостинице и сразу освоились с новой для себя обстановкой.

Штабная работа в строевом отделении штаба округа ничего нового для меня уже не представляла. В городе не было никаких войсковых частей, кроме разве Казанского юнкерского училища. Офицеры штаба время от времени посещали друг друга по вечерам, и это было единственным развлечением.

Начальник строевого отделения полковник Генерального штаба Хамин и его жена неплохо играли на рояле и хорошо пели, поэтому вечера с четой Хаминых пользовались большим успехом.

Начальник штаба тоже имел свою оригинальную особенность: он высказывал свои мысли всегда в форме афоризмов. Так, желая испытать мою подготовленность в области стратегии, он поручил мне сделать доклад на тему о значении правильно выбранного направления для главного удара. Этот мой доклад он озаглавил таким образом: «Хороший удар под Берлином — и можешь завоевать Камерун, не умея даже найти его на карте!»

Начальник штаба, очевидно, страдал каким-то недугом: он всегда ходил по штабу, держа в руках большой резиновый круг, который укладывал на стул, прежде чем

сесть. Мне он напоминал представителя речной полиции, стоявшего обычно на набережной Невы, неподалеку от моей квартиры, с таким же кругом, в полной готовности бросить его утопающему.

Однажды зимой я в числе других офицеров был приглашен вместе с женой на семейный вечер к командующему войсками. Основным развлечением на вечере, как всегда, были выступления четы Хаминых. Окончился вечер уже за полночь небольшим ужином. Была очень холодная погода и сильная вьюга. Усаживая нас с женой в маленькие татарские санки, дежурный ординарец посоветовал мне надеть мою «никалаевскую» шинель в рукава, а не внакидку. Я не послушался, сказав: «Нет, так теплее», — и высоко поднял меховой воротник. На открытом Арском поле я не слышал и не видел, как из наших быстро раскатившихся саней вылетела моя дражайшая половина. Возница, услышав отчаянные крики, остановил лошадей, и мы вместе водворили моего Жучка на место. «Эх, зря ты не держал свою барыню-то!» — укоризненно сказал татарин. Он не понимал, что мне в накинутой никалаевке и держать было нечем.

— Надо было сразу послушаться умного солдатского совета, — сердито заметила жена.

В марте 1901 года пришел новый приказ — меня переводили в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом в штабе 31-й пехотной дивизии, расположенной в Харькове.

Это очень обрадовало нас с женой. Жить в столь близкой мне Украине было нашим давним желанием. Жена, собрав вещи, поехала вперед, оставив меня заканчивать свои дела в штабе округа.

Когда я, наконец, выбрался из Казани и с поднесенным мне от офицеров штаба довольно тяжелым письменным прибором приехал в Зеленый Дол, оказалось, что переезд через Волгу прекратился вследствие начавшегося движения льда. Мне предстояло или перебраться через реку пешком, или вернуться еще недели на две в Казань.

Начальник станции, с которым я посоветовался, категорически возражал против перехода по льду. Наконец, он рекомендовал обратиться к опытному проводнику — волжскому татарину. Проводник потребовал за услугу 200 рублей. На мои слова, что это очень уж дорогая

цена, татарин хитро заметил: «А ты, что же, свою жизнь-то дешевле ценишь?» Мы долго не могли прийти к соглашению: татарин из деликатности не хотел умалять ценность моей жизни, а я из скромности уговаривал не преувеличивать ее. Наконец, взаимно уступая, мы установили приемлемый для обоих взгляд на предмет нашего торга. Татарин принес доску и багор, и мы отправились. На мой вопрос о назначении багра проводник ответил, что это на случай, если я упаду в воду. Мне невольно подумалось, что резиновый круг начальника штаба округа оказался бы более подходящим в данной ситуации. Дорогой я с удивлением устанавливал, что татарин выбирал по льду такие направления, которые я никогда бы не выбрал сам. Наоборот, те направления, которые я предлагал, вызывали у него спокойный ответ: «Ну что ж, иди, коли тебе жизнь не дорога». В конце концов мы стали уже благополучно подходить к берегу, но тут терпение меня оставило, я прыгнул с последней льдины через полынью, поскользнулся и попал почти по пояс в воду. Татарин, ворча, помог мне выбраться. Мы поспешили в станционный буфет, где я переменял белье и, пока мы обедали, буфетчик на печке высушил мои сапоги и штаны. Скоро пришел и московский поезд.

Сердечно прощаясь с татаринком, я понял, что недавно уплатил ему по высокой цене. Без него я, чего доброго, был бы на дне реки.



В КИЕВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

«Scribitur ad narrandum, non omnia ad probandum»*.

Назначение в штаб 31-й пехотной дивизии явилось началом моей почти восемнадцатилетней непрерывной службы по Генеральному штабу в дореволюционной армии.

Свое первое назначение на службу Генерального штаба я воспринял с большой радостью. Еще отец приучил меня любить Украину, как родную страну. Кроме того, Киевский округ наряду с Варшавским был самым большим и важным пограничным округом, призванным играть в случае войны главную роль в боевых действиях.

Жена моя взяла на себя хлопоты по устройству квартиры в Харькове, а я поспешил к новому месту службы — прямо в лагерь 31-й дивизии при городе Чугуеве. О нем я знал лишь, что здесь еще при Аракчееве и Александре I были места военных поселений. В 1819 году в Чугуевском уланском полку вспыхнуло восстание, жестоко затем подавленное.

На вокзале в Харькове я увидел молодого генерала Генерального штаба и, как младший по званию, подошел к нему представиться. Оказалось, это был Артамонов, известный мне понаслышке, участник англо-бурской войны. Он не преминул тотчас же сообщить об этом, добавив, что предпринял свое путешествие по политическим

* «История существует независимо от того, одобряем мы ее или нет». — К в и н т и л а н,

убеждениям, дабы помочь бурам отстаивать свою независимость; что вернулся он в Россию через Египет, где много купался в Ниле, не боясь крокодилов. Теперь он ехал принимать бригаду в Чугуеве. Мы отправились вместе. В вагоне Артамонов без перерыва громко, как в аудитории, говорил о ненавистной ему колониальной политике англичан. Устав слушать, я пытался прервать его, но напрасно.

Между прочим, я узнал от Артамонова, что в Киевском округе было пять армейских корпусов с многочисленными войсковыми частями. Повиновение в войсках, как и во всей армии, несмотря на либеральные высказывания Драгомирова, поддерживалось палочной дисциплиной. Солдатские массы и особенно в инженерных частях, где процент рабочих был выше, не хотели мириться со своим унижительным положением, охотно воспринимали революционную пропаганду и агитацию.

В Чугуевском лагере я неожиданно встретил так хорошо памятного мне по академии профессора генерала Кублицкого. Авторитетный петербургский профессор, тучный и тяжелый на подъем человек, променял, как оказалось, привычную работу в академии на беспокойную, полную тревог службу начальника дивизии. Очевидно, тут была какая-то особая причина.

Последовавшее вскоре посещение дивизии командующим войсками округа Драгомировым и его начальником штаба Сухомлиновым несколько прояснило мне эту загадку. Драгомиров приезжал в лагерь обучать пехоту встречать кавалерийские атаки, а кавалерию — производить атаки на пехоту. (Тогда приобрели известность «драгомировские сквозные атаки».) Оба высоких генерала относились к Кублицкому с подчеркнутой холодностью. По общему мнению, это объяснялось тем, что они видели в Кублицком опального профессора, вынужденного покинуть Петербург из-за своих либеральных настроений. Кублицкий после первого же лагерного сбора в 1901 году решил уйти в отставку. Обязанности по боевой подготовке полков он перепоручил своему начальнику штаба Владиславу Наполеоновичу Клембовскому, оставив за собой лишь общее руководство. Разработка в штабе дивизии всех текущих вопросов была возложена на меня, как старшего адъютанта Генерального штаба. Это оказалось чрезвычайно полезным: я сразу вошел

в курс штабной работы, а непосредственное личное общение с Кублицким, скучавшим дома и охотно просиживавшим долгое время в штабе, беседуя со мной, обогатило меня любопытными сведениями из военной истории в соединении с характеристикой выдающихся деятелей.

От него я много узнал об Аракчееве, о Скобелеве и фельдмаршале Павла — графе Каменском, которого Александр I назначил командующим армией в 1806 году. Наполеон считал его самым опасным для себя противником, ибо планы всех здравомыслящих людей можно предугадать и подготовиться к противодействию, но никак нельзя было предвидеть безмерной глупости, которой не был бы в состоянии сделать Каменский.

Кублицкий живо интересовался политическими событиями, особенно когда во всей стране, и в центре и на всем юге, в связи с нарастающим экономическим кризисом начались стачки и массовые политические демонстрации рабочих.

Я с большим сочувствием слушал Кублицкого и искренне ценил его простоту, стремление к правде, отзывчивость.

В том же году я взял на себя руководство топографическими и тактическими занятиями юнкеров Чугуевского юнкерского училища. Занятия эти стали началом моей многолетней педагогической работы в военно-учебных заведениях.

Политическая жизнь в стране становилась все более напряженной, чувствовалось упорное нарастание грозной революционной бури, разразившейся в 1905 году. Любопытно отметить, что Кублицкий, несмотря на явную неотчетливость его политических позиций, ясно предвидел неизбежность революции в России. «Как может быть, — говорил он, — чтобы при нашем внутреннем положении миллионные массы людей, скитающиеся по всей стране в поисках заработка, не зажгли общего пожара?» Я не раз вспоминал эти слова, когда судьба сделала меня очевидцем революционных событий в Киеве. Вообще военная служба не только не помешала мне «познать жизнь» (возможность чего мой отец не допускал, убеждая меня идти в университет), но и позволила мне во второй половине моей жизни выступить сознательным и активным защитником Родины и своего народа.

В лагере в Тамбовском полку отбывал строевой ценз по командованию батальоном старший адъютант штаба Киевского военного округа полковник Карцов. Он жил в лагере вместе с женой, Елизаветой Михайловной. Это была незаурядная женщина, киевская аристократка (дочь известного в свое время профессора-венеролога Стуковенкова), отлично образованная, светски воспитанная. Она так подружилась с моей женой, что они почти не разлучались. Я никак не мог понять, о чем могли говорить по целым дням женщины, столь различные между собой. Подружились, хотя и не так тесно, и мы с Карцовым, который вскоре предложил мне должность своего помощника.

Так состоялся в начале 1902 года мой переход на службу в штаб Киевского военного округа.

Назначенный перед тем участвовать в окружной полевой поездке Генерального штаба на австрийской границе, я побывал в Киеве. Город привел меня в восхищение, и я с удовольствием думал о предстоящем переезде. Полевая поездка имела целью ознакомить офицеров Генерального штаба с приграничной полосой и собрать материал для составления военно-статистического описания этой местности. Такие поездки практиковались ежегодно во всех пограничных военных округах. Они обеспечивали издание ценных сборников военно-географического и статистического характера.

Глубокое сожаление испытывал я, расставаясь с Кублицким. Вскоре я узнал о выходе Петра Софроньевича в отставку и последовавшей затем его кончине.

Переезд в Киев пробудил во мне с детства знакомые мысли о героическом прошлом, о битвах за Родину, о подвигах вольных запорожских казаков в их борьбе с польской шляхтой и турецкими захватчиками.

На службе меня ожидали совершенно непредвиденные перемены.

Имея сведения о моих знаниях иностранных языков, особенно немецкого, Сухомлинов в октябре того же года приказал возложить на меня специальные обязанности по изучению австро-венгерской армии и сбору о ней данных разведывательного характера. Не скрою, что новое назначение пришлось мне более по душе, чем служба

с Карцовым. К тому же эта перемена нисколько не отразилась на наших дружеских отношениях.

Карцовы познакомили меня и жену с матерью Карцовой — Ольгой Николаевной Стуковенковой, вдовой покойного профессора Киевского университета. Это была одна из умнейших женщин, каких мне когда-либо приходилось встречать. Совершенно обрусевшая итальянка, она свободно говорила на всех главных европейских языках, коротко была знакома со всем Киевским городским управлением и была на «ты» с самим Драгомировым, питавшим к ней дружественное уважение. Она предложила мне снять небольшую квартиру в одном из трех домов, которыми она владела в Киеве; часто заходила к нам по сидеть и поболтать запросто.

Драгомирову как-то понадобился перевод одной итальянской военной книги, и он обратился к помощи Ольги Николаевны. Не знакомая с военным делом, она, встретив в книге термин «*cannoni rigati*» * и зная, что на обычном языке «*rigato*» означает «полосатый», так и написала «полосатые пушки». Драгомиров, рассказывала Ольга Николаевна, много смеялся и сказал ей: «Сама ты полосатая».

Михаил Иванович Драгомиров как полководец и военачальник, маститый военный ученый и общественный деятель — лицо, хорошо известное. Первый год моего пребывания в Киеве был почти последним годом военной службы Драгомирова. Он построил себе хутор в Конотопе и собирался переехать туда — доживать свой век. Кроме генерала Сухомлинова (начальник штаба округа), ближайшими к Драгомирову людьми были его два сына — Владимир и Абрам, служившие вне Киева, зять — полковник Лукомский (начальник мобилизационного отделения штаба округа) и состоящий при нем для поручений полковник Ронжин — все четверо офицеры Генерального штаба. Сыновей я знал мало, особенно Абрама. Его очень хвалили Стуковенкова и Карцовы: по-видимому, он был талантливым военным.

Ронжину нельзя было отказать в уме, но, пользуясь своим видным положением, он в штабе показывался редко и никакой деятельностью по службе Генерального штаба себя не утруждал.

* «Нарезные пушки».

На хорошем счету у всех был Лукомский и как работник, и как человек твердого, независимого характера; он всегда был в корректных, но сдержанных отношениях почти со всеми, сохраняя полное сознание собственного достоинства. Командование и штабное начальство в Киеве представляли видные, известные генералы. Первое место среди них занимал Сухомлинов, начальник штаба у Драгомирова; позже он заменил его на постах командующего войсками округа и генерал-губернатора.

Сухомлинов отличался внешней представительностью, светскими манерами и редкой приветливостью. Хорошо он владел иностранными языками, особенно немецким, быстро схватывал суть дела, однако избегал труда глубоко вникать в него; жил барином, предпочитая блестящий гусарский мундир сравнительно скромной форме Генерального штаба, не скрывал своего германофильства. В его собственном генерал-губернаторском доме гостил известный прусский барон Теттау, военный атташе при нашей Маньчжурской армии в русско-японскую войну. Думаю, что Теттау извлекал много для себя полезного из бесед со словоохотливым и гостеприимным генерал-губернатором. Хорошо умел Сухомлинов ладить с городскими верхами. Ежегодно 15 июля, в день своего «тезоименитства», в окружении обширной свиты из штабных офицеров он сопровождал верхом духовную процессию из Софийского собора к историческому месту крещения киевлян.

Не удивительно, что при таких задатках Сухомлинов, назначенный начальником Генерального штаба, быстро сумел завоевать полное признание в петербургском высшем свете. На своем новом посту, а затем и на посту военного министра он так же, как и в Киеве, никакими тяжелыми умственными работами себя не утруждал, перекладывая их на соответственно подобранных помощников и сотрудников. Впрочем, в последних он нередко и ошибался, ибо руководствовался подчас не столько деловыми, сколько дипломатическими соображениями, светскими связями и знакомствами. С армией и ее потребностями Сухомлинов близко знаком не был, недостатками ее не интересовался, предоставляя всю эту будничную сторону дела другим.

Однако было бы несправедливым отрицать, что русская армия вступила в империалистическую войну под-

готовленной во многих отношениях лучше, чем когда-либо раньше. Это, разумеется, не значит, что она отвечала всем требованиям современной войны, характера которой, кстати говоря, не предугадывал ни один генеральный штаб Европы, не исключая и германский. Вряд ли Сухомлинов, обвиненный впоследствии в измене, был прямым, умышленным изменником. Но я считаю, что его легкомыслие, поверхностное отношение к делу и людям, его симпатии к нашим политическим врагам по приносимому вреду должны быть осуждены не менее, чем прямая, умышленная измена. Инкриминируемые Сухомлинову запоздание с выпуском «Положения о полевом управлении войск в военное время» (оно появилось буквально накануне объявления войны) и выпуск негодного наставления для стрельбы из японских винтовок, поступивших на вооружение уже в середине войны, связаны также с этой причиной. К несчастью, не один Сухомлинов был повинен во всем этом, как и во многом другом.

Питая к Сухомлинову личную вражду, Верховный главнокомандующий Николай Николаевич не держал его в курсе боевых действий. Это, конечно, тоже причиняло вред армии и государству, ибо Сухомлинов как военный министр нес ответственность за пополнение армии людским составом, за своевременную доставку всякого рода снабжения, за подготовку личного состава. Не был Сухомлинов в качестве военного министра достаточно гарантирован в своей деятельности и от разных интриг со стороны поливановых, гучковых и т. п.

Сухомлинов понес по справедливости суровую кару, но столь же заслуживала ее и целая плеяда лиц, одинаково с ним виновных в тягчайших преступлениях перед Родиной.

Административная деятельность Сухомлинова отмечена теми же чертами, что и военная.

Будучи генерал-губернатором Киева, он всегда отсутствовал в городе, когда там происходили какие-нибудь «беспорядки» (крупные студенческие демонстрации, противоправительственные манифестации и т. п.). О его ловкости перекладывать административную ответственность на своих заместителей много и откровенно рассказывал мне генерал Карась, замещавший Сухомлинова в дни народных демонстраций 1905 года в Киеве и в дни еврейских погромов. Да, судя по всему, Сухомлинов и не

придавал вообще большого значения мерам административного воздействия. В сентябре 1906 года Сухомлинов издал обязательное постановление, возлагавшее на киевских домовладельцев обязанность внутреннего надзора в их владениях с целью противодействия тайным сходкам, устройству конспиративных квартир, подпольных типографий, мастерских разных снарядов, складов оружия и революционной литературы. Стуковенкова в качестве домовладелицы спросила его: «Как же выполнять все это?» Сухомлинов, смеясь, пояснил: «Так, конечно, чтобы не вторгаться в домашнюю жизнь квартирантов, и в такой форме, которая исключала бы возможность возникновения каких-либо неудовольствий с их стороны». — «Тогда, Владимир Александрович, устройте для нас соответствующие курсы при охранном отделении Кулябко *», иначе мы не будем в состоянии выполнять ваше мудрое постановление», — шутя отвечала Стуковенкова.

Быстро развевывавшиеся по всей Украине политические события живо привлекали мое внимание. Активного истолкователя их я нашел в артиллерийском подполковнике Абрамовиче, жившем в одном доме с нами.

Воспитанник Киевского университета, с отличием окончивший затем Михайловское артиллерийское училище и академию, Абрамович вынес из этих учебных заведений, кроме ценных специальных знаний, давших ему ответственную должность в Киевском окружном артиллерийском управлении, горячие революционные убеждения. Благодаря первым он считался выдающимся артиллеристом, вторые же заслужили ему репутацию политически неблагонадежного офицера. Правда, все начальники, начиная с Драгомирова, закрывали на это глаза в силу авторитета Абрамовича в артиллерийском деле. Кстати, на первых же порах моего знакомства с ним он навлек на себя неудовольствие Драгомирова упорной защитой щитовой артиллерии. В этом вопросе, как показали события, Драгомиров сильно ошибался.

* Кулябко был в это время начальником жандармского охранного отделения в Киеве. Позже получил назначение комендантом Царского Села. Вспоминаю происшедший с ним интересный случай: приговоренный, как чахоточный, врачами к близкой смерти, Кулябко был вскоре тяжело ранен арестованным революционером в грудь навылет. Эта пуля спасла его: пробив большое легкое, она остановила развитие болезни.

В то время я слабо ориентировался в сложной политической обстановке внутри страны. Рост рабочего движения, массовые волнения крестьян, демонстрации учащейся молодежи и революционно настроенной интеллигенции — все это, разумеется, волновало меня, как и всякого мыслящего человека, и Абрамович подробно излагал мне свои суждения о происходящих событиях. Я любил слушать его, и он со своей стороны чувствовал ко мне расположение. Моей жене он говорил, что предпочитает меня всем другим «моментам» *.

В своих беседах со мной Абрамович возмущался царской политикой как внешней, приведшей к несчастной войне с Японией, так и внутренней, основанной на грубом угнетении, разжигании национальной розни, примером которой были громкое дело о киевском еврее Бейлисе, обвинявшемся в ритуальном убийстве христианского ребенка, и ряд еврейских погромов. С особенным возмущением говорил Абрамович о дикой эксплуатации рабочих как своими, так и иностранными капиталистами, забравшими в свои руки все главные отрасли промышленности Украины с ее богатейшими естественными ресурсами.

Под влиянием Абрамовича я сочувственно относился к противоправительственным выступлениям рабочих и студентов в Харькове и Киеве, отражавшим настроения широких слоев населения Украины. Возмущение масс быстро перерастало в открытую борьбу с самодержавием.

В июле 1903 года на Крещатике произошли столкновения демонстрантов с полицейскими, жандармскими и казачьими отрядами, бывшими в распоряжении губернатора. Многочисленные аресты, произведенные киевским охранным отделением среди рабочих, не позволили широко развернуть готовившуюся тогда политическую забастовку. Драгомиров как генерал-губернатор тоже приложил к этому руку: он, созвав совещание директоров заводов и фабрик, запретил им идти на какие-либо уступки рабочим.

Жестокие меры по подавлению выступлений киевских рабочих имели место на Еврейском базаре, куда были брошены части оренбургских казаков.

* «Моменты» — насмешливая кличка офицеров Генерального штаба, бывшая в большом ходу в широких кругах армии.

Революционизация масс вызвала заметное снижение благонадежности в войсках Киевского гарнизона. В некоторых полках приходилось создавать особые сборные команды, так как целые роты и батальоны отказывались выступить против рабочих. Это имело место почти во всех саперных частях, расположенных в городских районах Лукьяновки и Лавры. Однако в 1903 году открытых выступлений в войсках Киева не было. Сказалось лишь настроение общего революционного подъема в стране.

Следующий, 1904 год дал более мощный толчок революционному движению. На это в высокой степени повлияла русско-японская война. Грабительская по своему характеру, она велась при низком уровне военной техники в армии и вызвала громадные займы, упавшие всей своей тяжестью на плечи народных масс. Разразившийся промышленный кризис еще больше ухудшил положение рабочих, возбудил еще большую ненависть к самодержавному строю, капиталистам и помещикам. В этом году в войсках крупных гарнизонов возникли направляемые партией большевиков военные организации, происходили митинги и солдатские беспорядки.

В следующем, знаменательном 1905 году уже ясно можно было наблюдать начало перехода армии из-под власти царя на сторону народа. Первые впечатления этого я получил еще в Харькове, но по-настоящему сильно был захвачен ими в Киеве. Считаю себя обязанным особенно подчеркнуть, что отчетливым и сознательным восприятием революционных событий 1905 года я обязан именно Абрамовичу. Он старался остановить мое внимание на деятельности большевистских организаций, стремившихся к максимальному вовлечению войск для участия в революционных выступлениях, в подготовке рабочих боевых дружин и отрядов, необходимых в уличных боях с полицией и в период вооруженного восстания. Во многих полках Киевского гарнизона наблюдались волнения, имели место солдатские сходки, широко проникала в солдатскую среду нелегальная литература. Правительство принимало тщетные меры, чтобы оставить армию вне политики и в то же время использовать войска для подавления революционных волнений.

С первых дней 1905 года, особенно после трагических событий 9 января, все сильнее чувствовалось нарастание революционного подъема. В политическую борьбу посте-

пенно вовлекались и солдаты, сначала из более сознательных — саперных и вообще инженерных частей (комплектующих рабочими), а затем и из пехотных полков.

Прокламации призывали солдат к участию в народной борьбе с самодержавием. Силы революции стремились к единению и солидарности. Так, харьковские железнодорожные рабочие, например, препятствовали подвозу войск в Севастополь на подавление волнений в Черноморском флоте. К сожалению, среди офицерского состава армии революционная пропаганда велась, по моему убеждению, недостаточно. Значительная часть офицеров, оппозиционно настроенных к правительству и его политике, не была вовлечена в активную борьбу.

17 октября был обнародован царский манифест с обещанием народу гражданских свобод и объявлено о созыве Законодательной думы. Услышав об этом, я направился в штаб. Наша Анненская улица во многих местах была покрыта обломками мебели и домашней утвари. Оказалось, что ночью громили еврейские квартиры. На Крещатике, позади оживленных колонн народа, видны были два — три еврейских магазина с разбитыми окнами.

В штабе я не заметил никаких внешних перемен в заведенном порядке. Начиная с Маврина (начальника штаба), все сотрудники штаба были на своих местах, как бы подчеркивая, что творящееся на улицах — дело губернатора Саввича и штаба не касается. Около 12 часов Маврин вызвал меня в кабинет и приказал: «Сходите сейчас на Николаевскую улицу к банку (еврейскому), проверьте надежность его охраны». Исполнив это приказание, я успокоил Маврина: банк охранялся взводом полковых жандармов во главе с офицером. Сразу стало ясно: погромы организованы заранее черносотенцами, а не народом.

Верный себе, Сухомлинов снова спрятался за спину губернатора Саввича. А командование войсками сдал своему помощнику Карассю. Саввич выполнял указания Витте по подавлению восстаний, а Карассь запретил солдатские сходки, что, впрочем, не помешало революционным организациям установить тесные связи с солдатами.

К концу ноября всеобщая забастовка достигла своего наибольшего развития. Начались открытые, хотя еще и разрозненные, выступления солдат.

Из писем близких я узнал об открытом восстании в Москве, в Спасских казармах, солдат Ростовского полка при активном участии вольноопределяющихся. Восстание началось митингом солдат, избравшим для управления полком солдатский комитет и выдвинувшим требование о созыве Учредительного собрания и о раздаче земли. Меня особенно радовало, что первыми на это восстание ростовцев отозвались солдаты родного Екатеринославского полка, заявившие о своей солидарности с восставшими.

Дальнейшему успеху помешала разобщенность восстания, неуверенность и колебания части солдат, поддавшихся уговорам офицеров. Однако солдатские выступления приобретали уже такой размах, что власти не решались применять против них оружие. Солдаты всего гренадерского корпуса, а особенно 1-й гренадерской дивизии в дни стачек ушли из-под влияния офицеров, открыто выражая свое сочувствие рабочим.

Уже после подавления декабрьского восстания в Москве в Киевском гарнизоне имели место две попытки к восстанию. Предпринятые эсерами без достаточной подготовки, они не имели успеха, и Сухомлинов хвастливо сообщил царю об успешной их ликвидации.

Но русская революция не была разбита, а только временно подавлена. Великие уроки 1905 года помогли народу одержать победу в октябре 1917 года.

Важным результатом революционных событий 1905 года было и то, что они привлекали на свою сторону широкие слои в армии.

Вернусь к своей службе в Киеве.

Видную роль в общественной жизни Киева и в самом окружном штабе играл начальник его Маврин. В противоположность светски выложенному Сухомлинову Маврин отличался удивительно неуклюжей внешностью и угловатостью всех манер, что-то вроде гоголевского Собакевича. Мы его называли между собой «дикой Маврой». Но в отличие от Собакевича это был человек незаурядной душевной чуткости и редких человеческих качеств. По своему служебному призванию он был более хозяйственник и администратор, чем военачальник. Я в качестве начальника отчетного отделения, ведавшего службой офицеров Генерального штаба, часто докладывал Маврину о жизни офицеров и их нуждах. Он внимательно

Выслушивал и часто тут же отдавал распоряжения об оказании нужной помощи.

Он и его жена Вера Васильевна ежемесячно устраивали в помещении штаба большие вечера для всех офицеров Генерального штаба Киевского гарнизона.

Играли в карты: молодежь — в рамс, генералы — в преферанс; изредка танцевали под музыку военного оркестра. Вечера заканчивались ужином *à la fourchette* * без вина, но настолько обильным, что оставшиеся блюда офицеры штаба доедали на следующий день в виде утреннего завтрака.

Эти вечера, значительно способствовавшие объединению офицеров, часто посещал и Сухомлинов и изредка киевский губернатор генерал Саввич, почитавший своей главной обязанностью спланировать вокруг своей особы гражданское общество.

На рождество Маврины собственноручно устраивали в штабе большую елку для офицерских детей, привлекая к этому делу и всех нас.

Другой столь же радушной хозяйкой была жена генерал-квартирмейстера Баланина Екатерина Ивановна. Она очень любила своего сына — гимназиста Гогу, нанимала для него выдающихся репетиторов, сама готовила вместе с ним уроки, проверяя его занятия по всем предметам, не исключая и латыни. Собирая нас, молодежь, у себя главным образом для той же игры в рамс, Баланина составляла группу из нас с женой и своих двух сестер, взрослых барышень, очень некрасивых, но наделенных зато редким чувством юмора; играя с ними в карты, мы изошрялись в остроумии друг перед другом. Хохот стоял такой, что выходили из других комнат посмотреть, что могло нас так веселить. Когда в Киев приезжал из Люблина хороший знакомый Баланина генерал Брусилов, он, будучи уже командиром корпуса, всегда подсаживался к нашему карточному столику и принимал деятельное участие в нашем веселье. Здесь я близко с ним познакомился. Брусилов часто заходил в штаб, нередко беседовал со мной о военных делах.

Я искренне горевал за Е. И. Баланину, когда в 1914 году узнал о судьбе Гоги. Окончив гимназию, он был принят в специальные классы Пажеского корпуса, от-

* То есть сидя, стоя, где кто хотел.

лично кончил курс камер-пажем, сделался блестящим семеновским офицером и в первом же бою с немцами был убит.

В штабе Киевского военного округа начинал свою карьеру известный генерал Рузский. Он был принят Сухомлиновым, которому многим обязан. Я знал Рузского мало. Но помню, что молодым офицером он отличался хорошими организаторскими способностями и военными знаниями. Он был прост в обращении, но его считали большим карьеристом. В империалистическую войну он пользовался особым расположением царя, причем его прочили на должность Верховного главнокомандующего. В августе 1914 года он уже командовал в Галиции армией на Юго-Западном фронте. «Отличился» взятием Львова (оставленного австрийцами) вопреки прямому и неоднократно подтвержденному приказанию Иванова и Алексеева наступать не на Львов, а во фланг и тыл главным силам австрийцев, двигавшимся на фронт Люблин — Холм.

Однажды, приехав в Киевское военное училище, я встретил неизвестного мне офицера с очень большими усами. Он отрекомендовался только что прибывшим для прохождения стажу капитаном С. С. Каменевым и просил о назначении ко мне в отчетное отделение. Офицер мне не понравился. Я отказался содействовать его просьбе, тем более что знал о прибытии в скором времени хорошо рекомендуемого штабс-капитана Литовского полка Духонина *. Разумеется, я никак не предчувствовал, что оба кандидата ко мне в отделение — будущие главнокомандующие, один всеми вооруженными силами, а другой даже верховный. Духонин вскоре стал работать у нас в штабе.

С Каменевым же мне привелось встретиться лишь после революции в Симбирске на посту командующего армиями Восточного фронта, действовавшими против Колчака. До моего назначения в Главное управление Генерального штаба я общался с Духониным много, но ничего примечательного в его личности не уловил. Запом-

* Будущий (с сентября 1917 года) начальник штаба Верховного главнокомандующего Керенского. В ноябре объявил себя Верховным главнокомандующим и выполнял все требования иностранных представительств. 3 декабря был арестован в Могилеве за отказ подчиняться Советскому правительству. Убит солдатами.

нился только такой курьез: встретив какого-то варшавского архиерея, Духонин «оскорбил» его, не отдав установленной воинской чести. Архиерей донес об этом царю, и Духонин получил высочайшее неодобрение.

Особенно большое значение для моей жизни имела встреча в Киеве с Владимиром Роопом, которого я не видел с юности.

Спускаясь по лестнице киевской гостиницы «Интернациональ», я вдруг услышал громкий французский говор и уловил знакомый тембр голоса. Обернувшись, я сразу узнал в молодом и красивом гусарском полковнике своего товарища детства. Он разговаривал с почтенной дамой, но тотчас узнал меня и представил своей спутнице. Она оказалась графиней Браницкой, владелицей имения в Белой Церкви, где стоял гусарский полк Роопа.

Проводив графиню до экипажа, мы вернулись в рестораны гостиницы, где и просидели очень долго. Оказалось, что Рооп, окончив, как и я, Академию Генерального штаба, служил в штабе войск гвардии и Петербургского военного округа и был назначен военным агентом в Вену. Теперь же, по дошедшей очереди, он только что получил гусарский полк в Белой Церкви. Узнав, что я занимаюсь в штабе округа изучением австро-венгерской армии и веду разведку, Рооп ударил себя по лбу и воскликнул: «Вот это здорово! Хочешь, я передам тебе всех своих знакомых в Вене, которые могут быть очень тебе полезными по доставке нужных сведений?»

Мы тут же условились, что я немедленно приеду в Белую Церковь, где и получу все нужные мне инструкции, доложу обо всем Маврину и Сухомлинову. «И *дело sera lancé*» *, — сказал Рооп, не будучи в состоянии сразу освободиться от французского языка после разговора с Браницкой.

Таким на первый взгляд случайным и ничтожным было это наше начинание. Однако оно повело к важным последствиям военно-политического характера. Непосредственным же его результатом явился ряд моих командировок из Киева, позже из Петербурга в Австро-Венгрию и другие европейские страны.

Надо сказать, что дело разведки и особенно контрразведки в дореволюционной армии было поставлено из

* Пойдет.

рук вон плохо, и о сохранности военной, политической и всякой иной тайны, о настоящей бдительности не приходилось и говорить. Сверху донизу, от царской семьи и правительственных сфер до самых низов, — всюду имела полная возможность шпионам разных рангов и видов собирать любые сведения по всем областям государственной жизни царской России. Кто может хоть на минуту усомниться, что царственная супруга Николая, бывшая в постоянной переписке со своим родным братом, герцогом Гессенским, не сообщала ему для передачи Вильгельму государственные секреты нашей страны? Я уже говорил о том, что, светски словоохотливый, расположенный к немцам, Сухомлинов гостеприимно предоставлял свою квартиру прусскому барону Теттау. Вряд ли он крепко держал при этом язык за зубами. Да и сам Теттау вряд ли удерживался от злоупотребления гостеприимством для пользы своего Vaterlanda. У любого немецкого или австрийского шпиона не было необходимости взламывать сейфы с разного рода секретами, достаточно было приятного знакомства с высокопоставленным сановником или пристального наблюдения за происходящим вокруг, чтобы извлекать все нужные сведения. В любом военно-книжном магазине за несколько копеек можно было купить справочники о полном составе императорской армии (знаменитая ее «дислокация») и биографические данные о военачальниках, то есть сведения, весьма нужные для генералов гетцендорфов, людендорфов и гофманов. Можно только удивляться, как мало сумели немецкие и австрийские генералы использовать все эти условия для своих военных успехов!

В наши пограничные округа — Киевский, Варшавский и Виленский — на финансирование разведки отпускались ничтожные суммы — 30—35 тысяч рублей в год! Не знаю, какими суммами располагало разведывательное отделение Главного управления Генерального штаба, но в мою бытность в последнем из него не поступало ни мне, ни Скалону, сидевшим над обработкой сведений по австро-венгерской и германской армиям, почти никаких данных для такой обработки. Мы их имели либо из соответствующих округов, либо от наших военных агентов*.

* Полковник Занкевич — в Вене, Базаров — в Берлине, Потоцкий — в Брюсселе (Копенгагене).

А ведь надо было не только хорошо оплачивать негласных агентов, рисковавших головой за доставляемые ими сведения, но и подготовить сеть этих агентов на случай войны и соответственно обучить их.

При этих условиях нам в штабах округов приходилось прибегать к помощи пограничных жандармских офицеров, в свою очередь вербовавших мелких агентов из местного населения и плативших им попустительством за разные проделки на границе. Ясно, как ничтожна была ценность получаемых таким путем сведений. Занимаясь столь неблагодарным делом разведки в штабе Киевского военного округа, я держал связь с полковником Батюшиным, ведавшим разведкой в штабе Варшавского округа. Там дело обстояло ничуть не лучше, чем у нас.

Понятно, что при таких обстоятельствах нельзя было не воспользоваться предложением Роопа, хотя сам же он предупреждал, что контрразведка у австрийцев поставлена хорошо и что устанавливать связь с его «знакомыми» — дело опасное. Предстояло ехать в Вену и там договариваться как о порядке будущих сношений, так и о содержании «товара», требуемого и предлагаемого, а также и об оплате его.

Однако выбора не было.

Я доложил все дело Маврину, он — Сухомлинову. Последний хорошо знал отца Владимира Роопа, да и его самого, и пожелал выслушать меня лично. Сухомлинов проявил большой интерес к нашему предложению, но предупредил меня, что весь риск я должен взять на себя. Затем я съездил в Белую Церковь и получил от Роопа самые подробные и обстоятельные указания и советы, как вести себя с первого же шага после переезда границы. Рооп сомневался, чтоб основной его знакомый (некто «Р»), занимавший ответственную должность в австрийском генеральном штабе, согласится повидаться со мной лично, но был уверен, что он поручит это дело надежному лицу.

Предусмотрительность Роопа, а также его удивительное знакомство со всей венской жизнью изумили меня: я никак не ожидал найти именно во Владимире Роопе такого опытного человека в подобных делах.

Этим закончилась первая половина моей службы в штабе Киевского военного округа, внешне спокойная, соединенная с безвыездным пребыванием на месте.

В 1904 году я был произведен в первый штаб-офицерский чин. Тогда же появился у нас первый ребенок — дочь Нина.

Вторая половина моей службы в Киеве в отличие от первой была очень подвижной, очень нервной, но тем не менее чрезвычайно приятной. Она оставила у меня живые, нередко сильные впечатления и воспоминания.

Для второго периода характерны ежегодные поездки за границу, почти во все главные западноевропейские страны. Целью этих поездок были как непрерывно развивавшиеся сношения с венскими «знакомыми» Роопа (из осторожности избегавшими часто встречаться на территории Австро-Венгрии), так и ознакомление с вероятными театрами военных действий, с устройством, оснащением, боевой подготовкой армий наших будущих союзников и, главное, наших вероятных противников.

Большое место в моей службе занимали и частые встречи с приезжавшими в Киевский округ офицерами дружественных России стран. Их приходилось встречать и сопровождать, с официальной целью показывать то, что им хотелось видеть, а с неофициальной — отвлекать от того, что нам не хотелось показывать. Приятной стороной этих обязанностей было то, что наши «дружественные» услуги сопровождались присылкой от соответствующих правительств иностранных орденов.

Должен признаться, что организовать сношения с венскими «знакомыми» мне помог занятый случай, о котором стоит коротко рассказать.

Вскоре после встречи с Роопом, просматривая шульгинский «Киевлянин», я встретил объявление: «Молодая немка, окончившая венскую консерваторию, дает уроки музыки, немецкого и итальянского языков».

Понятно, что эта публикация заинтересовала меня и с точки зрения моих служебных обязанностей. Зайдя по объявлению под предлогом получить практику в языках, я встретил совсем молоденькую немочку с очень миленьким личиком, большими серыми глазами и с такой растрепанной куафюрой, которую могли носить, по моим понятиям, только папуаски. «Папуаска» объяснила мне, что недавно приехала в Киев, чтобы устроиться в нем и перевести сюда свою мать из Кимполунга (Буковина), что не знает ни слова по-русски и не имеет в Киеве никаких знакомых. Мы сговорились об условиях, и я на-

чал практиковаться в языках, причем из предосторожности навел о новой знакомой справки не только по Киеву, но даже по Кимполунгу через жандармское пограничное отделение в Новоселице. Из уважения к своей учительнице я устроил ей два раза свободный проезд через границу и дешевый проезд по железной дороге. За это я попросил только опустить мои письма в Вену на кимполунгской почте. Условия для моего почтальона были очень выгодными, и он выполнял поручения хорошо и ловко, что мне подтверждали из Вены. Занятия по языкам шли своим чередом, но моя учительница не очень понимала, зачем они мне понадобились: она сама могла бы скорее брать у меня уроки по немецкому языку, так очевиден был мой перевес в знании немецкой грамматики.

Переезды «папуаски» через границу были очень часты, с поручениями в обе стороны. Сначала я очень мучился угрызениями совести за то, что подвергал ее большой опасности, но успокоился, когда убедился в ее ловкости и осторожности и когда она мне объяснила, что отлично понимает в чем дело и сознает всю опасность, которой подвергалась, но делает это сознательно, из любви... к Киеву.

В последний раз я виделся с «папуаской» во время империалистической войны, когда ездил в Бухарест по поручению Верховного главнокомандующего. Я уже знал, что перед войной она уехала из Киева обратно в свой Кимполунг. Этим свиданием и закончилась моя случайная встреча с «папуаской».

Заграничные командировки носили двоякий характер: одни вызывались официальными приглашениями соседних правительств (главным образом во Францию) на условиях взаимности, другие были негласными, с военнополитическими заданиями, даже по чужим паспортам. В случае обнаружения подлога негласные командировки грозили, конечно, большими неприятностями не только для меня лично, но и для наших министерств — военного и иностранных дел. Успех здесь зависел от моей осторожности, предусмотрительности, ловкости. Обычно вымышленным предлогом для таких поездок было ознакомление с историческими памятниками, достопримечательностями городов и т. п.

Исходными данными для поездок служили газетные известия или сообщения наших военных агентов о пред-

стоящих маневрах или необходимость проверки тех данных, которые по нашим заданиям поступали от венских «знакомых». Эти задания касались не только самой Австро-Венгрии, но и Италии, Франции и даже Англии как стран, в которых австро-венгерский генеральный штаб видел врагов или союзников, или стран, склонных сохранять нейтралитет в случае войны.

Говорить подробно об этих моих поездках, касающихся вопросов преимущественно военно-технического, сугубо специального характера, мне представляется нецелесообразным, к тому же полученные тогда сведения, главным образом по Австро-Венгрии и Германии, вошли в официальные издания Главного управления Генерального штаба, несомненно сохраняющиеся и ныне в библиотеке имени В. И. Ленина *.

С другой стороны, я считаю полезным ознакомить читателя с общими впечатлениями, вынесенными мной из посещения различных европейских стран.

Предлогом для моего посещения Германии была поездка в качестве туриста по Рейну. Конечно, меня интересовали и места, связанные с событиями франко-прусской войны 1870—1871 годов, начиная с Эмса и горы Бисмарка, где Вильгельм принял решение объявить Франции войну. Побывал я и в Гейдельберге (где некоторое время жил мой отец) и во Франкфурте в доме Гете. К Берлину я никакой симпатии не питал и в нем останавливался лишь проездом.

В Вене, как и вообще в Австро-Венгрии, где все было мне уже хорошо знакомо, ничто не пленяло моего сердца, и я старался, выполнив, что нужно, поскорее оттуда выбраться.

Особенно напряженной была моя первая поездка в Вену для встречи с местными «знакомыми» Роопа. Я чувствовал, что нахожусь в раскрытой пасти льва и достаточно моей малейшей неловкости, чтобы эта пасть сомкнулась. Мне не давало покоя воспоминание о судьбе нашего артиллерийского капитана Костевича, заподозренного (не

* Такими моими трудами по Австро-Венгрии были:

а) Военно-статистическое описание Западно-Галицийского района (изд. в 1912 году);

б) Военно-статистическое описание Восточно-Галицийского района (изд. в 1913 году);

в) Вооруженные силы Австро-Венгрии (изд. в 1912 году).

знаю, насколько основательно) немцами в излишней любознательности в отношении взрывателей к снарядам. Его арестовали в Берлине и должны были предать военному суду. Сколько трудов и хлопот стоило министерству иностранных дел выволить Костевича! А я ведь рисковал быть обвиненным в значительно большем, да еще *flagrante delicto* *. С признательностью вспомнил я во время первого посещения Вены дальновидные, проницательные наставления Роопа. Они оченьгодились мне после свидания с моими новыми знакомыми, когда я старался, не привлекая к себе чьего-либо внимания, пробраться через кофейные на *Mariahilferstrasse* ** в кофейные на *Kärtnerstrasse* **, а с нее на *Westbahnhof* ***.

С каким облегчением покинул я тогда пределы Австро-Венгрии, чтобы первый раз в жизни направиться в столицу мира — в дружественный Париж! Конечно, ни о каких кутежах я не помышлял: они не в моем характере. Но посмотреть на этот город, его жизнь, его нравы представлялось мне очень заманчивым. В особенности сладостным было в Париже чувство полной безопасности, сознание, что тебя никто не преследует, не выслеживает.

Заняв номер в отеле на улице Риволи и наспех приведя в порядок себя и свой тирольский костюм, я направился в первую очередь на Большие бульвары. Было около пяти часов дня, самый разгар дневной сутолоки на бульварах. Все четырехкилометровое протяжение их, от Капуцинских бульваров через Итальянские и до Монмартра, я буквально пробежал, насколько это допускала людская толпа. У Бастилии я сел на империал омнибуса и доехал до аристократической церкви Мадлен, жадно хватая по пути все зрительные впечатления.

Затем, привлеченный ярко освещенным зданием *Bal Tabarin* ****, я купил дорогой входной билет и, поднявшись по роскошной лестнице наверх, был встречен громким смехом многочисленных лакеев. Оказалось, что в моем тирольском костюме (только что купленном в Вене) нельзя показываться в зале, куда входили лишь в изящ-

* С поличным на месте преступления.

** Улицы в Вене.

*** Венский вокзал.

**** Названное в честь известного артиста *Tabarin*.

нейших фраках, белоснежных жилетах, перчатках и лакированных ботинках.

Так осекшись, я уже с большей осторожностью вошел в «Moulin Rouge» * с его вертящимися освещенными электричеством крыльями. Но тут порядки были другие: ходи свободно по всем залам, плати только по франку ехга за доступ в каждый зал. Это было недорого и для меня, и я решил обойти их по очереди. В первом зале с вывеской Salon-Nu на несколько приподнятой над полом площадке находилась совершенно обнаженная французка брюнетка, спокойно занимавшаяся всем, чем занимается женщина в домашней обстановке, нисколько не обращая внимания на толпившуюся вокруг площадки публику. Впрочем, к этому располагали вывешенные надписи: «Просят пальцами не трогать под страхом штрафа». Вероятно, поэтому публика хотя и смеялась, шутила и острила, но вела себя сдержанно. Неужели, думал я, французы так погрязли в меркантилизме, что боязнь штрафа заставляет их сдерживать свой характер? Кругом на столиках были разложены карточки и даже альбомы с изображением au naturel ** разных парижских дев.

Не находя ничего занятного в объективном созерцании анатомического строения женского тела, я купил все же один из альбомов и пошел в следующие залы с надписями «Enfer» («Ад») и «Paradis» («Рай»).

Тут обстановка была несколько иная.

«Enfer» был набит публикой вплотную (как и следовало ожидать по его назначению), причем атмосфера была жаркая и в прямом и в переносном смысле. Между публикой и местными хозяевами в костюмах, соответствующих атмосфере, но с рожками и хвостиками, царило живое общение. Никаких предостерегающих надписей о штрафе не было, и этим публика пользовалась вовсю.

Одинаковую картину нашел я и в «Paradis», но в отличие от «Enfer» хозяева были с крылышками, а одеты в фиговые листочки, так как и температура была более умеренная, да и публики поменьше, хотя привратник с большим ключом пускал всех без особого разбора, лишь бы платили свой франк. Говоря правдиво, я не очень

* Увеселительное заведение «Красная мельница».

** Обнаженных.

задерживался в этих залах, так как в голове назойливо вертелись слова Шиллера:

«Ehret die Frauen—sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben»*.

Как расходились эти слова с нравами Парижа, где женщина вынуждалась торговать своим телом, чтобы не умереть с голоду!

Поднявшись наверх, откуда неслись веселые звуки музыки, я попал в огромный зал, посреди которого много женских пар танцевали кадрили, разнообразившуюся такими фигурами, которых в обиходе наших обыкновенных кадрили мне не приходилось видеть. Кругом стояли и сидели зрители, обмениваясь веселыми шутками. Мне говорили, что эти женские пары специально для таких танцев посылались от знаменитых модных магазинов и фирм с целью рекламирования образцов женского нарядного белья. Судя по фигурам кадрили, это было верно.

Из «Moulin Rouge» я вышел на свежий воздух с чувством большого облегчения и с полным разочарованием в отношении французского представления об изящном. Мое настроение еще более понизилось на следующий день, когда я бегло ознакомился с приманками Клиши и Монмартра — буржуазных кварталов Парижа. Эти парижские впечатления пробудили во мне смутные воспоминания о Лемерсье и его вольном обращении со своими соотечественницами, вывезенными из этого города в далекую Москву. Все виденное представилось мне полным оскорбительного неуважения к женщинам. Я перестал интересоваться жизнью Больших бульваров и перенес свое внимание на ознакомление с городом, его собором Парижской богородицы, Лувром, Версальским дворцом, Пантеоном, его окрестностями, многочисленными музеями и библиотеками.

— Вслед за посещением аристократических кварталов я отправился в противоположную часть города — в Сент-Антуанское предместье, населенное рабочим людом. Первый обыватель, к которому я обратился у Венсенского вокзала с вопросом, как далеко до этого предместья, оказался рабочим. Мы пошли вместе. Дорогой он рассказал мне историю возникновения предместья, а когда мы по-

* «Уважайте женщин, которые украшают нашу земную жизнь, вплетая в нее небесные розы».

дошли к небольшому ресторанчику, я пригласил своего собеседника закусить и выпить стакан кофе. «Вот это хорошо, — охотно согласился он, — а то я уже чувствовал потребность *Tuer le ver et chasser le brouillard*» *. Он с большой охотой выпил предложенный мной стаканчик водки, пожалев, что я лишаю себя удовольствия составить ему компанию. Мы просидели за столиком около часа, причем много потешались над объявлением, вывешенным на стене в рамке и содержавшим правила «хорошего тона». Одно из этих правил гласило: «Не обременяй желудок едой».

Мой собеседник не преминул заметить, что жителям Сент-Антуанского предместья выполнять это правило, к сожалению, приходится поневоле.

Заговорив на тему о питании, он посоветовал мне обязательно ознакомиться с Halles centrales (огромный крытый рынок Парижа, прозванный Золя *ventre de Paris* **), чтобы посмотреть, сколько Париж потребляет хороших продуктов, на которые обитателям Сент-Антуанского предместья приходится любоваться лишь издали.

При прощании он с несомненной искренностью выразил мне симпатии, которые, как он сказал, французский народ постоянно питает к русским, добавив, что он также не против немецкого народа, а ненавидит только немецкое государство и во всяком случае симпатизирует немцам больше, чем англичанам.

Когда я потом побывал в Halles centrales, он поразил меня своими грандиозными размерами. Это двенадцать огромных зданий, по 250 лавок каждое, с колоссальным количеством съестных припасов всякого рода. Под ними на глубине четырех метров — громадные погреба, наполняемые за ночь продуктами, подвозимыми на тысячах повозок. Полиция вела неослабный и строжайший надзор за доброкачественностью всех товаров. Основными покупателями являлись хозяйки среднего сословия. Ведение домашнего хозяйства составляло главную заботу французской женщины этой категории. Простая француженка обычно не только отличная хозяйка, но и деятельная, инициативная помощница мужу во всех его делах и заботливая мать своих детей.

* Заморить червячка.

** Чрево Парижа.

Нельзя не отметить, что трудящимся женщинам во Франции приходилось владеть жалкую жизнь, так как их труд (кроме искусниц, работающих в фешенебельных дамских ателье и модных магазинах) оплачивался крайне низко, зачастую всего 30—40 су в день, при работе с рассвета до темноты. Обычная же государственная женская служба была ограничена железнодорожными кассами, почтой и госпиталями.

Вообще, говоря о Париже, нельзя смешивать развращенного Парижа буржуазии с Парижем 1848 года, священным городом первой великой гражданской войны между пролетариатом и буржуазией, с городом рабочих Сент-Антуанского предместья, с городом великой Коммуны, предвестницы нового, социалистического общественного строя.

На парижских улицах офицеры встречались реже, чем на берлинских и венских, и они отнюдь не имели того надменного вида, который так характерен для немецких, а особенно прусских офицеров. Я объясняю это и удаленностью казарм от оживленных кварталов города и скромным содержанием, которое получала основная офицерская масса. Из 190—200 франков в месяц за вычетом необходимых расходов едва оставалось десятков — другой франков на удовлетворение, может быть, и легкомысленных, но все же вполне понятных для молодых лет соблазнов столичной жизни.

* * *

Ко времени моих поездок в Англию и Италию там уже появилась авиация, а с ней усилился и интерес к этим странам, к их промышленности и достижениям в области воздухоплавания.

Мое посещение Англии в августе 1908 года было сравнительно коротким — всего около двух недель. Я очень опасался переезда через Ламанш, от Кале до Дувра, ввиду своей крайней подверженности морской болезни. Однако страхи оказались малоосновательными, тем более что я прибегнул к ряду предупредительных мер, и в том числе к не менее опасному для меня стакану вина за обедом на пароходе. Я взял билет первого класса в каюту, расположенную за дымовой трубой, — место, как мне говорили, менее всего подверженное качке. Из Дувра я по железной дороге направился в Лондон. Там,

избегая дороговизны первоклассных отелей (а от второразрядных предостерегал меня еще Мак-Клиланд), я нашел комнату в одном из boarding houses на Oxford street *. Хозяйка этого небольшого, но удобного приюта, бывавшая, как оказалось, в России, приняла меня очень приветливо, но смогла предложить свободную комнату лишь на четвертом этаже.

На вопрос хозяйки, какие цели привели меня в Англию, я сообщил, что, будучи по образованию историком, пишу исследование о Марии Стюарт и должен сверить разноречивые исторические и литературные сведения о ней, что меня интересует также история «*Magna chartae libertatum*» **, сделавшей, по словам Шиллера, английских королей гражданами, а граждан — князьями; и история «священного дуба», укрывшего от политических врагов короля Иакова II Стюарта; и история шотландской деревушки Грет-на-Грине, куда до половины XIX века съезжались все влюбленные, стремившиеся пожениться без особых церемоний, не имея даже нужных документов, причем венчал их простой кузнец.

Столь разнообразная моя любознательность возымела на хозяйку свое действие, и она в свою очередь сообщила, что я найду у нее в доме gentle folk ***, общение с которым будет для меня полезно и приятно. Познакомиться с этим обществом мне пришлось в тот же день перед обедом. Мне был представлен торговец (merchant) из Гримсби ****, приехавший в Лондон по делу продажи своего рыбного товара; провинциальный священник (priester) с дочкой, готовившейся к экзамену при Оксфордском университете на звание учительницы; молодая чета, ожидавшая окончания ремонта своего семейного гнезда, и офицер из Альдершотского гарнизона, проводивший в Лондоне свой отпуск. Кроме них, я увидел за столом еще двух подростков — мальчика и девочку, сидевших скромно и тихо. Это были дети самой хозяйки, воспитанные в английском духе, то есть в режиме большой самостоятельности и глубокого уважения к старшим. Места за столом были установлены в порядке занимаемого нами обще-

* Меблированные комнаты со столом на Оксфорд-стрит.

** «Великой хартии вольностей».

*** Изысканное общество.

**** Город на восточном побережье Англии, известный рыболовными промыслами.

ственного положения, причем почетные места по обе стороны хозяйки заняли негодичант и священник; рядом со священником и его дочкой было указано сидеть мне; офицера посадили между невестой и женихом (bride and bridegroom); с краю чинно сидели дети. За обедом соблюдался порядок, принятый, как уверяла хозяйка, в лучших домах Лондона. Все блюда приносились и ставились на стол, а распределение кушаний между обедающими лежало на обязанности самой хозяйки.

После обеда, тоже по установившемуся порядку, дамы ушли в гостиную (sitting room), а мы остались сидеть за столом и разговаривать, а затем также присоединились к дамам.

С первого же дня я постарался выполнить совет хозяйки — завоевать расположение к себе всего маленького общества. Невесте преподнес купленный на улице букет цветов. Дочку священника, миловидную блондинку, привлек на свою сторону признанием, что в ней я увидел воплощение образа молодой английской женщины, который возник у меня при чтении английских романов.

Сам priestер, вероятно, почувствовал ко мне расположение после того, как я внимательно и почтительно выслушал the ten commandments of Moses (10 Моисеевых заповедей), уложенных, к моему удивлению, всего лишь в 10 рифмованных строчек.

Мое желание сойтись с офицером облегчил он сам, предложив показать мне огромный магазин Офицерского потребительского общества, расположенный по соседству со зданием Парламента. Этот магазин типа наших нынешних универмагов, имевший целью обеспечивать своих членов — офицеров товарами по сниженным ценам, действительно производил внушительное впечатление.

Особенно полезного собеседника я нашел в негодичанте. Он, охотно удовлетворяя мои расспросы, снабдил меня запасом всяких сведений: географических, статистических и даже геофизических. Они относились главным образом к восточному побережью Англии и впоследствии оченьгодились мне при составлении аэрологического описания Британских островов.

Наше сближение с ним началось с того, что он много смеялся над моим неумением отличать бифштекс от ростбифа, а также над моим равнодушием к разной степени поджаренности мяса и к роду сопровождающих эти

кушанья соусов. Это, по его выражению, не достаточно gentlemanlike * для Англии. С другой стороны, он сам совершенно равнодушно относился к моему тиролюскому костюму, в котором на улицах я явно foreign looking **.

Через несколько дней пребывания в boarding house я полностью оценил его преимущества перед отелями.

Boarding house находился вблизи всех жизненных центров города — вокзалов главных железных дорог, омнибусных линий, почты, Британского музея. К моему удивлению, этаж, в котором была моя комната, обслуживался немкой, приехавшей из Германии. Разговаривая с ней, я узнал, что в Лондоне было много немцев разных профессий и положений. Своим местом она была довольна вполне и считала, что таких условий работы не могла бы иметь в Германии.

Обычный распорядок дня в boarding house, установившийся по общему согласию, был тот же, что и в большинстве лондонских домов среднего сословия: завтрак — в 9 часов, обед — в середине дня, вечером — легкий ужин.

Большое внимание я уделял и ознакомлению с жизнью Лондона. Первое, что испытываешь, попав впервые на лондонские улицы, — это ощущение чего-то совершенно нового, особого, именно английского. В других городах Западной Европы все как-то нивелировалось, приобрело общий интернациональный характер. В Лондоне же все подчеркнуто английское. И образ жизни, и все предметы, и все люди без различия, к какому бы классу они ни принадлежали: представители высшего общества, офицеры, духовенство, торгошники, кучера, уличные мальчишки — все имело свой особый отпечаток.

Бросалось в глаза, например, множество торговцев устрицами. Устрицы, как сезонный товар, служили в это время года не лакомством для богатых, а серьезным продуктом питания (с перцем и уксусом) даже для рабочего люда.

На улицах я видел особого вида экипажи, которыми правили женщины, очевидно владелицы этих экипажей. На мой взгляд, английские женщины заметно отличаются от немок и особенно француженок: все с хорошим

* По-джентльменски.

** Выглядел иностранцем.

цветом лица и с чертами, более правильными, чем у женщин континента. В их манере держаться чувствуются твердый характер, привычка к большой самостоятельности, совсем не отвечающие обычному понятию «слабого пола». Обращала на себя внимание и общая предупредительность по отношению к женщинам и пожилым людям.

На улицах редко встретишь офицера, очевидно, они предпочитают появляться в штатской одежде. Военная профессия не в почете у населения. Нередки взгляды на офицеров, как на людей, лишенных порядочности (джентльменства). Со своей стороны офицеры не пренебрегают заниматься торговлей, как почетной профессией. Впоследствии, во время интервенции, я наблюдал эту склонность у английских офицеров в Архангельске.

На окраинах города царил нищета, выделявшаяся особенно резко по сравнению с роскошными зданиями в центре и в фешенебельных частях города и богатыми особняками среднего сословия, населяющего предместья.

По вечерам Лондон роскошно освещался и обильно украшался всевозможными электрическими рекламами.

Ровно в 12 часов ночи, а в воскресенье даже в 11 часов («полицейский час») все рекламы гасли, оживление прекращалось, жизнь города замирала.

Уличные ресторанчики, носящие название public houses *, и кофейни были чрезвычайно распространены. Назначение и устройство их было то же, что и в Париже. Худшая категория их, род таверн, схожи с парижскими кафе-шантанами и кабаре.

Своеобразное впечатление производил лондонский Гайд-парк, самый большой парк в центре города, окруженный со всех сторон каменными громадами домов. Он резко изменял свой вид не только по дням, но даже по часам. К полудню его дорожки заполнялись густыми толпами пешеходов, всадниками и экипажами всех видов; публика, заполнявшая парк от 12 до 2 часов, принадлежала к богатым и зажиточным сословиям города. По воскресеньям Гайд-парк служил местом гуляний рабочих, прислуги, матросов и разного рода мелких торговцев. Для них в Гайд-парке устраивались концерты и эстрады.

* Публичные дома — название, очень распространенное и в дореволюционной России, но имевшее совсем другое значение.

Рядом со множеством всякого рода ресторанов в Лондоне широко проповедовалось для народа воздержание в еде и в употреблении спиртных напитков. С этой целью содержались особые Temperance Hotels *, различные диетические рестораны, создано было целое сословие abstainers **, существовали обширные организации, посвящавшие свою деятельность проповеди воздержания.

Чтобы расширить свои представления о духовной жизни англичан, я, кроме Лондона, побывал в знаменитых университетских центрах — Оксфорде и Кембридже. К сожалению, я приехал в Англию уже по окончании ежегодного празднования Оксфордским университетом годовщины своего основания (наподобие празднования в дореволюционное время Московским университетом Татьянина дня). Эти торжества сопровождались обычно не только публичными лекциями, научными докладами, речами, но и балами, концертами, парадами и студенческими регатами, то есть разнообразными состязаниями и упражнениями на Темзе, продолжавшимися несколько дней. Некоторые понятия о регатах я составил, наблюдая в самом Лондоне после обеда в субботу и с утра в воскресенье, как вся Темза покрывалась бесчисленным множеством самых разнообразных лодок.

Вместе с офицером из boarding house мы после осмотра магазина Офицерского потребительского общества посетили Вестминстерское аббатство и могилу Ньютона, на которой я видел надпись по-латыни: «Sibi congratulentur mortales tale tantumque exstigisse humani generis decus»***.

Пристально интересуясь всесторонним развитием своего компаньона-офицера, я затронул однажды и вопрос о его, по-видимому, крепком физическом здоровье. Я сказал при этом, что немцы недостаточное физическое воспитание английской молодежи приписывают географической оторванности их страны от континента, обусловившей скорее торгово-индустриальное развитие народа, чем военно-физическое, господствовавшее на континенте с

* Отели воздержания.

** Члены общества воздержания.

*** «Пусть гордятся смертные люди, что существовало такое украшение человеческого рода».

его непрерывными войнами. Самодовольно смеясь, офицер ответил, что это было, но прошло. Опыт Крымской войны, а особенно недавней южно-африканской, уже побуждал английское правительство резко изменить такое положение. «Как раз, — сообщил он, — в прошлом, 1907 году, по примеру Германии, приняты меры по усилению школьной медицины», а заботы по физкультурному развитию страны, особенно в школах гражданских и военных, принятые с 1899 года, уже дали большие положительные результаты.

В течение двух недель, проведенных мной в Англии, я, конечно, лишь весьма поверхностно мог выполнить поставленную себе задачу. Надо сказать, что с посещением Англии связана моя последующая работа по составлению аэрологического обзора Британских островов. Известно, что с появлением авиации изучение климатических особенностей различных стран приобрело весьма существенное значение.

* * *

Поездке моей в Италию благоприятствовал ряд обстоятельств. Прежде всего порядочное знакомство с историей и географией страны, полученное еще в гимназические годы, и основательное знание языка. Кроме того, я был близко знаком с несколькими офицерами итальянской армии, неоднократно приезжавшими в Киев, Москву и Петербург. В особенности полезным для меня явилось содействие капитана Марсенго в Турине (позже он был официальным представителем в Ставке Верховного главнокомандующего) и поручика Пентималли в Неаполе. Они снабдили меня необходимыми сведениями, а также рекомендательными письмами к своим приятелям в некоторых городах Италии.

Марсенго рекомендовал меня в письмах как *Comandatore della croce della corona d'Italia*, то есть командора ордена итальянской короны, который я получил в Киеве по протекции самого же Марсенго. Этот орден давался лишь начальникам управлений военного министерства, директорам учреждений, профессорам и вообще старшим чиновникам.

Своего другого итальянского приятеля, поручика Пентималли, я скоро потерял из виду. Лишь совсем недавно

(кажется, в 1954 году) я прочитал в газетном сообщении из Рима об аресте там и заключении в тюрьму командира корпуса генерала Пентималли. Из сообщения я не мог понять, за какое преступление подвергся такой каре бедный Пентималли. Дальнейшая судьба милого и веселого балагура Марсенго мне неизвестна.

* * *

К сожалению, поездка в Италию была так же кратковременна, как и поездка в Англию, и это не могло не отразиться на ее результатах. Главные впечатления, о которых пойдет речь, вынесены мной из посещения городов Турина, Милана, Рима и Неаполя.

С областью Альп, отделяющих Италию от Австрии и Франции, я уже был ознакомлен: мне приходилось бывать в Австрии и Франции на маневрах в приграничных горных районах. Поэтому из Венеции, не задерживаясь, я проехал прямо через Милан в Турин, куда имел письмо к приятелю Марсенго. Благодаря этому письму мне удалось видеть учение батальона знаменитых альпийских стрелков (alpini). Альпийские стрелки несли охранную службу в пограничных горных проходах, ведущих во Францию, Швейцарию и Австрию. В отличие от других войск они комплектовались по территориальной системе и находились в своих родных районах. Первые подразделения альпийских стрелков были созданы по образцу австрийских егерей. Началом их самостоятельной организации считается 1872 год, когда им была присвоена и особая форма одежды. Остальная масса регулярной армии, кроме горной и береговой артиллерии, состояла из двенадцати двухдивизионных корпусов, расположенных главной массой, в соответствии с местностью и мобилизационными соображениями, в районах Милана, Генуи, Вероны, Флоренции, а также Рима и Неаполя; в их состав входили корпусные части артиллерии, кавалерии и берсальеров. Один из корпусов был дислоцирован на острове Сардиния.

Самостоятельная конница состояла из трех кавалерийских дивизий. Среди пехотных полков было два полка гренадер, пополнявшихся людьми, отобранными со всей страны. Эти полки, игравшие роль гвардии, имели привилегией выделять по очереди один батальон на временную стоянку в Рим.

Среди родов войск особым уважением у населения пользовалась, по словам Марсенго, кавалерия. Впрочем, сам он был кавалерист и хвастался, что имеет 20 различных повреждений от падения с лошади.

Как пехота, так и кавалерия были одеты в простую, удобную и довольно изящную форму. Различие частей обозначалось лишь номерами на кепи и воротниках.

Офицеры по социальному происхождению делились на два разряда: около трети их состояло из выслужившихся унтер-офицеров, остальные были выходцами из привилегированных и состоятельных классов, прошедшими военные училища. Необходимыми чертами офицерского состава считались: преданность правительству и своей профессии, выдержанность и такт. Офицеры жили в дружбе между собой и пользовались симпатиями населения.

С особенно большим уважением итальянцы относились к берсальерам, составлявшим двенадцать полков (по числу корпусов). По своей организации они отличались от других родов пехоты, резко выделяясь натренированностью в ходьбе. Они могли развивать беглый шаг, делая 140 шагов * в минуту, и выдерживали этот темп на протяжении целых часов без заметной усталости. Я был свидетелем того, как они в обычных условиях проходили по 40 километров за 8 часов. В этом отношении берсальеры принадлежали к отборным частям.

Особый род военной, или, точнее, военно-полицейской службы лежал на так называвшихся карабинерах. Наряду с наблюдением за общественной безопасностью в качестве местной полиции карабинеры выполняли и военные обязанности, сообразно чему подчинялись и министерству внутренних дел и военному командованию. Из их рядов выделялась и особая королевская охрана. Карабинерам была присвоена своеобразная форма одежды с эполетами и аксельбантами, причем последние имели также назначение связывать руки арестованным лицам. В карабинеры подбирались красивые и статные люди. Ходили они попарно по дорогам, по оживленным местам; находились на железнодорожных станциях и пристанях как представители государственной власти. Они отличались вежливостью и охотно давали тем, кто к ним обращался, разного рода указания и советы. Вообще веж-

* Шаг в 34 дюйма.

ливість — отличительная черта итальянца, выказываемая им повсюду: в домах, в общественных местах, на улицах. К этому надо присоединить веселый нрав, чем итальянцы не упускают похвалиться, ссылаясь на пословицы: «Uomo allegro il ciel l'aiuta» * или Chi ride leva i chiodi dalla bara **. Обращают на себя внимание приветливый вид и жизнерадостность населения (чему немало способствует природа и климат), прирожденная грация и физическая стройность итальянцев. Рядовой итальянец вынослив, нетребователен к пище, привычен к скромному образу жизни, стоек в борьбе с бедностью — этим обычным делом рабочего класса и крестьянства в буржуазных странах.

Нельзя было, разумеется, не заметить огромной, бросающейся в глаза разницы между имущими классами и беднотой. Это всюду в тех крупных городах, которые мне пришлось посетить, как в центре их, так и на окраинах.

Нищенство, формально запрещенное законом, процветало на улицах итальянских городов, существуя, как и во всех городах Европы, под видом певцов, продавцов цветов и всякой мелочи.

В Неаполе я увидел это собственными глазами. На окраинах города четыре пятых населения жили в помещениях худших, чем собачьи конуры; целые семьи валялись на охапках гнилой соломы все вместе, без различия пола и возраста, вокруг дворов, наполненных грязью и разными нечистотами. А значительная часть бедноты (lazzaroni) была совсем бездомной. Чтобы просуществовать, неаполитанский бедняк должен был трудиться с утра до ночи, так как к этому принуждали налоги. Столь низкой заработной платы, как в Италии, не знала, кажется, ни одна страна в Западной Европе. И это была судьба сотен тысяч несчастных, разнообразившаяся безработицами, штрафами, вычетами. Наряду с этим неаполитанцы слыли лентяями, преданными сладкому безделью, а город пользовался (это нашло отражение даже у Гете и Шекспира) славой самого развращенного города в Европе! Солнце было единственное существо в Неаполе, ко-

* «Веселому помогает бог».

** «Смехом можно вытаскивать гвозди из гроба».

торое несло заботы по оказанию беднякам благотворительный и обязанности врача-санитара по защите их от эпидемий. Только оно непрерывно, во все времена года, придавало нищете ту жизнерадостность и даже веселость, без которой немислимо было бы выносить столь тяжкую долю. Только солнце да еще, пожалуй, море с его полутысячей разных видов рыб давали возможность самому населению не умереть с голоду и выносить ужас своего существования. Естественно, что Неаполь тому, кто его не знал, представлялся городом, не имевшим ни единого печального лица, вечно беззаботным и праздничным. «Vedere Napoli e poi morire» *.

Удивительно ли, что именно в Италии издавна уже началось рабочее движение, а идеи социализма приобрели популярность в народных массах.

Бедность, неунывающую и жизнерадостную, наблюдал я и на узких и грязных улочках неаполитанских окраин. Здесь прямо на улицах варили, пекли, мылись и чистились люди. Я ощущал эту жизнь сразу и глазами, и ушами, и носом! Нельзя было без умиления смотреть, как тут же какой-нибудь Iazzalone, находясь наверху блаженства, втягивал в рот, закинув назад голову и закрыв глаза, длинную ленту макарон...

Эти впечатления были тем сильнее, что в Неаполь я поехал из Флоренции и Рима, вдоволь налюбовавшись, кроме памятников древности, роскошными дворцами итальянской знати, великолепными отелями, изысканными ресторанами и грандиозными зданиями Ватикана. Говорят, что государственный аппарат папы, считая всех духовных сановников католической церкви, — самый многочисленный в Европе. Папа имеет три рода гвардии, войсковые и жандармские части, оставшиеся еще от прошлой папской армии.

Из Неаполя я поехал на раскопки Помпеи, находящиеся от Неаполя в 25 километрах по берегу залива. Сойдя с поезда, я взял гида, который провел меня через городскую стену на откопанный форум примерно в одном километре от вокзала. По дороге он вкратце рассказал мне историю Помпеи.

На форуме в древнем городе была сосредоточена главная жизнь населения. Тут находятся откопанные раз-

* «Повидать Неаполь и потом умереть».

палины правительственных, торговых и судебных учреждений, а также храма Юпитера. В самом городе гид показал храм египетской богини Изиды и роскошное огромное здание общественных бань (термы). Откопаны два театра: один — большой и открытый, на 5 тысяч зрителей, другой — малый и закрытый, для музыкальных развлечений.

Этим мне и пришлось ограничить свое посещение Помпей.

* * *

Специальный интерес представляла для меня последняя поездка во Францию, где мне пришлось принимать участие в боевых кавалерийских маневрах на севере страны, в окрестностях городов Cambrai и St. Quentin, и в больших горных маневрах на юге, в районе городка Крет (Crest, департамент Drôme).

Те и другие маневры представляли для меня естественный интерес и помогли ближе ознакомиться с жизнью армии и всех родов войск, а также дали дополнительные наблюдения жизни разных общественных слоев населения.

Штаб руководства кавалерийскими маневрами, к которому я был прикомандирован, располагался в роскошной вилле-дворце. Хозяева виллы, богатая французская дворянская семья, приняли нас с большим радушием. Нас разместили в лучших комнатах и окружили всевозможными заботами и развлечениями. Ежедневно устраивались пышные обеды и небольшие семейные вечера-концерты, танцы и литературные чтения. Со своей стороны штаб устраивал для хозяев виллы выезды в наиболее интересные места маневров с объяснением всего происходящего и вызывал полковых трубачей играть во время обидов и вечеров.

Впрочем, для меня, мало любившего торжественные светские развлечения, несравненно приятнее были и условия жизни и вся обстановка на юге Франции, где маневры проходили в необычайно красивой местности, вблизи Гренобля. Отсутствие в городе Крет больших помещений заставляло штаб размещаться в нескольких домах — у городских жителей; сходились лишь к обеду и ужину в городской мери.

Мне была отведена хорошая, скромная, но чистенькая комната у хозяйки местной маленькой гостиницы, где стояли также прикомандированные к штабу два ординарца и два сержанта.

После ужина, оканчивавшегося очень рано, хозяйка приглашала меня почти ежедневно к вечернему чаю, в течение которого непрерывно царило большое оживление.

Когда я вернулся в Париж, то, к своему удивлению, уже не нашел там своей жены, приехавшей во Францию вместе со мной. Из оставленного ею письма я узнал, что она нашла Париж слишком суетливым и, воспользовавшись попутницей, возвратилась в Россию. Этот поступок интересен с психологической точки зрения: мировой город с великолепными витринами разных женских мод и украшений пришелся не по вкусу жительнице Тишинского переулка московских Грузин.

* * *

Вернемся, однако, к моей службе в штабе Киевского военного округа. Она сосредоточивалась главным образом на обязанностях по отчетному отделению, выполнявшихся при содействии моих помощников (капитанов Духонина, Власьева и других), и на обработке секретных документов, поступавших из Вены в микрофото пленках и требовавших очень много труда для расшифровки их с помощью сильных луп. После обработки эти данные представлялись в Главное управление Генерального штаба.

О моей работе Маврин доложил приехавшему как-то в Киев начальнику Генерального штаба Ф. Ф. Палицыну, который меня благодарил и приказал выдать мне в награду тысячу рублей. На эти деньги я купил отличный американский письменный стол с задвигающейся крышкой. Впоследствии в Петрограде он пропал вместе со всей квартирной обстановкой после моего отъезда на войну.

В течение 1907—1909 годов я выполнял требовавшийся от каждого штаб-офицера Генерального штаба строевой ценз по командованию батальоном и по ознакомлению с войсками других родов войск — с кавалерией и артиллерией.

Батальоном я командовал летом 1907 года в Миргородском полку. Командиром полка был тогда Ю. Н. Данилов (будущий генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего Николая Николаевича). Не-

смотря на внешнюю сухость Данилова, солдаты его любили за справедливость и заботу о них. Когда в 1909 году Данилов был назначен в Главное управление Генерального штаба, он мне предложил перейти в это управление.

Артиллерийский стаж я отбыл на Киевском артиллерийском полигоне, активно участвуя во всем курсе артиллерийских стрельб. Никаких особых воспоминаний об этом у меня не сохранилось.

Несколько ярче прошел мой месячный кавалерийский стаж в гусарском полку Роопа. Как раз в это время Рооп был назначен с производством в генералы командовать лейб-гвардии конно-гренадерским полком, стоявшим в Петербурге. После отъезда Роопа из Белой Церкви и до назначения нового командира я, как старший в чине, недели две временно командовал гусарским полком и даже провел четырехверстную скачку с препятствиями.

Впрочем, конный спорт был для меня не новым делом. Сухомлинов в память своего командования офицерской кавалерийской школой часто устраивал для офицеров Генерального штаба охоты «за лисичкой». На первой охоте я получил приз.

В начале 1909 года в штабе округа произошли крупные перемены, перевернувшие всю жизнь штаба. Сухомлинов был назначен начальником Генерального штаба (а вслед за тем и военным министром). Его место занял Н. И. Иванов, пригласивший начальником штаба округа генерала М. В. Алексеева *. Маврин получил корпус. Лукомский был переведен в Петербург начальником мобилизационного управления.

За последние недели моего пребывания в Киеве перед моими глазами как начальника отчетного отделения прошел ряд старших офицеров Генерального штаба — Деникин, Крымов, Довбор-Мусницкий, Бредов и другие. Я с ними едва успел познакомиться. Впоследствии они сыграли крупную, хотя и очень печальную роль в истории русской армии.

* Этим назначением Алексеев, уйдя от профессорской деятельности, начал свою мрачную карьеру будущего руководителя монархической контрреволюцией 1917—1918 годов. Он фактически управлял армией в должности начальника штаба при Николае II — Верховном главнокомандующем — с осени 1915 года до марта 1917 года. Во время Февральской революции он подготовлял корниловское выступление; наконец после Октября руководил организацией «добровольческой» армии на Дону.

После ухода Маврина я с огорчением увидел безразличное, если не сказать отрицательное, отношение к делу разведки со стороны Алексеева.

Закончив все же обработку важнейших разведывательных данных о мобилизации и развертывании в случае войны австро-венгерской армии, я переехал в Петербург.

Не совсем ясной осталась для меня судьба моего главного заочного знакомого из числа переданных мне Роопом, некоего «Р». Он всегда фигурировал в моих долгих сношениях с Веной, но воочию никогда передо мной не появлялся.

Однажды дошел до меня рассказ о трагической судьбе одного из офицеров австрийского генерального штаба по фамилии Р., уличенного в том, что он выкрадывал, фотографировал и продавал одной соседней державе важные мобилизационные документы об австрийской армии. Генерал Конрад фон Гетцендорф — начальник генерального штаба австрийской армии, выслушав от него откровенное признание своей вины, вынул из стола револьвер, положил его перед преступником и вышел. Офицер понял свой приговор и привел его в исполнение. Этот поступок, помешавший вскрыть подробности преступления, был поставлен Конраду в большую вину. Был ли покончивший с собой офицер моим заочным знакомым или это было лишь совпадение, я не знаю. Могу лишь сказать, что когда перед самой войной в 1914 году я попытался по обычному адресу связаться с Веной, то получил ответ, был вызван на свидание в Берн, ездил на это свидание и даже достал последние интересовавшие нас сведения. Кто был этот «комиссионер», мне осталось также неизвестно, так как он отказался назвать себя, объявив, что это последнее свидание.

* * *

За время моей работы в штабе Киевского округа у меня скопилось довольно много сведений, позволивших составить отчетливое представление об австро-венгерской и германской армиях и вообще о военно-политической обстановке на нашей границе с этими странами.

В основном сделанные мной выводы состояли в следующем:

1. Австро-венгерская армия как по величине, так и по обученности представляет серьезного противника. Офи-

церский состав ее по общему образованию уступает нашему, но по специальной подготовке стоит не ниже. Во главе армии опытный начальник генерального штаба — Конрад фон Гетцендорф.

2. Считая, что в случае войны Германия направит свой главный удар против Франции, оставив против нас не более трети своих сил (около 300 батальонов), и что Румыния со своей сотней батальонов выступит на стороне центральных держав, общая численность австро-германо-румынских войск в начале военных действий будет свыше 1000—1100 батальонов против наших 1500 батальонов. При этом предполагается, что Италия останется нейтральной или будет связана с Болгарией, а XV и XVI австро-венгерские корпуса, тщательно подготовленные для войны с Сербией, останутся против нее.

3. Выгоды нашего превосходства в силах значительно ослабляются нашей более длительной мобилизацией и сосредоточением армии, заканчивающимися в основной массе на 23-й день, в то время как австрийцы заканчивают их на 14-й день.

4. По документальным данным, австрийские армии сосредоточиваются главной массой в Восточной Галиции, на линии железной дороги Краков — Львов, фронтом на север, к стороне Варшавского военного округа.

Это дает основание для следующих главных заключений:

а) войска Киевского военного округа получают выгоды действовать во фланг австрийцев в Восточной Галиции;

б) район сосредоточения австрийских армий, очевидно, выбран под давлением союзницы — Германии, опасавшейся за свою Восточную Пруссию;

в) эти опасения оправдываются лишь в случае нанесения Германией главного удара против Франции, своего опаснейшего противника, заканчивающего сосредоточение полуторамиллионной армии уже на 10-й день мобилизации, с очевидным расчетом на быстрый разгром французов с целью затем обратиться против России.

5. Несомненно, зная о намечаемых в России и Франции мероприятиях по усилению боеспособности и боеготовности армий, Вильгельм при его агрессивных намерениях вряд ли будет медлить с их реализацией, тем более

что свое собственное усиление в отношении армии заканчивает в 1913 году.

6. В создавшейся военно-политической обстановке на Киевский военный округ выпадает в высшей степени активная и ответственная роль, вполне понятная, конечно, для Конрада. Если он пошел на столь опасное для себя сосредоточение австро-венгерских армий, то не иначе как после крупных разногласий между Вильгельмом и Францем-Фердинандом, на что был ряд веских указаний. Это обстоятельство не надо забывать и на будущее время.

Таковы были главные выводы по специальности моей службы, с которыми я закончил свою деятельность в Киевском военном округе.



Глава 7-я

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

«Concordiâ parvae res crescunt,
discordiâ et maximae dilabuntur»*.

В разведывательном отделении Главного управления Генерального штаба я быстро освоился со своими обязанностями. Это был военный орган, открыто существующий во всех армиях. Его задача — собирать различные данные, преимущественно секретного характера, о других странах и их вооруженных силах.

Разведывательные материалы, получаемые из военной литературы соседних стран или от официальных военных агентов (атташе), обычно служат основой для дальнейшего уточнения и дополнения путем агентурной разведки. Эта разведка, конечно, активизируется в периоды, предшествующие возникновению войн. Объем задач разведки определяется характером самих войн. Предметами ее служат все ресурсы страны, составляющие, так сказать, военный потенциал последней, и в первую голову величина армии и ее моральный дух, ее обученность, боеготовность, планы войны, технические средства борьбы, производственно-технические условия, экономические возможности, национальные особенности и интересы составных частей государства и т. д. и т. п.

* «В согласии и дружбе растут малые государства, в несогласиях и ссорах разрушаются и величайшие».

Ясно, что разведка почти всегда неразрывно связана с контрразведкой, то есть с самыми разнообразными мерами борьбы против иностранной разведки, вплоть до применения провокационных методов, доставки фальшиво фабрикуемых документов, стараний проникнуть в состав самих разведывательных органов противника и т. п.

Из сказанного выше явствует, каким ответственным и сложным делом является организация разведки и контрразведки для усиления боеспособности армии. Следует откровенно сказать, что бывшее Главное управление Генерального штаба дореволюционной русской армии не сумело ни обеспечить армию перед войной надежным разведывательным аппаратом, ни руководить этим важным делом.

В моих глазах эта несостоятельность нашего Генерального штаба была особенно непростительна еще вследствие полного игнорирования им внутреннего положения страны.

Во главе нашего разведывательного отделения в период моей работы там (с 1909 года) стоял полковник Николай Августович Монкевиц, вскоре произведенный во внеочередном порядке в генералы. Ранее он служил в штабе Варшавского военного округа. Этот ловкий человек быстро стал правой рукой Данилова, выполняя наиболее ответственные и секретные приказания и поручения. Он сам составлял и собственноручно перепечатывал на машинке все секретные бумаги на имя начальника Генерального штаба, военного министра, министра иностранных дел и пр.

Непосредственными помощниками Монкевица по разведывательному делу были я и полковник Оскар Карлович Энкель, сын какого-то важного финского сановника в Гельсингфорсе.

Я сильно сомневался в лояльности Оскара Карловича, не скрывавшего, надо отдать ему справедливость, своих симпатий к Финляндии и Швеции, языками которых он хорошо владел.

Техническая работа по делопроизводству выполнялась подполковником Марковым*.

* Будущий начальник Марковской дивизии в гражданскую войну.

Любопытна характеристика, данная Маркову А. Н. Толстым в его трилогии «Хождение по мукам»: «Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием... В конце концов он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о боге, царе и отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось... Он был честолюбив, надменен и резок с подчиненными. В армии его боялись, и многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры».

Монкевиц, Энкель, Марков и я, мы все сидели в то время в особой, изолированной комнате, непосредственно соприкасавшейся с кабинетом Данилова. А по соседству с нами в маленькой комнатке находился еще один офицер, ведавший вопросами по Китаю и Японии, владевший языками этих стран.

Периодически в отделение приезжал морской офицер, капитан Доливо-Добровольский, видимо стоявший во главе соответствующего отделения штаба военно-морского флота.

Кроме этого отделения, Монкевицу были подчинены делопроизводства, возглавлявшиеся полковниками Генерального штаба — «старшими делопроизводителями».

Они ведали сбором и обработкой всех материалов по изучению армий главнейших стран Европы. Главными были делопроизводства по Германии, Австро-Венгрии и Франции. Все они помещались отдельно от разведывательного отделения. Связь с ними поддерживалась лично Монкевицем.

Каждый из делопроизводителей держал связь с соответствующим военным агентом (атташе) за границей, сносясь с ним через Монкевица или частными письмами.

Сам Данилов иногда приглашал нас к себе в гости. Он был тяжел с нами в служебных отношениях, но очень приветлив в домашней обстановке. Время от времени Монкевиц считал необходимым для поддержания нужного служебного и товарищеского контакта между офицерами разведывательного отделения и делопроизводств собираться вместе в каком-нибудь ресторане и даже в кабинетах «Аквариума». Иногда участие в наших скромных

пирушках принимал и обер-квартирмейстер генерал Миллер*.

Тесную связь мы держали с полковником Романовским**, помощником начальника Главного штаба.

Монкевиц вел тесное знакомство с иностранными военными атташе в Петербурге; через него были знакомы с ними и все мы. Иногда, в меру своих материальных возможностей, мы приглашали их к себе на дом к чаю, обеду или ужину.

В летнее время, в дни военных торжеств в Красном Селе, на меня возлагались обязанности сопровождать иностранных атташе, а затем вместе с ними я приглашался к обеду в «высочайшем присутствии». После таких обедов все гости обычно обступали выходящего из-за стола царя, образуя *cercle****. Царь обходил всех и «удостаивал» вопросами, стараясь придать им какое-либо веское значение.

Я занимал место в задних рядах и этих вопросов не слышал.

Испытывая определенную потребность в дополнительном заработке, мы, кроме Энкеля, человека, видимо, с хорошими средствами, занимались преподаванием военных наук в военно-учебных заведениях Петербурга и окрестностей. Монкевиц выезжал для этого в офицерскую стрелковую школу, Марков брал руководство практическими занятиями в Академии Генерального штаба, я читал лекции в Павловском пехотном и Николаевском кавалерийском училищах. Отношения между Монкевицем и Энкелем постепенно стали очень близкими.

Наоборот, мои отношения с ними делались все более отдаленными. После производства Монкевица в генералы я почувствовал, что не совсем прихожусь ко двору в отделе, и попросил назначить меня в делопроизводство по Австро-Венгрии. Монкевиц охотно на это согласился. С внешней стороны товарищеские отношения между всеми

* Бывший перед этим начальником кавалерийского училища, где я читал лекции, и мой будущий противник на Севере в гражданскую войну. Он был потомком известного историка — немца, исследователя России (по этнографии и археологии) и автора «Известий о запорожских казаках».

** Участник корниловского заговора, бежавший после Октябрьской революции на Дон. В 1919 году был начальником штаба Деникина, а в следующем году убит в Константинополе.

*** Кружок.

нами остались прежними, мы продолжали даже собираться по вечерам друг у друга. Это длилось вплоть до империалистической войны.

В 1914 году Монкевиц был назначен обер-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба, а во время войны — начальником штаба 7-й армии на Румынском фронте. Вскоре после Октябрьской революции Монкевиц застрелился. Энкель, по-видимому, благополучно ретировался в свою Финляндию.

Из личного состава, подчиненного Монкевицу, не могу не упомянуть добрым словом привлекательного своим прямым, благородным характером полковника Владимира Евстафьевича Скалона, моего предшественника в комиссии по перемирию с немцами в декабре 1917 года в Бресте. Запомнился мне и симпатичный Рябиков, человек, обладавший необыкновенным даром юмора. В 1916 году он был начальником разведывательного отделения штаба Северного фронта. Вместе с ними служил в то время и будущий наемник интервентов Андерс — личность глубоко антипатичная. Моими помощниками по австро-венгерскому делопроизводству были Потоцкий (перед войной его назначили военным агентом в Бельгии и Дании) и Муханов.

Нашими военными агентами перед войной были: в Германии — Базаров, в Австро-Венгрии — Занкевич. Оба находились под строжайшим негласным наблюдением германской и австрийской контрразведок. В то же время наш Генеральный штаб требовал от них доставления секретных данных, хотя наряду с этим им официально запрещалось заниматься агентурной разведкой, чтобы не компрометировать себя и свои представительства.

Иностранцами атташе перед войной у нас состояли: французским — Маттон и де Ла-Гиш; английским — Нокс и Хендри Вильямс; итальянским — Марсенго (он не раз приезжал в Киев, где его, с моей легкой руки, больше звали Марченко); сербским — Лонткевич; бельгийским — де Риккель. Все эти лица, кроме Марсенго, были мне мало знакомы. Но французский атташе Маттон памятен мне больше других: по его представлению я был награжден от французского правительства офицерским орденом Почетного Легиона за услуги, оказанные мной в связи с добытыми данными о мобилизации австро-венгерской армии. Приходилось мне встречаться у Монкевица и с вели-

кобританским атташе Ноксом. Он производил впечатление человека, враждебного нам, но пользовался полной свободой доступа в войска русской армии. Во время войны он активно боролся за продолжение Россией борьбы на стороне Антанты до «победного конца».

Начальником Генерального штаба в это время был генерал Жилинский, сменивший Палицына, стоявшего гораздо выше его во всех отношениях. Оба они, кстати говоря, были на моем отчетном докладе по командировкам в Австро-Венгрию на императорские маневры в районе озера Балатон и на Тирольские (район Боцен-Гриес) маневры Конрада фон Гетцендорфа. Эта вторая командировка стоила мне многих физических усилий: от конечной железнодорожной станции Bozen Gries до района маневров в Альпах пришлось идти пешком по горам — 20 километров туда и столько же обратно, спать под открытым небом из-за невозможности с моими документами появиться в гостиницах.

После доклада Палицын и Жилинский подошли ко мне и поблагодарили. «Я знал, что старый конь борозды не испортит», — сказал Палицын. Жилинский шутя спросил: «Федор Федорович, почему «старый»? Ведь он может обидеться!» — «А по давнишнему знакомству», — отозвался Палицын.

Монкевиц часто делился с нами впечатлениями о постоянных своих сношениях с министром иностранных дел Сазоновым, который сильно влиял в течение 1910—1916 годов на внешнюю политику. Благодаря этим беседам мы были постоянно в курсе общей военно-политической обстановки и могли более или менее точно судить о ходе подготовки к будущей войне.

Задолго до ее начала наметился коалиционный характер войны, стали четко определяться враждебные друг другу стороны. В один лагерь становились державы Согласия (Антанты) — Россия и Франция, заключившие между собой военную конвенцию и союзный договор 1892 года, подкрепленный в 1906—1907 годах соглашениями Англии с Францией и Россией. В другой лагерь стали Германия и Австро-Венгрия, заключившие между собой военный союз, причем Австро-Венгрия заняла явно подчиненное положение по отношению к своей более силь-

ной союзнице. В военных сферах Германии не придавали особой ценности армии Австро-Венгрии. Этого не скрывали военные заправилы Вильгельма — Гинденбург, Людендорф и Тирпиц; не пользовался у них особой популярностью и австрийский генеральный штаб, кроме самого Конрада.

Оба лагеря мало считались со всеми остальными меньшими государствами Европы, не исключая и Италии и Скандинавских стран, хотя, разумеется, старались привлечь их каждый на свою сторону. Более искренней и традиционно миролюбивой была политика России, как великой славянской державы по отношению к родственным народностям Балканских стран.

В соответствии с этой общей военно-политической обстановкой определялись и стратегические планы сторон.

С начала XX столетия рядом совещаний начальников генеральных штабов России (Палицын, Гернгросс, Жилинский) и Франции с участием министров иностранных дел (Извольский и Сазонов) устанавливались отправные взгляды на усиление боеготовности армий и ускорение мобилизаций, на районы сосредоточения армий, на характер начальных военных действий, на материальное обеспечение военных планов. За этот период обнаруживались некоторые колебания в политике Англии, но все же основная группировка держав, намеченная в 1892 году, сохранилась и к 1914 году. При этом, как в отношениях между Германией и Австро-Венгрией интересы первой ставились во главу угла, так и в отношениях Франции и России последняя в силу зависимости по займам была вынуждена жертвовать своими интересами в пользу Франции.

Разумеется, за политикой держав Согласия тщательно следили государства так называемого Тройственного союза, стремившиеся к усилению собственных армий.

По мере приближения 1914 года чувствовалось все отчетливее, что поведение Австро-Венгрии на юго-востоке Европы обуславливалось интересами Германии; впрочем, Австрия уже давно начала играть роль южного форпоста германцев против славянства, но это с особой силой проявилось в начале XX века.

Один взгляд на этнографическую карту Австро-Венг-

рии* показывает, как остро сложилась здесь германо-славянская проблема. Большинство населения состояло все же из славян. В 1906 году в Нижней палате австрийского рейхстага было 233 депутата от австрийских немцев и 259 депутатов славян.

Признание австрийских немцев за господствующую национальность наталкивало на мысль об объединении их с немцами Германии, но сама Германия опасалась, что это усилит католический юг по сравнению с протестантским севером.

В Венгрии, где грубый национализм мадьяр подавлял румын, хорватов и словаков, политическое положение мадьяр было прочнее, чем немцев в Австрии. Внешнее положение Венгрии определялось интересами аграрных групп, а для них была опасна конкуренция Сербии и Румынии.

Еще большее осложнение представляло численное превосходство хорватов и сербов в землях к югу от Венгрии и вдоль Адриатического побережья, при Фиуме — единственном венгерском порте, лежавшем на Кроатском побережье. Южно-славянские чувства поддерживались расчетами на Сербию, а сербские победы во 2-й балканской войне сильно повлияли на Хорватию, особенно на Боснию и Герцеговину. Присоединение их к Австро-Венгрии в 1909 году было поражением политики России, заставившим Австро-Венгрию сильнее опереться на Германию.

Острота балканской проблемы особенно усилилась в последние предшествующие войне годы. Прием Италии в 1888 году в Тройственный союз, открыто предусматривавший взаимную помощь против России, служил противовесом союзу Франции с Россией, с которой, конечно, Австро-Венгрия не могла вступить в единоборство при своем непрочном политическом тыле. Мало этому благоприятствовала внешняя и внутренняя политика Австро-

* В Австрии 9 миллионов немцев; 6 миллионов чехов и словаков; 4 миллиона поляков; 3 миллиона русских; 1 миллион словен; 700 тысяч сербов и хорватов; 700 тысяч итальянцев и 200 тысяч румын.

В Венгрии 10 миллионов мадьяр с 1 миллионом евреев; 2 миллиона немцев; около 2 миллионов словаков; почти 3 миллиона румын; около 3 миллионов сербов; 400 тысяч русских. (Цифры относятся ко времени империалистической войны.)

Венгрии, строившаяся на принципе «divide et impera» («разделяй и властвуй»).

Во главе монархии стоял император Франц-Иосиф, nasledовавший свою власть в политической обстановке насильственной германизации страны. В то время, о котором идет речь, он был уже 84-летним старцем, осуществлявшим свои императорские полномочия в Австрии через министров, им назначаемых и не зависимых от рейхстага. Другим было его положение как короля Венгрии, строго выполнявшего под наблюдением венгерского парламента свои конституционные обязанности. Франц-Иосиф был немец, консерватор, потомок гордых Габсбургов, представитель господствующей немецкой национальности. Новых потребностей жизни не признавал, идее федератизма был чужд, военного дела не понимал. Союзником Вильгельма его сделала политическая необходимость. Атмосфера лести, окружавшая Вильгельма, не раздражала Франца-Иосифа. В сношениях со своими приближенными как военными, так и гражданскими сановниками он свято хранил свой традиционный придворный этикет. Во имя его он долго не соглашался на предложение Конрада послать австрийского наследника Карла на «чуждое» ему дело командования армией против Италии. Лишь к концу жизни высказывал рядом с готовностью короноваться королем Богемии склонность идти навстречу славянам. Однако эти его порывы были совершенно подавлены германским послом в Вене Черниным — ярым агентом Вильгельма, генералом Конрадом и венгерцем графом Форгач, австро-венгерским министром иностранных дел — вдохновителем антисербской политики. Франц-Иосиф, к счастью для него, не дожид до тяжелых дней монархии.

Наследный эрцгерцог Франц-Фердинанд был тоже немец, но с горячим, упрямым и резким характером и солдатскими чувствами. Он являлся ярким представителем агрессивного австрийского милитаризма, хотя Чернин в Брест-Литовске смягчил эту характеристику, утверждая, что Франц-Фердинанд искал примирения с Сербией и Румынией, оставаясь противником Венгрии. Он и Конрад высоко ценили друг друга. Несмотря на внешнюю дружбу с Вильгельмом, Франц-Фердинанд не был склонен безоговорочно идти на поводу у последнего.

Общим австро-венгерским министром иностранных дел был граф Берхтольд. Он считался бездарным дипломатом в противоположность предшественнику, даровитому Эренталю, инициатору аннексии Боснии и Герцеговины и постройки Санджакской железной дороги через Боснию и Сербию, способствовавшей сильному сближению Австро-Венгрии с Германией.

Начальник генерального штаба генерал Конрад фон Гетцендорф считался выдающимся военачальником. Его авторитет признавался и всей военной Германией. По мнению Людендорфа, он был искусным вдохновителем всех операций во время войны, но, к несчастью для себя, стоял во главе армии, не способной осуществлять эти операции, и в стране со слабой промышленностью и техникой. Конрад считался особым знатоком горной войны, опыт которой он приобрел, командуя дивизией в Тироле. Однако Конрад не обладал искусством распознавать и выбирать людей. Не пользовался он и расположением Франца-Иосифа, так как вмешивался в политическую жизнь страны (нарушение придворного этикета!). Будучи сторонником взглядов Франца-Фердинанда на союз с Германией, Конрад придавал, однако, большое значение итальянскому фронту даже в ущерб русскому, в чем сильно расходился с начальником германского генерального штаба генералом Фалькенгайном. В 1916 году в целях обеспечения итальянского фронта Конрад снял часть сил с русского участка, чем облегчил Луцкий прорыв войсками нашего Юго-Западного фронта. Это катастрофическое для Австрии поражение подорвало престиж Конрада в глазах капризного и малоопытного в военных делах императора Карла, и Конрад был уволен со своего поста и заменен бездарным Арцием.

Император Карл — молодой, недалекий, неопытный политик, маловыдержанный, беспокойного эгоистического характера — много способствовал разрушению империи. Он не был искренним другом немцев и после скандальных для него связей с братом своей жены (представительницы династии Бурбонов) герцогом Пармским был вынужден извиняться перед Вильгельмом. При этом он обвинил во всем своего министра иностранных дел графа Чернина, которого и уволил без всякой его вины.

Невинно пострадавший граф Чернин, австрийский министр иностранных дел, был сторонником мира. Его вы-

соко ценил Франц-Фердинанд как человека тонкого ума и искусного дипломата. Чернин ясно понимал неспособность государства вести войну, в особенности предвидя надвигающиеся социальные потрясения, поэтому считался пораженцем.

Главой венгерского правительства являлся Тисса, упорный и сильный сторонник мадьярского главенства в дуалистической Австро-Венгрии. Он стоял за союз с Германией, был ярым врагом революции и стремился к присоединению Сербии. В отставку он ушел из-за столкновения с Карлом. После убийства Франца-Фердинанда высказывался за простую карательную экспедицию в Сербию, но не за войну с ней.

Таким образом, австро-венгерское государство представляло собой двуединую монархию с незаконченным процессом своего развития, с острыми противоречиями во внутренней жизни, с упорной борьбой между многочисленными национальностями.

Будучи одной из крупнейших стран в Европе, Австро-Венгрия вступила в войну как наш серьезный противник. Однако в ходе войны противоречия, о которых говорилось выше, обострились. Национальные интересы различных частей государства, не объединенных общегосударственными интересами, вызвали даже проявление пораженческих настроений. Дело в том, что победа Австро-Венгрии обуславливалась победой Германии, а это грозило бы германизацией всех австрийских народностей. Самая ожесточенная борьба шла в местных сеймах — богемском, тирольском, галицийском. Чехи не скрывали своих симпатий к державам Согласия. В самом начале 1915 года чешские национал-социалисты потребовали государственной независимости Чехии (в ответ на объявление наместником Чехии единственным языком — немецкий). На юге подобные события возникли среди сербского населения. Поднялось движение в пользу единой независимой Югославии, хотя это осложнялось трудностями в согласовании претензий сербов и итальянцев на земли Фиуме, Триеста, Истрии и Далмации. Окончательную роль в этом разброде сыграла Венгрия, понудившая своей политикой Румынию выступить на стороне Антанты.

Войны, вообще говоря, можно было бы избежать, если бы Австро-Венгрия отказалась от своих интересов на Балканах в пользу России. Но это было бы концом

Австро-Венгрии как великой державы. «Вооружаться днем и ночью для войны с Россией» — таков был ее недалёковидный лозунг.

Однако ставка на «вооружение» сама по себе оказалась уже недостаточной для успешного ведения современной войны. В экономическом же отношении Австро-Венгрия была к войне не подготовлена. Трудности начались уже с 1914 года.

Продовольственные нехватки в тылу перешли и в армию. Сильно были ограничены потребности населения, с весны 1915 года была введена карточная система. Значительно повысилась стоимость жизни. Затормозился подвоз топлива. Наступило расстройство транспорта. Самым бедственным сделалось финансовое положение, ценность кроны катастрофически упала. Германия ввиду необходимости выручать свою союзницу наложила руку на австрийский золотой запас. Уже в 1914 году появились признаки утомления только что начавшейся войной, а с ними и призрак гражданской войны.

Австро-венгерская армия ни по своей технике, ни по своей организации и обученности отнюдь не являлась передовой по сравнению с нашей армией. Кроме того, это была единственная в своем роде армия по своему многонациональному составу. По утверждению Наполеона, это является обычно отрицательной стороной армии. Но надо отметить, что дралась она неплохо, а солдаты вели себя даже храбро. Лучшими частями армии были венгерские (гонвед). Искусно «удерживая армию вне политики», ее воспитали в приверженности к императору и Габсбургам. Корпус офицеров был хорошо обучен и превосходил в этом даже своих союзников — пруссаков. Не страдая их надменностью, венгерские офицеры умели применяться к обстановке, ближе стояли к солдатам, которых обучали и воспитывали, а не муштровали из-под палки.

В ходе военных действий оказывали свое влияние идеи панславизма. Так, при использовании славянских полков против русских венгры считали себя принесенными в жертву пруссакам. Естественно, что существовали и противоположные настроения, но они менялись под влиянием хода войны.

Процентный состав армии по национальностям был таков: немцев 29 процентов, славян 47 процентов, мадьяр 18 процентов, румын 5 процентов, итальянцев 1 процент.

Командный язык был немецкий, но обучение велось по национальным полкам — на языке, соответствующем каждому из них. В гонведных частях официальным языком признавался венгерский, а немецкий практиковался для повседневного обучения.

Организация армии установилась прочно с 1866 года, когда окрепло политическое положение Венгрии. Были созданы три главные части армии: общая армия — для обеих основных половин государства, содержащаяся на общие расходы; австрийский ландвер с его ландштурмом и венгерский ландвер, или гонвед, с таким же ландштурмом, содержащиеся на собственные средства каждой из половин государства — Австрии и Венгрии. Сообразно этому были и три вида военных управлений. Служба во всех трех частях устанавливалась 12-летняя: 2 года под знаменами, 8 лет в резерве общей армии и 2 года в резерве обоих ландверов. В кавалерии и артиллерии 3 года под знаменами и 7 лет в резерве.

При населении монархии в 1913 году в 51,5 миллиона человек ежегодный призыв новобранцев установился в 500 тысяч. По новому закону 1912 года общая численность армии в военное время должна бы быть почти в 4,5 миллиона человек, но в действительности, за недостатком вооружения для ландштурмов, в начале войны едва достигла 1 миллиона 300 тысяч.

Вся территория монархии была разделена на 16 корпусных районов, по 8 двухдивизионных районов для каждой из половин государства, и на 10 кавалерийских дивизионных районов. Корпуса состояли из двух регулярных общearмейских дивизий и одной ландверной. Предусматривались горные войска (горные бригады). По обученности ландвер уступал общей армии; еще слабее были обучены ландштурменные части. Гонвед по подготовке стоял выше ландвера.

Организация по родам войск и вооружение последних резко не отличались от других европейских армий. Воздушные силы были в зачаточном состоянии: дирижабли типа «Персеваль» и аэропланы появились в 1909 году. Война застала артиллерию в переходном состоянии (орудия были бронзовые). Крепостей было мало и не вполне удовлетворительного состояния: в Галиции — Краков и Перемышль и небольшие укрепленные пункты по Сану

(Ярославль) и по Днестру; на юге — Триест, Пола, Катаро и Себенико.

Такой согласно имевшимся у нас данным была австро-венгерская армия к началу империалистической войны. Крупными недостатками ее следует считать: малочисленность линейных войск (общая армия и оба ландвера), пополнявшихся лишь слабообученными ландштурмистами; кастовую замкнутость офицерского состава, хотя и меньшую все же, чем в Германии; малочисленность артиллерии, особенно тяжелой.

Любопытно мнение о русской армии, распространенное в Австро-Венгрии и приписываемое Конраду: победить русских трудно, но и им самим трудно быть победителями.

* * *

К началу войны у меня за спиной был уже добрый десяток заграничных командировок, секретных и официальных, с целью ознакомления на местах с армиями наших соседей и их боевой подготовкой. Я считаю не лишним поделиться с читателем впечатлениями, вынесенными мной из этих поездок. Речь пойдет теперь главным образом о французской и германской армиях. Меньше я буду касаться армии итальянской, а особенно — английской.

Во время моих поездок во Францию на меня большое и неожиданное впечатление произвели деловые качества французского офицерства и вообще весь облик французских войсковых частей и их оснащенность высокой техникой. Любовь к родине, аккуратность, организованность, даже дисциплинированность — не в нашем, однако, смысле старой вымуштрованной дисциплины — вот характерные черты французского офицерства. Бодрость духа, веселость, жизнерадостность — эти типичные черты нации проявились и в чертах армии. Здесь так же, как и всюду в стране, не скрывались нелюбовь к немцам, скептическое отношение к англичанам, симпатия к нам, русским.

Все эти отмечаемые мной достоинства французская армия проявила и в боевой обстановке, на войне.

К сожалению, на французской военной доктрине очень отзывалась боязнь людских потерь как результат сильного сокращения народонаселения.

Германская армия, кичась своей военной подготовкой, относилась свысока к австро-венгерским вооруженным силам. По союзническому долгу и в своих собственных резко эгоистических интересах немцы нередко выручали австро-венгров, но при этом не упускали случая третировать их.

В 1915 году, после освобождения Галиции от русских войск, Вильгельм поспешил торжественно въехать во Львов раньше Франца-Иосифа. Фалькенгайн и Макензен, будучи во многих отношениях ниже Конрада, все время вели с ним острую полемику, оспаривая все его планы. Так же свысока относились немцы и к итальянской армии. Это, разумеется, мешало единству действий. На всем фронте до Днестра власть была в руках немцев; южнее Днестра австрийцы проявляли самостоятельность, уступая ее опять немцам еще южнее. От этих обоюдных споров немцы и австрийцы не могли освободиться и позже, даже во время брестских мирных переговоров.

Очень сильны были разногласия в вопросе о подводной войне. Тирпиц, считая ее важнейшим шансом на победу, требовал, чтобы Австро-Венгрия приняла участие в подводной войне на Средиземном море. Последняя же, не ожидая для себя никакой от этого пользы, боялась, что таким путем окажется вовлеченной в войну с США. В то же время она была не в состоянии помешать Германии пользоваться для этой войны своими морскими базами — Триестом, Полой, Каттаро. Вопрос этот был решен в январе 1917 года, вопреки мнению Конрада и Тиссы (а через месяц был уже разрыв между Германией и США), одной Германией, имевшей главным соперником Англию с ее флотом и рынками сбыта в колониях.

Те же разногласия были в вопросах о Константинополе, Малой Азии, Месопотамии, Эльзас-Лотарингии; для Австро-Венгрии они не имели такого значения, как вопрос об Италии, почти не интересовавший Германию, а для Австро-Венгрии — смертельно острый, так как Лондонским договором 1915 года итальянцам отдавались Далмация, Триест и большая часть Тироля.

То же было и в отношении других партнеров по войне: Румыния интересовала Германию лишь с экономической точки зрения; с Россией немцы могли бы даже заключить сепаратный мир. Для Австро-Венгрии же притязания Италии, Сербии и Румынии были важнее Гали-



А. А. Самойло в период службы
Главном управлении Генерального штаба
(1913—1914 гг.)

ции и могли бы понудить Австро-Венгрию также к сепаратному миру.

Все эти военно-политические вопросы, достаточно знакомые и до войны, стали для меня особенно ясными позже, во время моего пребывания на мирных переговорах в Брест-Литовске, где сталкивались, уже задним числом, мнения Гофмана и Кюльмана (и Вильгельма за их спиной) с мнениями Чернина (и Карла за его спиной) и представителей Советского правительства.

Изложенное выше высокое мнение о союзной с нами французской армии давало мне основание считать, что Франция, с ее опытом войны против немцев 1870—1871 годов, с честью выдержит предстоящую ей борьбу со своим постоянным противником, тем более при поддержке Англии.

Допуская даже худшее, то есть победу немцев, я все же считал, что она будет пирровой победой для Германии и тогда предreshит окончательный успех России. В победе же русской армии над австро-венгерской у меня не было сомнений.

Понятно, что предусмотреть выход России из империалистической войны в результате будущей революции я не мог. Но как свою жестокую ошибку воспринимаю то, что не предвидел возможности грубых промахов, которые были сделаны в ходе войны нашими высокими правителями как военными, так и государственными.

Я прошу у читателя позволения окончить настоящую главу чисто военными вопросами. Они носят общий характер и не окажутся поэтому чуждыми даже и для читателя, не посвященного глубоко в их специфику.

Эти вопросы возбуждали в свое время громадный интерес не только во Франции, откуда они взяли свое начало, но и в Германии, где к ним относились враждебно, и у нас в России, где они пропагандировались русским Генеральным штабом, охотно питавшимся западноевропейским опытом.

Выше я упоминал уже о «принципах» германского генерального штаба, провозглашенных им в виде непреложной истины.

В качестве этих «принципов» прусские законодатели проповедовали:

— успех, достигаемый силой, есть высший критерий справедливости (варианты этого принципа: екатеринин-

ский — «победителей не судят!», бисмарковские — «*beati possidentes*» * и «хватай, что можешь, а потом толкуй о своем праве на это»;

— решительная атака есть единственное средство морального, а следовательно, и физического подавления противника;

— даже предвзятая идея атаки, если только она не идет уж в полный разрез с данными разведки, может служить достаточным основанием для боевых распоряжений;

— бой крупных войсковых единиц должен быть вполне налажен еще до завязки его, и высшему войсковому начальнику во время боя нечего вмешиваться в управление им;

— меры обеспечения соответствующего решения и ограничения риска в ходе боя бесполезны и даже опасны.

В этих «принципах» сказался надменный характер пруссачества.

В противовес им во Франции, частично в России и Австро-Венгрии, широко проводились свои оперативно-тактические взгляды.

Я остановлюсь здесь на вопросах об управлении войсками и о наступательных действиях в современном бою, так как они наиболее близки приведенным «принципам» прусского генерального штаба, а также потому, что в области этих вопросов, как подтвердил опыт войны, происходили главнейшие промахи, самые тяжелые по их результатам.

А. Необходимо учитывать разницу между понятиями «командование» и «управление» в бою войсками и не относить то и другое понятие безразлично ко всем соединениям войск от полка и бригады до армии. Разница эта существенная, и в соответствии с ней находятся и важные особенности в маневрировании войск.

«Командование» осуществляется в отношении такой войсковой единицы (части), действиями которой начальник руководит на местности непосредственно сам и которая в бою (современном, массовом) действует в поле его зрения, стремясь к достижению одной и той же тактической задачи.

* Смысл тот же, что и «хватай, что можешь».

Такая «командуемая» начальником часть получает точный приказ, в каком направлении нанести удар, обеспечивая последний своими собственными мерами разведки и охранения (авангард, наблюдение за флангами и др.).

Иначе дело обстоит в более крупных войсковых соединениях (дивизия и выше), которые развертываются для боя на фронте, исключая возможность одному лицу непосредственно следить за выполнением отдельными частями поставленных им задач. В отношении этих соединений осуществляется не «командование», а «управление» ими начальником, сводящееся к указанию их частям правильных направлений; выполнение же возлагается на непосредственно подчиненных ему и им лишь руководимых начальников.

Таким образом, «управлять» — значит предусматривать обстановку, в которой подчиненные начальники будут выполнять свои задачи, иначе говоря, подготовить бой, а затем влиять на его ход главным образом резервами*.

Вреднейшими результатами смешения понятий «командовать» и «управлять» считалось (главным образом во Франции и у нас) положение, когда начальники, призванные «командовать», ограничивались «управлением», находясь в дальнем тылу своих частей, или когда «управляющие» начальники выдвигались на передовые линии, вмешиваясь в дело своих подчиненных вследствие недоверия или непонимания дела. Такое вмешательство означало нарушение тактической связи, уничтожение инициативы подчиненных и создавало в войсках беспорядок. Единство правильного руководства боем должно достигаться ясной постановкой цели своим самостоятельно организованным частям.

Ожидать с принятием решения для боя или с завязкой боя результатов точной разведки в деле управления нельзя; надо уметь действовать на основании сведений, менее достоверных или даже добытых ранее (разведывательные сводки за прошлые сутки и т. п.). Такое решение, конечно, требует риска, но оно необходимо.

В старой академии полковник Гейсман набил нам оскомину своим: «Бой должен быть целесообразен и пла-

* О других средствах влиять на бой см. ниже.

носообразен», то есть оправдан сложившейся обстановкой, оперативной или даже стратегической, а проведен строго по составленному плану.

Б. Наступательный марш крупных войсковых соединений должен быть организован так, чтобы:

— обеспечить возможность незамедлительного развертывания на фронте соответствующей численности соединения, без потери, ко времени завязки боя, направления, данного соединению, но с возможностью перемены этого направления (например, вследствие неполноты данных о противнике, выяснившихся после получения предварительных распоряжений для завязки боя);

— обеспечить возможность противодействовать случайностям, не оставляя принятого для наступления темпа.

Конечно, длина боевого фронта, кроме величины соединения, будет зависеть и от задачи, и от местности, и от намерений начальника. Нормальным протяжением фронта для полка (бригады) считалось от одной до полутора верст, что составляет на корпус около шести — семи верст. Характер задачи может заставить дать одним корпусам более широкий фронт, а другим, на которые ляжет труднейшая часть задачи, более узкий. В этом предоставлении корпусам разных по ширине полос для наступления (в пределах «разграничительных» линий) у старшего начальника заключается главное средство оказывать свое влияние на ход боя.

При осуществлении частями охватов или при неудобных для атаки участках местности допускаются прорывы в расположении частей.

Такой свободой в решениях о длине боевого фронта нельзя злоупотреблять, так как невозможно предвидеть действий противника; желательно всегда сохранять для своей стороны возможность одновременной атаки на всем фронте.

Этими общими установками определялись вытекающие из них:

- 1) порядок принятия решения начальником;
- 2) порядок завязки боя при наступлении;
- 3) общий порядок наступательного марша.

1. Принятие решения начальником обуславливалось: оценкой общей обстановки в связи с полученной задачей; местностью; сведениями о противнике.

а) Значение общей обстановки и ясное понимание задачи подчиненными во всех армиях теоретически клалось в основание решения.

У французов, однако, я наблюдал на маневрах отступления от этого правила — иногда они авансом исходили из будущих успехов, еще не одержав их. Немцы в этом правиле видели обеспечение морального духа своих войск, которым обуславливается победа.

б) Местность — данная, с которой нельзя не считаться. Однако немцы меньше, чем французы, были склонны к этому, исходя из того, что во всех случаях надо немедленно атаковать, применяясь к условиям обстановки. Из этого делали вывод, что надо заблаговременно изучать местность, чтобы избегать неблагоприятных для атаки районов.

в) Сложнее вопрос: «Где противник?» Не говоря о важности дальней разведки и разведывательной службы при наступлении, французы считали, что добыть сведения о противнике есть дело «войск охранения» как средства в руках самого начальника. Задача этих войск — обеспечить начальнику возможность вести войска, куда он хочет, несмотря на противника. Старший же начальник указывает объекты и районы местности, которых надо достигнуть. Причем делает это директивно, исходя из общей обстановки и местности.

Направление на противника выдерживается продвижением от рубежа к рубежу, от одного захваченного объекта к другому. Установив, где противник, его атакуют, причем и атака направляется по местным предметам, которые последовательно захватываются.

Разведку ведет обычно конница, которой дается совершенно точная задача: что делать, а не как делать (разведывать). Практическим правилом для нее является: «Атаковать все, что на коне, обходить все то, что на земле».

При выполнении своих задач «войска охранения» должны:

- по разведке — узнать, где противник, его расположение и протяжение фронта;

- по охранению — обеспечить этапы наступления, последовательно и своевременно захватывая необходимые рубежи и объекты; заблаговременно принимать меры

предосторожности против неожиданных столкновений; прикрывать фланги.

2. Завязка боя — такой этап наступательного марша, на который взгляды расходились: немцы, со своей идеей безудержной атаки, ломающей всякое сопротивление, все же требовали время на методическую подготовку ее, то есть на уяснение обстановки и на развертывание. Французы же советовали на это времени не тратить, а быстро завязывать бой на широком фронте и большими силами. Войдя в соприкосновение с противником, бой завязывается одновременно несколькими атакующими колоннами. К этому моменту уже решается в общих чертах распределение главных сил и назначение их. Старший начальник должен сохранить в своих руках резервы для подкрепления атак в определенных направлениях или для противодействия охватам. В крупных соединениях эти резервы держатся не в одном месте. Все меры предосторожности по охранению должны носить наступательный характер.

3. Общий порядок наступательного марша при сближении с противником вплоть до завязки боя получает следующий вид: позади войск охранения двигаются две группы войск — «главные силы» и «резервы».

Главные силы следуют несколькими колоннами со своими расчлененными авангардами для атак на широком фронте.

Колонны — пехотные единицы в своей постоянной организации, иногда расчленяющиеся для более быстрого развертывания к бою. Они получают направления для движения (более крупные даже полосы) и свой объект действия. Ширина фронта колонны величиной меньше корпуса зависит от числа дорог и обстановки.

Резервы двигаются за одним или обоими флангами, иногда и вне их. Величина их делается больше, если обстановка менее ясна. Темп их движения не ослабляется.

Идея резервов: это не копейка на черный день, не парирование случайностей; они должны усиливать удары и обязательно участвовать в атаке.

Приведенные взгляды на эти важнейшие военные вопросы получили свое начало во Франции не только в противовес «принципам» немецкой военной мысли: они были направлены против французской доктрины, основанной

на страхе перед слабыми людскими ресурсами страны, на боязни риска. Эта доктрина требовала, перед тем как пустить в бой главные силы, получить точные сведения о том, что делает противник (то есть сообразоваться с его действиями!), путем завязки боя, то есть путем соответствующего для этой цели использования охраняющих отрядов. В конце концов доктрина приводила:

- к принятию решения о главных силах, сообразуясь с действиями противника;

- к растяжке фронта и разброске сил с целью парировать действия противника;

- к невыполнению задач, возлагавшихся на охраняющие отряды.

Несостоятельность такой доктрины и необходимость борьбы с ней очевидна.

Что касается итальянской армии, то ознакомление с ней считалось необходимым лишь поскольку она была частью вооруженных сил Тройственного союза. Мое мнение об итальянской армии, составленное на основании короткого наблюдения ее в мирное время, а также из близкого знакомства с итальянскими офицерами, было не из лестных. Во время войны итальянские войска отличались малой устойчивостью и слабой дисциплиной. Этот мой взгляд подтвердился не только ролью итальянской армии в империалистическую войну, но и впоследствии, в период Великой Отечественной войны, в 1941—1943 годах, участием ее совместно с немецкими фашистами в боях против Советского Союза. Впрочем, когда дело касалось непосредственной защиты своей страны в империалистическую войну, то итальянцы нередко проявляли организованность, мужество и даже героизм.

Для полноты знакомства с австро-венгерской армией мне остается дать некоторые дополнительные сведения, относящиеся к самому началу войны. Я хочу также показать, с какой точностью мы располагали данными о мобилизации и развертывании этой армии, чтобы читатель мог судить о целесообразности действий русской армии в ходе начавшихся боевых действий.

Численность подготовленной армии мирного времени осталась недостаточной для 50-миллионного населения страны, в особенности по сравнению с армиями России и Германии.

Конрад, подчинявшийся военному министру (Шеннайху), добиться усиления армии не мог. Снабжение и вооружение армии оставались недостаточными. Хромало и обучение, несмотря на ежегодные маневры. Развитие железнодорожной сети мало отвечало не только экономическим, но и стратегическим целям, особенно на востоке и на юге государства. Главной же отрицательной стороной оставался государственный и общественный строй.

Любопытно отметить, что к самому акту убийства наследника престола Франца-Фердинанда отнеслись совершенно равнодушно и император, и австрийский совет министров, и тем более венгерское правительство в лице Тиссы. Ультиматум Сербии был поэтому скорее делом рук Вильгельма. За это говорило и то, что Германия объявила войну России на пять дней раньше Австро-Венгрии, а также и нерешительность последней, ждавшей с ультиматумом целый месяц. Формально зачинщиком войны все же осталась Австро-Венгрия, что и дало Румынии повод не включаться в войну.

В австрийском генеральном штабе было два плана войны в зависимости от того, будет ли война только с Сербией или с Россией и Сербией одновременно. При этом втором варианте вся австрийская армия сосредоточивается в Галиции, а против Сербии предназначается с оборонительными целями лишь ландштурм с подкреплениями из линейных частей. При первом варианте имелось в виду обрушиться на Сербию главной массой сил, покончить с ней (наподобие плана самой Германии, принятого против Франции) и затем обратиться против России.

Фактически в 1914 году был осуществлен какой-то средний план: в ночь на 26 июля был подписан приказ о мобилизации трех армий (8 корпусов) против Сербии, из которых 5-я армия и части 6-й перешли Дрину, а 2-я оставалась в резерве.

После объявления 1 августа общей мобилизации 2-я армия стала перебрасываться обратно из Сербии; оставшиеся же против Сербии две армии оказались недостаточно сильными, чтобы покончить с ней, но излишне сильны для оборонительных целей.

2-я армия опоздала к галицийским боям и тем ослабила трудную оборону Галиции — области, чрезвычайно важной для Австро-Венгрии: с одной шестой всего насе-

ления монархии, с наиболее плодородными землями, богатой лесами, нефтью, солью, включавшей и наиболее удобные для русских пути вторжения в Венгрию, без которой Австрия не могла бы вести войну.

Ни Германия, ни Австро-Венгрия не ожидали столь быстрой мобилизации и развертывания русских армий. В результате Австро-Венгрия сначала оказалась предоставленной собственным силам.

Попытка австрийцев предупредить действия русских ударом между Вислой и Бугом была неудачна, равно как и движение германцев между Неманом и Вислой. Австро-Венгрия не смогла противостоять войскам Киевского военного округа, и Львов был занят нами в течение первого же месяца.

Австрийцы были разбиты, взята огромная масса пленных и материальных средств. Отпала надежда австрийцев и на поляков, несмотря на туманное воззвание к ним Николая Николаевича. Лишь последующее движение Гинденбурга в Южную Польшу остановило преследование русскими австрийских войск.

Людендорф объявил Австро-Венгрию плохой союзницей, а после «чуда на Марне» уже стал считать безнадежной победу на Западе.

Австро-Венгрия могла уже считать себя обреченной, в чем активную роль пришлось играть родному мне Киевскому округу.

Как же сложились действия русских армий с началом войны?

К 1 марта 1914 года мобилизационным планом русского Генерального штаба «О силах и вероятных планах наших западных противников» предусматривалось два случая:

а) главные силы Германии будут против Франции, а все силы Австро-Венгрии, кроме сил, выделяемых на Южный фронт,— против России;

б) главные силы Германии с силами Австро-Венгрии — против России.

В случае «а» против России действуют 12—13 корпусов австрийских и 3—6 германских; против Сербии 3—4 корпуса австрийских.

В случае «б» против России действуют 12—13 корпусов австрийских и 18 германских.

По документальным данным 1912 года, австрийские корпуса против нас развертываются в Восточной Галиции, на линии Ниско — Ярославль — Львов — Камيونка Струмилова — Трембовля, в исходных положениях к вечеру 15-го дня мобилизации *. Наступление их предполагалось на фронте Седлец — Брест — Кобрин; первой задачей их намечалось овладение Дубно-Ровненским районом.

Фактически с нашей стороны проводился в жизнь мобилизационный план 1910 года (автор его генерал Лукомский), по которому предназначались действовать:

против Германии — 1-я и 2-я армии;
против Австро-Венгрии — 3-я армия;
против Австро-Венгрии и Германии — 4-я и 5-я армии;
на флангах — 6-я армия (на Северном) и 7-я армия (на Южном).

Прикрытие границы возлагалось на дивизии самостоятельной конницы **.

День объявления Германией войны России 19 июля (1 августа) совпал с объявлением общей мобилизации во Франции — первый день ее 20 июля, а на следующий день, 21 июля, Германия объявила войну Франции.

Австро-Венгрия объявила войну России 24 июля. В этот день нами были получены сведения, что Германия наносит главный удар на Францию, оставляя против нас шесть корпусов, а Австро-Венгрия сосредоточивает против Сербии, кроме двух босно-герцеговинских корпусов, еще три корпуса.

3 августа Турция выступила на стороне Германии.

* * *

Ставка русского Верховного главнокомандующего в ночь на 1 августа (по старому стилю) выехала из Петрограда в Барановичи, а с 3 августа начались уже боевые столкновения с австрийцами и немцами.

* Фактически к 18 июля мы имели уже сведения, что мобилизация 10-го корпуса (Львовского) началась 16 июля, а 11-го корпуса (Перемышльского) — 15 июля и что 18 июля вечером объявлена общая мобилизация с окончанием ее на 26 июля.

22 июля были получены сведения, что частичная мобилизация заканчивается 25 июля, а общая — 26 июля.

** Я имел частные сведения, что генерал Рооп во главе 6 й кавалерийской дивизии уже 25 июля вступил в Восточную Пруссию.

С первых же дней по прибытии в Барановичи Ставка испытывала сильный нажим со стороны Франции, торопившей в своих интересах с началом активных действий нашими армиями: 3-й и 8-й Юго-Западного фронта и 1-й и 2-й против Восточной Пруссии.

Развертывание австро-венгерской армии свидетельствует, с какой точностью нам были известны перед самой войной планы австрийского генерального штаба *. Изменения в них, вызванные посылкой дополнительных корпусов против Сербии, уже в первых числах августа были сообщены Ставкой Юго-Западному фронту.

Вся австро-венгерская армия к началу военных действий имела следующее расположение:

1-я армия — на фронте Тарнов — Ярославль в составе 1, 5 и 10-го корпусов;

4-я армия — на фронте Ярославль — Львов в составе 2, 9 и 6-го корпусов (позже еще 17-го) **;

3-я армия — на фронте Львов — Галич в составе 11-го и 14-го корпусов (позже и 3-го);

Отряд Кевеса — в районе Станиславова — 12-й корпус; в районе Стрыя — 3-й корпус (позже перешел в 3-ю армию);

2-я армия и 13-й корпус, возвращаемые из Сербии, в составе 7, 4 и 13-го корпусов;

5-я армия против Сербии в составе 15-го и 16-го корпусов.

Ставка в Перемышле.

10 августа все армии начали боевые действия, нанося главный удар между Вислой и Бугом.

Осложнения с Сербией внесли, таким образом, перемены, сильно перепутавшие первоначальный план развертывания австрийской армии, и вредно отразились на ее действиях.

Оказались слабыми силы немцев, оставленные в Восточной Пруссии.

* С этой точки зрения австро-венгерское делопроизводство Главного управления Генерального штаба может считать свое назначение выполненным с честью. За свою работу, кроме служебного повышения, я был награжден «ценным подарком из кабинета его величества», а от французского правительства — орденом Почетного Легиона.

** Сформированного уже после начала войны.

С другой стороны, и мы не использовали этих ошибок противника, отступив от первоначального мобилизационного плана, предусматривавшего главный удар против Австро-Венгрии и только оборонительные действия против Германии.

Большим недостатком нашей подготовки к войне было также поздно и наспех изданное Генеральным штабом «Положение о полевом управлении войск», а в отношении начала боевых действий — неиспользование кавалерийских масс с целью нарушения мобилизации противника. Особенно же поспешное наступление в Восточную Пруссию под нажимом Франции.



Глава 8-я

В СТАВКЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

«Donec eris felix, multos numerabis amicos» *.

Противостоявшие друг другу империалистические группировки, с одной стороны — Германия, Австро-Венгрия и Италия (Тройственный союз), с другой стороны — Англия, Франция и Россия (образовавшие Антанту), развязали первую мировую войну невиданных до того размеров. Надо сказать, что ни масштабов, ни характера этой войны не предвидело ни одно государство.

Прежде всего война обманула самое Германию, рассчитывавшую на нейтралитет Англии, иначе Германия не пошла бы на риск потерять моря, с которыми Вильгельм связывал будущее страны, и пожертвовать своими колониями и рынками. Немецкое командование надеялось, потратив полстолетия на подготовку к этой войне, достигнуть победы в результате молниеносного, сокрушительного удара. Оказалось, однако, что война обратилась в четырехлетнюю упорнейшую борьбу на истощение, вызвавшую глубокий протест народных масс, свержение монархических династий в Германии, Австро-Венгрии, России и последующие затем социальные изменения. Противоречия внутри капиталистической системы не были разрешены, а лишь обострились. Одним из важнейших

* «Пока счастлив, будешь иметь много друзей». — О в и д и й, Элегин.

итогов войны явилось отпадение России от капиталистического лагеря.

Вернемся, однако, к освещению событий войны, оказавшихся непосредственно в поле моего зрения.

3 августа 1914 года штаб Верховного главнокомандующего Николая Николаевича приступил к руководству пока еще сосредоточивавшимися армиями. В этот день, к вечеру, Николай Николаевич пригласил нас, офицеров Генерального штаба из состава управления генерал-квартирмейстера Ю. Н. Данилова, а также генералов — иностранных представителей при Ставке, высших чинов из других управлений штаба, а также своих приближенных в вагон-столовую к обеду. Прежде чем сесть за стол, он удовлетворенно заговорил о том, сколь величественную картину представляет сейчас Россия, покрытая воинскими составами, спешащими со всех сторон к нашим австро-германским границам. На радостных лицах и самого Верховного главнокомандующего, и его начальника штаба Янушкевича, и окружавших их военных чиновников нельзя было заметить даже следов колоссальной ответственности за вверенные им судьбы миллионов людей.

Начиная с этого дня, мы дважды в день — к завтраку и к обеду — должны были являться в вагон-столовую поезда Верховного главнокомандующего. В этом же поезде нам были отведены постоянные купе, где мы и помещались. Поезд стоял на особо построенной ветке у окраины селения Барановичи, перед небольшим станционным домиком, в котором и работало все управление генерал-квартирмейстера. В него ежедневно, по утрам, приходил Николай Николаевич в сопровождении Янушкевича принимать доклады о ходе боевых действий от генерала Данилова. В дни приезда царя его поезд становился рядом с нашим, и тогда царь принимал доклады вместе с Николаем Николаевичем.

Остальные управления штаба были расположены в самом селении, и начальники их в особо назначенные дни приходили в поезд на доклад к Верховному главнокомандующему.

Николай Николаевич постоянно и безвыходно находился в своем вагоне, равно как и Янушкевич; только иногда он ездил в автомобиле на прогулку по окрестностям, а каждое воскресенье главнокомандующий приезжал в местную церковь, где слушал обедню, или, лучше

сказать, концерты, так как церковные песнопения, в угоду Николаю Николаевичу, исполнялись на мотивы из оперы Бородина «Князь Игорь». Это, очевидно, делалось с благословения жившего в поезде главного протопресвитера Шавельского, руку которого, здороваясь, почтительно целовал Николай Николаевич, подавая этим необходимый всем нам пример благочестия.

Однако следовали этому примеру далеко не все из нас, тем более что «святой» отец производил впечатление человека хитрого и ловкого. Он начал свою духовную карьеру простым полковым священником в нашей Маньчжурской армии.

В те дни, когда Верховный главнокомандующий вместе с Янушкевичем и Даниловым выезжал в своем поезде на фронты для совещаний с главнокомандующими фронтами, мы выселялись из поезда в наше штабное помещение.

Кроме высших начальников, главными действующими лицами управления генерал-квартирмейстера были мы, штаб-офицеры. Оперативным производством ведал полковник Щолоков, германским — Скалон, австро-венгерским — я. Обычно мы трое за обедом сидели вместе, отделенные стеклянной перегородкой от столика Николая Николаевича, за которым сидел Янушкевич и другие приглашаемые лица и рядом с которым стояли столики представителей миссий дружественных стран*. Тут же сидели Данилов, Шавельский и адъютанты Верховного главнокомандующего. Среди них наиболее симпатичным был князь Щербатов, потомок известного историка-публициста, автора обширного труда «Истории Российской» и трактата «О повреждении нравов в России».

Я не любил этих обедов и завтраков — они отнимали очень много дорогого времени.

Кроме нас троих, в состав управления генерал-квартирмейстера входили полковник Свечин, Андерс и другие, всего 15 человек.

К штабу Верховного главнокомандующего, кроме управления генерал-квартирмейстера, принадлежали управления дежурного генерала и начальника военных сообщений. Личный состав их жил и столовался отдельно.

* Представителем Франции, игравшим среди них главную роль, был генерал д'Амад с заместителем генералом По. С нашей стороны во Франции был Жилинский после сдачи им должности главнокомандующего Северо-Западным фронтом.

Генерал Янушкевич, вопреки «Положению о полевом управлении войск в военное время», никакого участия в оперативной работе не принимал, отказываясь от нее под предлогом малого знакомства со стратегией. Разработка всех оперативных соображений лежала целиком на Данилове, ответственном за эту разработку, за сбор сведений о театре военных действий и данных о противнике, а также о расположении, действиях и общем обеспечении всем необходимым наших высших войсковых соединений, об общей организации службы связи и службы офицеров Генерального штаба.

В круг обязанностей Скалона и моих входили сбор и обработка всех сведений по Германии и Австро-Венгрии и сообщение этих сведений всем полевым управлениям и фронтам.

Дежурный генерал (Кондзеровский) ведал вопросами об укомплектовании вооруженных сил, об общей численности их, о степени обеспечения их главными видами довольствия, в том числе и о финансовом, санитарном и ветеринарном состоянии армии, а также вопросами эвакуации.

Начальник военных сообщений (Ронжин) руководил эксплуатацией всех путей сообщения на театре военных действий, осуществлением массовых перевозок войск и грузов, этапной службой, транспортом, почтово-телеграфной и телефонной службой.

Довольно часто практиковались выезды всем поездом на оба фронта: Юго-Западный и Северо-Западный.

Общий фронт русской армии во вторую половину войны, позиционную, шел от Риги до румынской границы, причем имел вид широкой полосы, почти сплошь изрытой окопами. На всей этой полосе шла непрерывная борьба стоявших друг против друга войск: пехоты на коротких, артиллерии на более удаленных дистанциях. Велся все время ружейный огонь; перебрасывались ручные, ружейные и мортирные гранаты; практиковались взаимные вылазки, подрывание друг у друга окопов и пр.

Таков был общий сам по себе установившийся вид позиционной войны.

Места для широких оперативных обходов и охватов, да и для более коротких — тактических — не было. Глав-

ным видом боевых действий войск являлись удары в лоб; при удаче они приводили к более или менее глубокому прорыву неприятельского фронта.

Бои и сражения выигрывались почти исключительно пехотой при поддержке артиллерии. В пехоту обратились и кавалерийские части, также скрывавшиеся в окопах. Артиллерийские дуэли без участия пехоты носили по большей части бесцельный характер и сводились обычно к простой трате дорогих снарядов. Оправдывала себя щитовая артиллерия, против которой в свое время ратовал Драгомиров.

Наши войска во время начальных маневренных операций обнаружили высокий моральный подъем, особенно усилившийся во время успешных сражений с германцами. Наши часто вырывали у противника инициативу действий, наносили сильные удары, проявляя умение от отступления переходить в наступление, показывая несравненное упорство в бою и высокую доблесть. Даже слабая поддержка артиллерией, вызванная недостатком снарядов, что давало себя чувствовать уже в августе и сентябре 1914 года, не останавливала боевого порыва пехоты.

Разумеется, потери были велики. Пополнение же стало так сильно запаздывать, что численность корпусов нередко падала до 5—7 тысяч человек. Ощущался большой недостаток даже в пехотном оружии, тем более что войска не были приучены достаточно бережливо обращаться с ним: винтовки убитых и тяжело раненых утрачивались, оружие на поле боя не собиралось, между тем маршевые команды обычно приходили невооруженными. Вообще стрелковое дело в пехоте, в противоположность артиллерии, было поставлено слабо. Эти недочеты усугублялись еще тем, что наша малоразвитая железнодорожная сеть быстро пришла в расстройство и при недостатке подвижного состава не справлялась с требованиями как фронта, так и тыла.

Совершенно новыми областями в военной технике явились автомоторные и химические средства. Изменился удельный вес различных родов войск.

Русская армия, сидевшая в грязных окопах и продолжительное время бездействовавшая, расшатывалась под влиянием угнетающей обстановки. Удручающее впечатление создавали слухи и разговоры об измене Сухомлинова и немки царицы, об интригах и разврате в царской семье

и высших сферах, о Гришке Распутине, которого сам царь открыто признавал «другом императрицы». Николай Николаевич не возбуждал в армии особенно дурного о себе мнения. Но и похвалы, расточавшиеся в его адрес официальной прессой, о его воле, энергии и прочем, к сожалению, не соответствовали действительности. Для нас, постоянно с ним связанных по службе, он был человеком бесхарактерным, всецело шедшим на поводу у Янушкевича, Данилова и других. Никакой отваги (приписывавшейся ему в английской печати) он не проявлял.

Большое впечатление произвело на нас опубликованное им 1 августа 1914 года воззвание к полякам, говорившее о «заре новой для них жизни, братского с ними примирения и возрождении новой Польши», а также воззвание к русскому народу об окончании притеснений иноземцев, о равноправии всех народностей. Но эти воззвания, туманные по смыслу, оказались впоследствии одними фразами.

В связи с нашумевшим делом об измене жандармского полковника Мясоедова, повешенного в Ставке в 1915 году по приказу Николая Николаевича, я могу сообщить лишь следующее.

Когда в начале 30-х годов я был начальником военной кафедры в Московском гидрометеорологическом институте, ко мне на кафедру был назначен преподавателем брат казненного Мясоедова. Я опротестовал это назначение как совершенно неподходящее для советской студенческой среды, что и не скрыл от Мясоедова. На это последний мне сообщил, что ему был показан поданный в свое время Николаю Николаевичу и сохранившийся в архивах доклад прокурора, отрицавшего виновность полковника Мясоедова, с резолюцией Николая Николаевича: «А все-таки повесить!»

Против Николая Николаевича был настроен Сухомлинов, а также министр иностранных дел Сазонов, тщетно стремившийся влиять на великого князя. Царь видел в нем своего соперника и боялся его влияния, что особенно понятно, если учесть, что Николай II находился во власти своего царского двора, этой арены всяких измен, интриг, министерской чехарды, тайных убийств, разврата; в окружении шайки всяких проходимцев и аферистов, вроде «Гришки-провидца», Андронникова, Вырубовой, Воейкова и пр.

Представители военных миссий при Ставке жили внешне спокойно и держались корректно. С ними у нас было мало общения. Какое влияние они оказывали на высшее начальство, мы не знали. Настроение их было оптимистическое: они не сомневались в окончательной победе своих стран. В особенности их настроение улучшилось с переходом Ставки в Могилев и со сменой Верховного главнокомандующего. Это объяснялось, конечно, отнюдь не достоинствами царя, а улучшением положения армии благодаря увеличению боевого снаряжения, притоку подкреплений и возросшей возможности собственного влияния на ход событий.

Одной из обязанностей офицеров Генерального штаба в Ставке была зашифровка и расшифровка секретных телеграмм. Поэтому мы были в курсе не только военных событий, но и всех прочих, а иногда даже личных царских и великокняжеских дел. Кстати, по времени службы нам со Скалоном подходила очередь на получение полков. Скалон был старше меня по службе, как бывший гвардеец, но он от полка отказывался принципиально, считая себя не подготовленным к ответственности за судьбу тысяч человеческих жизней. Я медлил, выжидая освобождения должности в своем родном Екатеринославском полку. Впрочем, я готов был принять и Ширванский полк. О мотивах этой своей готовности я охотно умолчал бы теперь, если бы не взятый мной принцип: выкладывать все начистоту. Дело в том, что Ширванский полк был единственным в армии, которому полагалось носить сапоги с красными голенищами! Казалось бы, выйдя из гимназических годов, я мог быть и менее легкомысленным. Как и чем это объяснить? Воспитанием? Средой? Странностью человеческого устройства? Судить не берусь.

Данилов был доволен нашими отговорками, так как не в его интересах было лишаться помощников, осведомленных уже во всех германских и австрийских вопросах. Теряли лишь сами мы, так как с принятием полка связывалось производство в генералы.

Под непосредственным началом Верховного главнокомандующего, как я уже говорил, были Юго-Западный фронт (генерал Иванов, начальник штаба Алексеев) и Северо-Западный (генерал Жилинский, вскоре смененный генералом Рузским, начальник штаба Орановский). К началу военных действий, на 12—14-й день мобилизации,

оба фронта развернулись на линии: Средний Неман — Бобр — Нарев — Средняя Висла — Люблин — Холм — Владимир-Волынский — Дубно — Каменец-Подольский. Главные силы австрийцев стояли на фронте Краков — Львов — Черновицы, прикрываясь с третьего — пятого дня мобилизации массой конницы с пехотными поддержками.

В конце июля, когда армии Юго-Западного фронта были еще в периоде развертывания, австрийцы перешли в наступление, вторглись в Завислянский район и в южные районы Люблинской и Холмской губерний, а кавалерия их — во Владимир-Волынский. Планом австрийцев предусматривались сильный заслон к востоку от Львова и на границе Юго-Восточной Галиции и Буковины и нанесение главного удара на фронт Люблин — Холм, то есть в тыл всего передового театра и Северо-Западного фронта.

— Противодействовать этому плану в первую голову пришлось 3-й армии (генерал Рузский, начальник штаба В. Драгомиров, генерал-квартирмейстер М. Бонч-Бруевич) на фронте Люблин — Холм и 8-й армии (генерал Брусилов), наступавшей на сообщения главных сил австрийцев. 7 августа обе армии вступили в австрийские пределы, а 10 августа перешли в наступление и наши соседние армии: 4-я (генерал Эверт) и 5-я (генерал Плеве).

Так начались кровопролитные бои первой Галицийской битвы. В конце августа мы перешли через Сан и Днестр, овладев Стрыем и Черновицами.

Такими успехами русская армия была обязана высоким качествам русских солдат, их военной доблести, сильным офицерским кадрам, благоприятной, мало укрепленной местности, хорошему еще снабжению армии, а также и опытности Иванова и Алексеева — участников русско-японской войны.

Наши успехи могли быть еще большими, а может быть, и решающими для войны, если бы достижению их не помешало поведение генерала Рузского. Вместо того чтобы нанести сокрушительный удар 600-тысячной австрийской армии, он погнался за дешевой победой у Львова. Оставив город, австрийская армия ушла от смертельной опасности и сохранила свои силы для последующей борьбы в Галиции. Ставка же в лице Николая Николаевича, Янушкевича и Данилова в собственных интересах, а также в личных интересах Иванова и Алексеева раздула эту «победу». Было объявлено, что город был якобы

захвачен в результате «семидневных упорных боев», что он был «сильно укреплен» противником и т. п.

Между тем командир корпуса Шербачев указывал в своем донесении, что он вошел в город, уже оставленный австрийцами.

В декабре 1915 года согласно вторично поданной просьбе об отставке Рузский был уволен с милостивым рескриптом царя.

История с Львовом отчетливо характеризует «нравы» верхов дореволюционной армии.

В переменных по успехам боях Юго-Западного фронта прошла вся осень. В первой половине декабря велись успешные для нас бои на карпатских перевалах, причем мы владели уже всей Буковиной.

Менее удачные, как известно, бои происходили на Северо-Западном фронте, но и они показали высокую боевую доблесть самой армии. Неудачи обуславливались ошибками высшего управления армией и недочетами в подготовке театра военных действий.

К моим штабным обязанностям по Австро-Венгрии Данилов прибавил и все вопросы по Румынии. На меня возлагалось составление военно-политических докладов по сношению с Румынией и военная оценка местности, главным образом Северной Буковины, бывшей предметом торга между министерствами иностранных дел. Нашей целью было вовлечение Румынии в войну на стороне Антанты. Позже, весной 1916 года, Румыния требовала уже Буковину до Прута вместе с Черновицами.

В связи с моими новыми обязанностями Верховный главнокомандующий приказал командировать меня в Бухарест — отвезти от него золотой портсигар министру иностранных дел Румынии Братиану. Я должен был ехать до Черновиц по железной дороге, а дальше в автомобиле на Яссы, причем по пути взглянуть заодно на австрийские позиции в лесистых Карпатах у Дорны Ватры.

Во время этой командировки я не преминул заехать к моей знакомой Зельме в Кимполунг, куда, как я уже знал, она перед самой войной вернулась из Киева.

В Кимполунге дверь отворила мне сама Зельма, порывисто бросилась ко мне и обняла. Она познакомила меня со своей очень пожилой и очень похожей на нее матерью, которая, как я понял, ничего не знала обо мне. За чаем,

наспех выпитом ввиду того, что я сильно торопился, Зельма, волнуясь, объяснила, что она, уехав из Киева к матери, вышла здесь по ее настоянию замуж. Муж ее любит, но она свое сердце оставила в Киеве...

Прощаясь, она предложила сыграть мой любимый «Дунайский вальс», но после первых аккордов не выдержала и со слезами выбежала. «Не могу, — проговорила она, — без нот...»

Через несколько минут она вышла к автомобилю, глотая слезы. Я горячо поцеловал ее руку и пожалел, уезжая, что нарушил ее и свой покой. «When sorrow is asleep, wake it not!» * — поздно вспомнил я мудрый совет.

Много лет спустя жена как-то вытащила меня в кино посмотреть фильм «Большой вальс». Я был поражен, с какой живостью я, глядя на экран, вспомнил все свое знакомство с Зельмой. Я много раз ходил смотреть этот фильм и каждый раз думал: «Хорошо, что киносеансы даются в темноте...»

По приезде в Бухарест я отправился к нашему военному агенту — полковнику Семенову. Он нашел нужным, минуя нашего посланника Поклевского-Колелла (большого германофила), сообщить о цели моего приезда к Братиану, и тот изъявил желание принять меня у себя в министерстве на следующий день. Вечером Семенов нанял экипаж и повез меня на Киселевское шоссе — излюбленное место катаний бухарестской аристократии. Я был удивлен, с каким бесстыдством фешенебельное общество столицы и в особенности генералитет вместе со своими метрессами открыто предаются пустым развлечениям, считая это особого рода шиком во время войны. «Зря, — подумал я, — великий князь жертвует своим золотым портсигаром: никакого проку от армии, возглавляемой такими полководцами, ждать нельзя».

Однако на другой день я пошел выполнять свое поручение. Братиану принял меня очень ласково, представил приехавшему в министерство наследному принцу, а последний пригласил меня, на третий день моего пребывания в Бухаресте, к завтраку в свой вагон, в котором он должен был приехать. После этого завтрака он передал мне румынский орден величиной почти в три вершка. И это несмотря на совершенный мною перед завтраком огром-

* «Если печаль спит, не буди ее!»

ный, необычайный, вероятно, в анналах дипломатических сношений *faux pas* *. Дело в том, что после визита Братиану у меня в глазу лопнул какой-то сосудик, и глаз страшно покраснел. Придворный врач впустил в глаз капли и закрыл его черной повязкой. Прибыв после этого к наследному принцу и проходя за ним из его салона в вагон-столовую, я не заметил из-за повязки, как принц, все время перед этим державший любимую собачонку на руках, спустил ее на пол. Затворяя за собой дверь, я прищемил бедному псу хвост, и это заставило его громко завизжать. Благовоспитанный принц не показал и вида какого-либо неудовольствия. Он, однако, вспомнил об этом много позже, когда приезжал на Западный фронт, где я был назначен его сопровождать.

На обратном пути в Сарнах я застал царский поезд. Зайдя к своему товарищу по Киевскому штабу, полковнику Стеллецкому, заведующему передвижением войск Львовского района, я рассказал ему про свою миссию в Бухаресте. «Интересно, — сказал он, поглядев на полученный мной орден, — какой величины награду они дали бы тебе, если бы ты не придавил собаку!» Он объявил, что должен доложить о моем приезде своему начальнику военных сообщений генералу Ронжину. Последний, выслушав мой рассказ о выполнении поручения Верховного главнокомандующего, объявил, что о моем приезде доложит Сухомлинову, сопровождавшему царский поезд. Сухомлинов, с обычной приветливостью выслушав мой доклад, объявил, что доложит обо мне царю, приказав через час явиться к царскому поезду. Встретив меня, он объявил: «Царь повелел пригласить вас к своему завтраку. Побудьте здесь — я зайду за вами через четверть часа». Я поспешно стал соображать, что и как буду докладывать царю о приеме меня в Бухаресте.

Войдя в вагон-столовую, полный каких-то свитских генералов, я убедился, что сильно переоценил любознательность царя. Разговаривая с одним из генерал-адъютантов, царь как-то боком протянул мне свои пальцы, которых я коснулся со всей доступной мне почтительностью, и больше уже своим вниманием меня не удостаивал. Сначала я почувствовал было обиду на такое игнорирование царем попытки главнокомандующего прельстить Румы-

* Неловкость.

нию своим подарком, но затем успокоился: не много ли было бы для Румынии чести рассчитывать на большее внимание. Впрочем, взирая с почтительностью на голову монарха, я тут же усомнился, чтобы в ней могли появиться эти сложные соображения.

Какой-то придворный чин подвел меня к назначенному мне за столом месту, и затем, по данному царем общему приглашению, я сел между двумя генералами, не то членами царской фамилии, не то простыми, но важными смертными.

Боясь нарушить придворный этикет, я не сказал им ни слова за все время завтрака во внимание к их высокому положению. Так же поступили и они, вероятно, вследствие моего низкого положения. Особенно меня смущало разноцветное вино, которым лакеи периодически наполняли многочисленные стаканы моего прибора. Я не знал, был ли я обязан пить, притом просто или предварительно пожелав здоровья кому-либо из присутствующих, начиная с «августейшего» хозяина. К тому же я боялся, что, выпив, могу сделаться излишне разговорчивым. Желая скрыть смущение, я разглядывал свои тарелки, стараясь понять, золотые они или только позолоченные. Наконец, часа через полтора завтрак кончился, и царь вышел. Сухомлинов последовал за ним, подав мне знак, что я свободен. Я приветливо ему поклонился, но про себя подумал: «И на какого черта ты мне устроил эту пытку!»

Вернувшись в Барановичи, я долго еще находился под впечатлением своей поездки в Румынию. О результатах ее Янушкевич для доклада великому князю расспрашивал меня на французском языке. Вследствие такого изящного стиля нашей беседы я не счел себя вправе осквернять этот стиль рассказом о собачьем хвосте.

Янушкевич со своей стороны поделился со мной имевшимися у него сведениями о том, что к румынскому королю и Братиану ездили также посланцы и от Вильгельма, но, кажется, с миссией угрожающего характера. Братиану более расположен к нам в надежде получить Трансильванию. Не скрыл от меня Янушкевич после моего рассказа о царском завтраке, что положение Сухомлинова непрочное, особенно в думских кругах, и что вместо него, вероятно, будет Поливанов.

Словоохотливость Янушкевича меня несколько удивила, и я решил, что тут имела влияние французская речь.

Военные действия после первых успехов 1914 года стали постепенно принимать характер, менее благоприятный для нас, и привели весной 1915 года к поражению Юго-Западного фронта и потере Галиции. Причинами этого было непонимание своих задач генералами Ивановым и Рузским и крупные ошибки самой Ставки, не сумевшей по-настоящему руководить фронтами и хотя бы ликвидировать разногласия между ними.

Этим и воспользовались немцы, организовав посылку австрийцам подкреплений. Полагаю, что и Братиану, ощупывая в своем кармане привезенный мной золотой портсигар Николая Николаевича, с недоумением и нерешительностью наблюдал, как Иванов рвался из рук Ставки на юг, а Рузский стремился на север. Когда же нашим главнокомандующим как будто удавалось «договориться», сама Ставка оставалась без определенного решения, склоняясь то на сторону Иванова, то на сторону Рузского. Время терялось в выжиданиях, несмотря на то что положение нашей армии улучшилось в смысле пополнения запасами и людскими укомплектованиями.

Перед глазами Николая Николаевича поочередно появлялись, как заманчивые цели, то Вена, то Берлин, и он колебался в выборе, иллюстрируя своим положением басню о животном, которое умирает с голоду, имея две вязки сена по бокам.

Наконец, Иванову и Алексееву надоело это выжидание, и они решили на свой страх двигаться за Карпаты в Венгрию, потянув за собой упиравшегося великого князя, не желавшего оторваться от Рузского. Но тут вдруг оказалось, что для осуществления своих планов у них мало сил.

В то время как великий князь стал вязнуть вместе с Ивановым в карпатских снегах, немцы предприняли активные действия и в Восточной Пруссии и на Юго-Западном фронте.

В феврале 1915 года и Юго-Западный и Северо-Западный фронты оказались перед катастрофой. Николай Николаевич растерялся. Иванов продолжал упорствовать в Карпатах, пока к апрелю, когда Алексеев был уже назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом

вместо Рузского, не подвел под разгром Юго-Западный фронт.

Проблеском в этой мрачной зимней эпопее было занятие весной русскими крепости Перемышль и то, что Ставка впервые дала твердые задачи обоим фронтам: наступление в Карпатах, оборона на остальном протяжении.

Но оказалось, что с весной изменилась позиция Алексева: он начал проводить мысль, что наступление в Карпатах — операция второстепенная и вредная, и стал противодействовать ей, отказывался выделять для нее силы с Северо-Западного фронта.

Наступление в апреле немецкой армии Макензена закончилось разгромом Юго-Западного фронта. Иванов пытался объяснить это усталостью войск, климатом, плохим подвозом по железным дорогам, слабостью своих сил и затишьем на других фронтах.

Катастрофа на фронтах имела непосредственным результатом перемещение Ставки Верховного главнокомандующего из Барановичей в Могилев, а затем и замену Николая Николаевича самим Николаем II на посту Верховного главнокомандующего.

Не только в кругу офицеров Ставки, но и повсюду эти перемены сопровождались самыми разнообразными слухами и пересудами. Одни говорили, что со стороны царя это акт высшего самопожертвования, самоотречения, благородства чувств; другие видели в этом слепое упрямство, неожиданно и необъяснимо утвердившееся в голове человека, боявшегося соперника; третьи считали, что царь сделал этот шаг по настоянию своей «царственной» супруги, и т. п.

Решить, кто тут прав, я не мог, да и не имел необходимых данных. Что касается Николая Николаевича, то, наблюдая его деятельность в Петербурге в должности главнокомандующего войсками гвардии, близко ознакомившись с ним как Верховным главнокомандующим, я составил о нем определенное суждение, которое и считаю близким к действительности.

В предвоенный период Николай Николаевич был строгим и требовательным строевиком-кавалеристом на посту инспектора кавалерии, но без широких взглядов на роль и задачи ее в условиях современной войны. Его требовательность, часто выражавшаяся в несдержанных вы-

ходках против высоких начальников, создавала ему личных врагов. Политические убеждения его, конечно, были реакционными, но он умел делать уступки требованиям времени и обстановки. Примером может служить его участие в подготовке манифеста 17 октября, отношение к Государственной думе, критическое отношение к Сазонову и его политике.

К сугубо дурным сторонам Николая Николаевича как Верховного главнокомандующего я лично отношу слабость воли и мелочность характера, проявлявшиеся в отсутствии твердого управления фронтами, в тщеславных расчетах при освещении «заслуг» Рузского под Львовом, в перенесении личной неприязни к Сухомлинову на деятельность его как военного министра. Однако превосходство Николая Николаевича над более слабовольным и менее дальновидным царем отчетливо понимали все мы. Поэтому смена его царем была неожиданной для всех нас.

Утверждали, что Николай Николаевич и Алексеев, не говоря уже про Родзянко, долго отговаривали царя от принятия должности Верховного главнокомандующего в таких тяжелых условиях.

Как бы то ни было, 3 сентября 1915 года был объявлен манифест о смене Николая Николаевича и о роспуске думы. Увольнение получило характер неожиданности. Оно было связано с общим развалом в самодержавной России, и причинами его были в большей степени неудачи политические, чем военные. Сторонники авторитета Николая Николаевича продолжали упорно доказывать, что не катастрофы в Польше и Галиции, а нравственный перевес его над царем и над всем царским домом был настоящей причиной состоявшихся перемен.

21 сентября 1915 года Николай II вступил в должность Верховного главнокомандующего в Могилеве-на-Днепре. Начальником штаба Верховного главнокомандующего был назначен Алексеев. Получилось так, что я в первые же дни навлек на себя его неудовольствие, и он хотя и ласково, по прежнему знакомству, но серьезно выбранил меня за недостаток почтительности к «высшим сферам». Вина моя состояла в том, что я рассказал Марсенго, представителю итальянской военной миссии при Ставке и своему старому киевскому приятелю, а он разболтал остальным своим коллегам (что дошло и до Алексеева) следующий случай. В Красном Селе еще

перед войной Николай Николаевич пожаловался царю, что офицеры кавалергардского полка охотятся на зайцев в его, великого князя, заповеднике. Царь приказал кому-то найти виновных, а тот, разобрав дело, подал доклад, в шутку озаглавив его «Дело о кавалергардах его величества и о зайцах его высочества». За распространение столь нечестивого рассказа, да еще среди иностранцев, я и получил нагоняй.

Это был последний разговор с Алексеевым за мое двадцатилетнее с ним знакомство.

Когда я вышел из кабинета Алексеева, мне показалось, что он сделал мне выговор нехотя, как бы насилуя себя. Внутренний облик этого человека вырисовывается передо мной довольно отчетливо еще со дней моего пребывания в Академии Генерального штаба, где он был профессором. Это был простой и прямой человек, у которого слова не расходились с делом. Он обладал глубоким теоретическим и, главное, практическим знакомством с военным делом. Выпущенный офицером из того же Московского юнкерского училища в 1876 году в простой армейский полк, он провел в строю русско-турецкую войну, а позже русско-японскую уже генерал-квартирмейстером 3-й Маньчжурской армии. Как я уже говорил выше, он в 1909 году был назначен начальником штаба к нам в Киевский военный округ. Империалистическая война застала его командиром корпуса. Пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом он занимал с марта 1915 года, а с августа стал начальником штаба Ставки.

Алексеев обладал большой работоспособностью, был несловоохотлив и сдержан. К отрицательным сторонам его надо отнести малое знакомство с внутренней жизнью страны, в особенности с политической борьбой, слепую приверженность идее самодержавия. В частности, он не позволял себе выступать против вредного упрямства царя в делах выбора и назначения военных деятелей.

На посту начальника штаба при Верховном главнокомандующем Алексеев являл собой диаметрально противоположность Янушкевичу. Он обладал несравненно большими знаниями и лучшими деловыми качествами. Я считаю ошибкой великого князя, что он в свое время предпочел Алексееву из-за незнания им иностранных языков лентяя и невежду Янушкевича, пусть и владевшего языками.

Более склонный к административной работе, чем к боевой, Янушкевич был человеком жизнерадостного эгоистического характера. Незаменимый собеседник (по-французски) в петербургских салонах, в дамском обществе, он подкупал приветливостью, веселым нравом, открытым и откровенным признанием своей «стратегической невинности» (как его насмешливо звали в штабе). Прощаясь с работниками штаба перед отъездом на Кавказ, Янушкевич чистосердечно и справедливо признался в своей вине за наши военные неудачи первого года войны. На удалении его с поста начальника штаба настаивала Государственная дума, что и было выполнено еще до смены самого Николая Николаевича, который просил у царя назначение Янушкевича на Кавказ, не подозревая, что хлопотал опять для самого себя.

Важной виной Янушкевича было и то, что он, потворствуя Николаю Николаевичу, не держал Сухомлинова в курсе военных событий, чем лишал последнего возможности своевременно принимать меры по обеспечению армии. Впрочем, по рассказу Скалона, этот ненормальный порядок продолжался и в Могилеве при Алексееве, когда в Петербург для опубликования давались сведения, заведомо искаженные.

На должность генерал-квартирмейстера Алексеев вместо ушедшего Данилова назначил случайно подвернувшегося ему генерала Пустовойтенко, не имевшего никаких военных талантов. Очевидно, Алексеев считал, что главная работа в штабе все равно ляжет на его плечи.

Этой сменой лиц были вызваны и многие другие перемены. Николай Николаевич получил назначение заместником и главнокомандующим на Кавказский театр военных действий, куда был назначен, как сказано уже, и генерал Янушкевич.

За мое короткое пребывание в Могилеве при царе я не раз был свидетелем разговоров об активном участии в смене Николая Николаевича англо-французских представительств, исходивших почти исключительно из военных соображений, без учета революционных событий в России, активизированных полной экономической разрухой. Должен сказать, что внутренним политическим событиям в стране и возможности влияния их на военные события наши близорукие высшие штабы не уделяли никакого внимания. Я не помню, чтобы даже офицеры

Генерального штаба говорили о революционных событиях; вопросами внутренней политики интересовались только одиночки.

Мог ли при этих условиях личный состав штаба и генералитет понимать тесную зависимость боевых действий от хода революционных событий в стране? Я позволю себе в этом сильно сомневаться. Хотя зависимость эта и ощущалась, поскольку, например, забастовки на Путиловском и других заводах мешали получать на фронте оружие и боеприпасы или поскольку доходившие с улицы крики «долой царя!» грозили целости самодержавного строя.

Находясь в царской Ставке, я получил предварительный запрос штаба Западного фронта, не соглашусь ли я принять должность помощника генерал-квартирмейстера штаба с целью наладить в нем разведывательную службу. Я хорошо понимал всю трудность, если не сказать безнадежность, этой столь запоздавшей затеи. Однако я дал свое согласие, которое диктовалось обстановкой, складывавшейся в Ставке.

Царь в моих глазах был ничтожеством, неспособным на более или менее толковое руководство армией; в соединении с его упрямством, неумелым подбором советчиков, вредным влиянием жены и разных проходимцев верховное командование неминуемо должно было стать источником еще более тяжелых несчастий для страны.

Нового начальника штаба Алексеева я высоко ценил как стратега, но что сулили его военные знания при слепой преданности царю, при непонимании внутренних событий в стране? К тому же подбор им в качестве своих ближайших сотрудников таких посредственных генералов, как Пустовойтенко, Носков и другие, не мог привести ни к чему хорошему.

Работать в таком окружении мне представлялось совершенно невозможным, поэтому я и дал свое согласие на перевод в штаб Западного фронта.

Западный фронт, в штаб которого я был переведен из Ставки, был образован почти одновременно со сменой Верховного главнокомандующего. Во главе фронта стоял главнокомандующий Эверт (начальник штаба — Квещинский и генерал-квартирмейстер — мой товарищ по Генеральному штабу П. П. Лебедев).

Тогда же был образован и Северный фронт во главе с генералом Куропаткиным и произошли некоторые пе-

ремены в верхах армии. С осени 1915 года военным министром был назначен Поливанов, вскоре, впрочем, смещенный за nepорядки на Путиловском заводе Шуваевым. Последний, старый мой киевский знакомый, был в течение шести лет начальником Киевского военного училища, затем начальником дивизии и командиром 2-го Кавказского корпуса. Он был хорошим администратором и безукоризненно честным человеком, что имело большую важность для борьбы с развитым воровством в тылу.

Одновременно с этим Сухомлинов по своей просьбе был уволен в отставку, а вслед за этим согласно постановлению Государственного совета начато следствие по обвинению его и начальника главного артиллерийского управления Кузьмина-Караваева в несвоевременном и недостаточном пополнении запасов войскового снабжения.

Был ли в этом преступлении перед родиной повинен только один Сухомлинов, хотя и в сообществе Кузьмина-Караваева? Невольно задавал я себе этот вопрос и, вдумываясь в положение страны, неизменно приходил к выводу, что весь государственный организм, со всеми его министрами и деятелями всех рангов, должен был принять на себя равную ответственность за несчастья и страдания народа и его армии.

Из трех держав Антанты, вызванных Германией на бой в 1914 году, Россия хотя и была подготовлена лучше, чем когда-либо в прежние войны, все же являлась худшей по подготовке в политическом, финансовом, экономическом и военном отношениях.

В 1916 году тяжелая обстановка в стране, усиленная транспортным кризисом и произвольным выпуском бумажных денег, вызвала острый недостаток самых необходимых для населения продуктов: соли, сахара, мяса, зерна, муки, топлива. Становилось совсем ясным, что царское правительство было не способно отстоять Россию.

В стране происходило необузданное разбазаривание власть имущими всякого добра, расточительство, казнокрадство, мотовство. Насколько развелись эти пороки и на фронте, свидетельствует факт изданного еще в 1915 году повеления Верховного главнокомандующего предавать казни через повешение осужденных за мародерство.

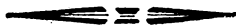
Недовольство солдат сильно увеличилось под влиянием жизни в крайне загрязненных окопах, без всякой

рефы в победу. Чтение революционных листовок и газет, призывавших к окончанию войны, естественно, в окопах почти не преследовалось — высшее начальство держалось от этого подальше.

Тяжелая общая обстановка, в которой началось широко непопулярное руководство армией царем, еще усугубилась новыми, в общем неудачными, наступательными операциями. Свидетелем некоторых из них мне пришлось быть, когда я находился в штабе Западного фронта.

Безобразно организованным наступлением, завершившим год, было, например, начатое в декабре 1915 года наступление 7-й армии. Днем с целью подготовки атаки велась бомбардировка неприятельских позиций; ночью наша артиллерия молчала, давая противнику беспрепятственно исправлять произведенные разрушения; наутро армия наступала и, конечно, неудачно. Все это делалось при недостатке снарядов, при чрезмерном удалении артиллерийских позиций и плохом наблюдении за огнем. Захваченные позиции не удерживались, и войска, захватившие их, не получали поддержки. Задачи давались неопределенные; начальники находились от войск далеко; связи с тылом и с соседями не было; донесения, как правило, были недостоверными. И это нарушение элементарных основ ведения боя имело место в армии, командующим которой состоял бывший начальник Академии Генерального штаба Щербачев, а начальником штаба армии — ее профессор Головин!

Вскоре на ряде фронтов армия стала терпеть поражения. Была отдана противнику Польша и часть Прибалтики. К расстройству армии и разрухе в тылу присоединились глубоко взволновавшие солдат и народ слухи о предательстве царицы и военного министра Сухомлинова. Плохо одетая и обутая армия голодала, дисциплина в ней пала, войска стали отказываться от наступления, началось дезертирство и братание с немцами. Промышленность расстроилась от недостатка сырья, а транспорт от отсутствия топлива. Продовольственный кризис обострился, озлобление народа против государственного строя и царского правительства охватило все слои населения.



НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

«Video meliora proboque, deteriora sequor» *.

Прежде чем перейти к воспоминаниям о последнем этапе своей службы в дореволюционной армии, хочу сказать несколько слов о том потоке событий, в который были вовлечены тогда и целые страны и беспомощно действовавшие в них отдельные люди, подчас наивно думавшие, что они управляют этими событиями или по крайней мере выполняют роль самостоятельных кузнецов, кующих свое и чужое счастье.

Одним из миллионов этих «кузнецов» я представляю себе и себя самого, каким подошел я к последнему этапу своей служебной и частной жизни в условиях дореволюционной России.

Империалистическая война приняла тогда всемирный характер. Из 59 ** независимых государств в войне участвовали 34, причем на стороне Согласия 12 государств с 980 миллионами душ. Одна только Россия послала на фронты до 16 миллионов человек, то есть около половины всех трудоспособных мужчин. Потери, понесенные ею за войну: 28 процентов боевых потерь, 27 процентов санитарных потерь и 3,5 миллиона пленными. Народное благосостояние России потерпело урон в 50,5 миллиарда руб-

* «Вижу хорошее и даже одобряю его, а следую дурному». — О в и д и й, Метаморфозы.

** Цифры были опубликованы Центральным статистическим управлением в 1925 году.

лей. Долг ее к концу войны возрос до 65 миллиардов рублей, то есть составил свыше половины национального богатства; рубль упал до 30 копеек.

В оборонной промышленности России была занята громадная двухмиллионная армия пролетариата, работавшая при чрезвычайно тяжелых условиях, впроголодь, по 10—12 часов в сутки.

Тяжелейшее положение трудящихся масс, особенно крестьянства и рабочих, громадная убыль населения, ухудшение его физического состояния, отрыв его от хозяйственной деятельности, уменьшение национального богатства — таковы были результаты войны, и не для одной только России.

Русский народ понял, что может рассчитывать лишь на самого себя. «Друзья» России — союзники — побуждали ее воевать до «победного конца». Именно эти «друзья» заставили русскую армию наступать в Восточную Пруссию на 14-й день после объявления войны, чтобы выручить Париж. Он был спасен нами ценой 20 тысяч убитых и 90 тысяч попавших в плен.

Разруха в тылу и ряд поражений на фронте в 1915 году (захват немцами Либавы, угроза Риге, взятие обратно Перемышля, Львова, овладение всеми русскими крепостями в Польше, падение Варшавы, уступка немцам Литвы) заставили буржуазию ограничить самодержавие, выдвинув правительство «доверия» (Родзянко, Гучков, Милюков, Поливанов).

Все эти события не могли не заставить меня задуматься о жизни страны и о порядках, в ней царивших.

Я не могу пожаловаться на судьбу свою, как многие и многие из моих товарищей — офицеров: она не подвела меня к сознательным годам слепым в отношении политических событий. Очевидно, тут сказалось и влияние отца, который возбуждал во мне с детства интерес к общественным явлениям, и благотельное, хотя и очень скромное, влияние лучших учителей в гимназии и в военном училище. Но, разумеется, главным моим учителем была сама жизнь, длительная служба в армии, военные и политические события, участником которых мне пришлось быть.

Наряду с этим я должен откровенно признаться, что я еще смутно понимал величие приближавшейся революции и еще меньше сознавал, как генерал старой армии,

необходимость упразднения этой армии и замены ее какой-то новой армией. Я не отдавал себе ясного отчета в том, что дореволюционная армия, в рядах которой я вырос,— армия капиталистического государства, организованная и воспитанная для задач и целей старой, дореволюционной России,— была не народной армией и не отвечала природе нового, рождающегося народного государства.

* * *

Я должен теперь вернуться несколько назад, к моменту моего приезда в Минск, чтобы показать читателю, с какими событиями моей личной службы связан последний период империалистической войны, предшествующий историческим переменам в судьбах России.

Представившись начальнику штаба Квевцинскому и главнокомандующему Эверту, я вступил в должность помощника генерал-квартирмейстера Павла Павловича Лебедева, моего товарища по службе в Главном управлении Генерального штаба. Еще в годы совместной жизни на даче в Финляндии я привык искренне уважать и любить его как хорошего человека и редкого семьянина. Мы встретились приятелями и даже разместились в смежных служебных комнатах.

Лебедев был непосредственным организатором всех операций на Западном фронте. Он весьма положительно отзывался об Эверте и Квевцинском. Последнего он обрисовал как человека прямого, искреннего, храброго (георгиевский кавалер), как деятельного, неутомимого и умного работника *. Познакомил меня Лебедев и со своими подчиненными — Шапошниковым, Петиним и другими впоследствии видными советскими работниками. С некоторыми из них мне пришлось сталкиваться и по службе в Красной Армии.

С Б. М. Шапошниковым мы много беседовали о французском и особенно австрийском генеральных штабах. О последнем я передал ему большой материал для его труда «Мозг армии».

* Я тогда и не подозревал, конечно, что мне через 4—5 лет судьба уготовит иметь противника в лице Квевцинского на Северном фронте гражданской войны. Он был тогда начальником штаба у другого близкого моего знакомого по Петербургу — генерала Миллера.

Ввиду сложности руководства разведывательной службой Лебедев освободил меня от оперативных вопросов, которые оставил за собой и по которым он был непосредственным и единственным докладчиком у начальника штаба и почти всегда вместе с Квечинским у Эверта. Лебедев возложил на меня все остальные отрасли штабной службы, а иногда поручал мне даже составление оперативных донесений в Ставку. Однако я не был в курсе того, о чем надо умалчивать или что, наоборот, требовалось подчеркивать, и часто попадал в неловкое положение.

Вообще же характер штабной работы в Ставке, на фронте и в армии был один и тот же, разница была лишь в масштабах деятельности, обусловливаемых размерами соответствующей территории и численности войск.

Наш штаб фронта был размещен в центре города Минска, в здании гимназии. Ежедневно весь состав штаба собирался к обеду в офицерском собрании на соседней улице, куда приходил и сам Эверт. Проходя по большому залу мимо присутствующих чинов штаба, он благосклонно подавал руку генералам. Садясь за стол, он делал знак протоиерею фронта, который благословлял трапезу, причем Эверт истово крестился, очевидно, памятуя, что он Эверт.

После обеда мы с Лебедевым обычно ходили пешком в городской сад или ездили за город на автомобиле, а иногда и верхом. Однажды, собираясь ехать верхом, мы предложили сопровождать нас как хорошей наезднице родственнице одного из офицеров штаба, служившей сестрой милосердия в минском польском госпитале. За городом нас встретил на автомобиле Эверт и погрозил нам пальцем. На другой день Лебедев за обедом, напомнив Эверту о нашей встрече, шутя сказал, что инициатором поездки был я. Эверт укоризненно покачал головой и заметил мне полушутя: «В военное время нельзя даже обращать внимания на женщин».

Через два дня, идя на обед, я случайно очутился в двух шагах позади Эверта, только что вышедшего из магазина. Навстречу шла какая-то нарядная красивая женщина, не то полька, не то еврейка. Эверт не только пристально на нее смотрел, когда она приближалась, но даже обернулся ей вслед и неожиданно лицом к лицу встретился со мной. «Хороша!» — смешавшись от этой не-

ожиданности, произнес он. «Ваше высокопревосходительство, — возразил я, — ведь вы же сами мне советовали не обращать внимания на женщин!»

Довольно часто появлялись над городом немецкие самолеты. Обычно они летали мирно, хотя знали, что у нас машины («фарманы» и «ньюпоры») сильно устарели и можно было без особого риска наносить нам вред. Но однажды, когда мы с Лебедевым после прогулки подъехали к штабу на автомобиле, раздался взрыв бомбы, сброшенной на штаб с немецкого аэроплана. Пострадали только автомобиль, угол штаба и я: меня сильно контузило, а маленьким осколком слегка оцарапало подбородок. От контузии недели на две я потерял слух на правое ухо.

В Минске почти не было противовоздушной обороны; на дворе штаба стояли только две пушки, стрелявшие под углом 65 градусов.

Войска были совсем не знакомы с работой авиации, представленной в России к началу войны всего лишь 260 самолетами, купленными главным образом во Франции, где обучались и наши летчики. Самолеты были с низкими боевыми возможностями — моторы 60—80 лошадиных сил, горизонтальная скорость 80 километров в час, потолок 2—3 тысячи метров. Лучшим самолетом в то время был четырехмоторный самолет типа «Илья Муромец» конструкции Сикорского. Один такой самолет был и в окрестностях Минска. Армии и корпуса обслуживались отдельными авиаотрядами в шесть — семь машин.

* * *

Непосредственно с Эвертом мне приходилось иметь дело, лишь когда он брал меня с собой в поездки по фронту. Здесь, на небольшом участке боя, он показывал себя спокойным и храбрым начальником. С его стратегическими способностями был, конечно, хорошо знаком Лебедев, но по свойственной ему сдержанности не любил о них распространяться. Внешне Эверт всегда был внимателен и приветлив. Главнокомандующим фронтом его назначили летом 1915 года с должности командующего 4-й армией; в декабре этого же года царь, будучи на Западном фронте, пожаловал Эверта званием генерал-адъютанта.

Квецинский во многом походил на Эверта, но в оперативных вопросах был более осведомлен.

У Эверта в подчинении находились 1, 2, 3, 4 и 10-я армии.

Первые отзывы Эверта о действиях своих войск (это я слышал от него лично) были неважные: войска действовали вяло, нерешительно, особенно по сравнению с немцами, энергичными до дерзости. Примерно так же оценивала эти войска и Ставка, находя, что они утратили способность к свободному маневрированию, были более склонны к боям плечо к плечу, опасаясь за свои фланги и за прорыв своего фронта, удары наносили разрозненно и одновременно, резервами пользовались неумело, достигнутые успехи не развивали, что оплачивалось большими потерями. Начальники управляли войсками издалека, по телефону. Артиллерийская стрельба часто велась не для поддержки пехоты, а бесцельно, несмотря на недостаток в снарядах. Взаимная помощь между соседями практиковалась плохо. В моральном отношении несколько лучшими качествами отличались 1-я и 10-я армии.

Эти отзывы Эверта о своих войсках производили на меня странное впечатление: они мне казались впечатлениями стороннего наблюдателя, а не начальника, ответственного за вверенные ему войска и за их боеспособность.

В отношении снабжения фронта (начальник Н. А. Данилов-Рыжий *) дело обстояло, по-видимому, несколько лучше, чем на других фронтах. Данилов упорядочил и санитарную часть, где развела большой беспорядок княгиня Щербатова, супруга адъютанта Николая Николаевича.

Непосредственными соседями Западного фронта были: Куропаткин ** на севере и Иванов на юге. В марте 1916 года Иванов был заменен на Юго-Западном фронте Брусилковым, который просил к себе начальником штаба Сухомлинова, но Алексеев настоял на кандидатуре В. Н. Клембовского, как умного, дельного и опытного человека.

* * *

Ранней весной 1916 года мне пришлось быть очевидцем наступательных операций, организованных Лебеде-

* Прозванный так в отличие от Ю. Н. Данилова-Черного.

** Куропаткин прибыл на фронт в октябре 1915 года и просил дать ему Гренадерский корпус, но в феврале 1916 года вступил в командование Северным фронтом вместо Плеве. Был, как известно, более хорошим администратором, чем полководцем.



Западный фронт. Генерал Эвэрт наблюдает за ходом наступления полка
(в центре — А. А. Самойло)

вым при непосредственном участии Квецинского и под общим руководством Эверта. Это наступление на нашем Западном фронте произвело на меня удручающее впечатление.

Как в 1914 году при объявлении войны царское правительство видело в ней средство борьбы с революцией, так в 1916 году главнокомандование искало в наступлении выход из тяжелого общего положения в стране и в армии, хотя боевая обстановка с развалившейся армией не предвещала ничего хорошего.

Наступление предполагено было начать не позже 5 марта, закончив для этого перегруппировку войск 2 марта. Однако недостаток ручных гранат и ножиц для резки проволоки (в 12-й армии), а также неналаженность довольствия войск наступление задержали. 4 марта генерал Гурко (5-я армия) донес, что выступить может лишь 8 марта. Только 6 марта Эверт дал указания армиям, как обеспечить успех атаки артиллерийской подготовкой. Само наступление было начато вяло, рядом частных ударов, без поддержки их. Северный фронт (сосед Куропаткин) содействии Западному фронту не оказал. Войска понесли большие потери, а заграничные газеты выражали изумление стойкостью русских войск, которые сдерживали сильный напор немцев, не имея возможности стрелять из орудий более чем 2—3 раза в день! Оттепель совершенно затормозила всякие действия войск. Принц Ольденбургский вместо 6 миллионов противогазов приготовил только 35 тысяч. Эверт, потеряв самообладание, занимался обвинением подчиненных...

Алексеев как начальник штаба Верховного главнокомандующего в конце марта разослал по армиям записку, в которой неудачи наступлений объяснял малой обдуманностью операций, плохой их подготовкой, несогласованностью действий между пехотой и артиллерией, незнанием войск с местностью, плохим питанием артиллерийскими снарядами, недостатком тяжелой артиллерии, а особенно плохой работой по управлению армиями.

В подражание Алексею Эверт расщедрился на приказы и телеграммы подчиненным войскам, исчерпывающе обличая их недостатки главным образом организационного характера, их плохую обученность, особенно неумение стрелять (кстати сказать, из японских винтовок, по-

лученных на втором году войны, с плохим наставлением для стрельбы, изданным Сухомлиновым!).

Вероятно, расстроившись психически от таких неудач, царь за разосланную Алексеевым записку сделал его в апреле своим генерал-адъютантом.

* * *

Крупнейшим событием 1916 года был так называемый Луцкий прорыв неприятельских позиций войсками Юго-Западного фронта. Он был вызван наступлением немцев в это время на Верденский укрепленный район во Франции, что и заставило нас прийти нашим «друзьям» на помощь.

Это отвлекало одновременно и немцев от Вердена и, как надеялось главкомандование, общественное мнение от тяжелого положения в стране. Не поддержанный ни Западным фронтом, ни Северным, прорыв, заглож, несмотря на большие результаты самого наступления: было захвачено 408 тысяч пленных солдат, 9 тысяч офицеров, 580 орудий, территория в 25 тысяч квадратных верст и вырвана из тяжелого положения Италия*.

Луцкий прорыв понудил Румынию выступить, наконец, на нашей стороне. Все это значительно сгладило наши неудачи осеннего и зимнего периода 1915 года и весеннего 1916 года, показало значение хорошей подготовки операций, а также внезапности и одновременности удара нескольких армий.

Румынская армия начала вскоре наступление на Будапешт, но была быстро разгромлена Макензеном и Фалькенгеймом. Большая часть Румынии была оккупирована германскими войсками. Так подтвердилось мое впечатление от румынских генералов, красовавшихся на Киселевском шоссе!

Румыны и русские укрепились на линии Нижнего Дуная.

Крупный успех Луцкого прорыва не должен был, как мне кажется, закрывать от нас весьма рискованного характера этой операции, которая могла бы окончиться далеко не так успешно, если бы не было обстоятельств, особо нам благоприятствовавших.

* Италия просила об этой помощи через нашего военного агента Энкеля после первой неудачи у Трентино.

Я знал Брусилова как честного человека и опытного генерала. По окончании Пажеского корпуса он служил на Кавказе в 43-м драгунском Тверском полку, был помощником начальника отдела верховой езды офицерской кавалерийской школы (начальником ее состоял Сухомлинов), затем начальником этой школы, начальником 2-й кавалерийской дивизии. С 1909 года он состоял командиром 14-го армейского корпуса, а перед войной — помощником командующего войсками Варшавского военного округа у генерала Скалона. С июля 1914 года командовал 8-й армией.

Мне остается непонятным, как мог Брусилов развивать прорыв австрийского фронта на такую глубину, которая грозила поставить его войска в катастрофическое положение в случае активного противодействия со стороны эрцгерцога Иосифа-Фердинанда или если бы Конрад не снял с фронта 20 дивизий, переброшенных против Италии?

С этой точки зрения оценивая успех Брусилова под Луцком как положительный и даже выдающийся пример искусного командования и отдавая должное самому замыслу операции (одновременное нанесение ряда сильных ударов для обмана противника относительно направления главного удара) и тщательности подготовки ее, я склонен отрицательно оценить легкомысленное, на мой взгляд, углубление прорыва без надежды завершить его разгромом противника. На содействие таких «полководцев», как Эверт и Куропаткин, явно нельзя было и рассчитывать.

К недостаткам операции надо отнести и огромные потери в людях, невольно наталкивающие на вопрос: не слишком ли легкомысленно относился Брусилов к участи людских масс, вверенных ему как полководцу?

Мне кажется также, что при оценке Луцкой операции недооценивается роль начальника штаба. Каждый офицер, знакомый с техникой штабной службы, знает, что замысел операции, основывающийся на всестороннем изучении военной обстановки, и подготовка операции после решения, принятого полководцем, есть прямая функция начальника штаба (в Луцкой операции генерал Клембовский). Проведение самой операции есть обязанность полководца, принявшего на себя полную ответственность за успех операции с момента утверждения до-

клада начальника штаба о замысле и подготовке операции.

Мне хотелось бы, справедливости ради, установить более правильный взгляд на Луцкую операцию. Нельзя приписывать успех ее, добытый в конечном счете доблестью русского солдата, только личному искусству Брусилова.

И еще одна справка, связанная с Луцкой операцией.

1 апреля 1916 года на совещании у царя Алексеев высказался против предложения Брусилова наступать через месяц на всем нашем фронте, а за ним также отрицательно высказались Эверт и Куропаткин. После начала операции Эверт долго тянул с выступлением на поддержку Брусилова, чем задержал и наступление Куропаткина.

О боевой бездарности Куропаткина я считаю лишним говорить. Это хорошо известно еще по русско-японской войне 1904—1905 годов.

Зимой 1916/17 года на Западный фронт приезжал румынский наследный принц, и я, несмотря на то что заболел инфлюэнцей, был командирован встречать и сопровождать его в войска во время раздачи нашим солдатам крестов. Этим торжеством сопровождалось столь давно желанное вступление Румынии в войну (не принесшее, как сказано, желанных результатов).

Принц вспомнил о своем первом знакомстве со мной, а я простодушно напомнил историю с его собачкой. Принц, засмеявшись, сказал, что у нее (я понял, что у него) не осталось никакого неприятного воспоминания об этом инциденте.

Конец моего пребывания в штабе Западного фронта ознаменовался сменой главнокомандующего: вместо Эверта был назначен Гурко; последнего я почти совершенно не знал.

В моей личной жизни произошли большие перемены: скоростижно умерла моя жена на даче в Финляндии. Я ездил туда на несколько дней, чтобы похоронить ее и устроить двух своих маленьких девочек. Вскоре, в декабре 1916 года, я получил производство в генералы, несмотря на правило, утвержденное царем, чтобы ни один полковник Генерального штаба не производился в генералы, не прокомандовав года полком. Такое же исклю-

чение было сделано и в отношении Скалона, состоявшего в Ставке.

К этому времени у меня созрело уже совершенно определенное убеждение в неизбежности революции.

На революцию я смотрел как на безусловную необходимость общего переустройства в стране и в армии.

Революционные события в Петрограде, падение самодержавия, победа восставшего народа были в моих глазах естественным следствием всего хода событий.

Я не скрывал своих взглядов на давно желанные перемены, поэтому и не удивился, когда приезжавшие в Минск Деникин, Духонин и Марков, бывшие со мной прежде в столь близких отношениях в штабе Киевского военного округа и в Главном управлении Генерального штаба, после Февральской революции еле «удостоили» меня рукопожатием, не проронив со мной ни одного слова. Только жена Духонина, близкая знакомая моей покойной жены по Киеву, когда я навестил ее в вагоне Духонина в его отсутствие, как и прежде, приветливо отнеслась ко мне, но ничем не обмолвилась по поводу политических событий.

Несколько позже приезжал в Минск Керенский в сопровождении Родзянко. Это единственный случай моей встречи с ним. Керенский произвел на меня отрицательное впечатление своим высокомерием, красноречием и манерой держаться. Цель его приезда осталась для меня неизвестной; судя по секретности, думаю, что дело шло о замышляемом наступлении.

1 марта Объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов издал исторический приказ № 1 о подчинении войск Объединенному Совету и своим комитетам, об установлении выборности офицеров и уничтожении их служебных привилегий.

Мой бывший товарищ по Генеральному штабу генерал Носков, тоже приехавший в Минск, сказал мне в виде дружеского предупреждения: «Ну, смотри, то ли еще будет! Заставят тебя большевики собственными руками спарывать со штанов лампасы!» На это я ему ответил: «Не беспокойся! Все равно хуже, чем было, не может быть!»

Временное правительство, не отдавая себе ясного отчета о положении вещей, решило, по требованию «союзников», предпринять летом наступление против немцев,

чтобы не дать им перебрасывать свои армии на французский фронт. Наступление, предпринятое тремя армиями Юго-Западного фронта, разумеется, провалилось и стоило огромных потерь — до 60 тысяч человек.

* * *

Неоднократная смена главнокомандующих на Западном фронте, перемена всего штабного аппарата, полная неразбериха в событиях войны, создававшая такую же сумятицу в боевых действиях и на Западном фронте, совершенно перепутавшиеся взаимоотношения между командованием и вновь созданными Советами и комитетами, введение в жизнь новых взаимоотношений между офицерами и солдатами — все это на фоне противоречивых распоряжений, слухов, пересудов создавало обстановку, мешавшую работе в штабе.

Ясно было лишь одно — на фронте русская армия окончательно развалилась, а в тылу народные массы продолжают выражать свое негодование и на Временное правительство, как ранее на царское правление.

В такой обстановке я оставил Минск, получив назначение в штаб 10-й армии в качестве генерал-квартирмейстера.

Штаб 10-й армии, куда я приехал к концу сентября, был размещен вместе с Советом и комитетом на окраине Молодечно, в мрачном и старинном здании семинарии. Подчиненное мне управление занимало самый низ здания, в полуподвальном сводчатом помещении, которое своими окнами с железными решетками выходило в большой запущенный сад с прудом. Перед семинарией пролегла широкая грунтовая дорога, покрытая глубоким слоем непролазной грязи. Впрочем, и выходить из семинарии не было никакой надобности.

Удручающее впечатление, производимое штабным помещением, усугублялось чувством полной оторванности от внешнего мира. Сведения о событиях в центре доходили лишь в виде официальных служебных документов или в ходе служебных же разговоров по прямому проводу — моих, начальника штаба, командарма или членов армейского комитета.

Армией командовал хорошо мне знакомый по Минску отличный артиллерист и умный человек генерал Ших-

линский, бывший перед этим начальником артиллерии Западного фронта. К сожалению, боевая обстановка в армии не позволила ему полностью развернуть свои незаурядные военные способности.

Начальником штаба армии был также давний мой знакомый генерал Рыльский. Но вскоре он убыл из армии, сдав эту должность мне.

Фронт 10-й армии имел важное значение в первый период войны, как крупный железнодорожный район, и на него тотчас же были направлены противником сильные удары, угрожавшие тылу всего Западного фронта. Однако острота этого положения ко времени моего приезда в армию значительно спала.

В своих должностях Шихлинский и я были утверждены армейским съездом согласно новому порядку о прохождении службы в офицерских и генеральских чинах.

Я не знал, какие отношения были между Шихлинским и председателем комитета — эсером, но у меня с последним никаких отношений не устанавливалось. Лишь один раз он спустился ко мне вниз с просьбой достать ему полное солдатское обмундирование, нужное ему, как он объяснил, в связи с вопросом об изменении формы одежды.

Только через месяц, когда этот представитель армейской власти скрылся ночью так поспешно, что оставил свою обычную одежду на произвол судьбы, я понял, что совсем другая цель заставила его обратиться ко мне с просьбой о солдатском обмундировании. Мне понравилась его предусмотрительность.

10-я армия стояла на занимаемых позициях в полном бездействии. Солдаты никакой службы не несли, большинство из них были всецело под влиянием агитационно-пропагандистской деятельности большевистских организаций, многие оставляли свои воинские части и постепенно расходились по домам.

Немцы широко этим пользовались для вывода своих войск в тыл и переброски их затем на французский фронт. По-видимому, немецкое командование опасалось агитационного воздействия революционных солдат России на моральное состояние немцев.

Военным министром у Керенского был в это время



А. А. Самойло в штабе Западного фронта (зима 1915/16 года)

Верховский *. По окончании гражданской войны, когда я был начальником управления военно-учебными заведениями, а Верховский — преподавателем Академии Генерального штаба, он мне рассказывал, что к началу октября 1917 года в армии числилось не более 2 миллионов человек в строю, в том числе в пехоте около 1,5 миллиона; около 3,5 миллиона человек в тыловых учреждениях армии; почти столько же в остальных организациях (Красного Креста, Земсоюза и др.) и около 1,5 миллиона в тылах округов — всего до 10 миллионов. Таким образом, лишь около 2 миллионов человек находились непосредственно на фронте под ружьем, а остальные их обслуживали. Эти 2 миллиона, разбросанные по всему громадному фронту, были совершенно небоеспособны. Конечно, ни о каком наступлении не могло быть и речи.

Такое же положение было и во флотах, особенно в Балтийском и Черноморском.

Большевизация армии уже на моих глазах делала большие успехи. На нашем фронте, насколько мне помнится, большевистские ячейки в ротах стали возникать еще в августе. На полковых собраниях успехом пользовались также только большевики; они же посылались представителями и на армейские собрания и комитеты, настойчиво выдвигавшие требования немедленно заключить перемирие на всех фронтах. Большое влияние в армиях имели и местные, губернские и уездные, комитеты партии.

На Западном фронте наиболее революционной была 2-я армия, а лучшую сознательность показали быстро большевизировавшиеся родные мне гренадерские полки — Екатеринбургский и особенно Ростовский.

По словам Верховского, перед его уходом в отставку, в октябре, весь фронт был готов к свержению правительства Керенского. Буржуазии, с поддерживавшими ее генералами, оставалось рассчитывать только на казачьи районы (Кубань, Терек, Дон, Астрахань). Но генералы, в том числе мои знакомые: Алексеев, Духонин, Брусилов, Рузский и другие, все еще пытались выступить за поддержание «порядка». Большое значение при этом они

* Был женат на сестре Керенского; ушел в отставку перед самым Октябрем.

придавали чехословацким частям, которые Алексеев стремился передвинуть на Дон. Духонин, действуя в том же направлении, пытался очистить Дон от стоящих там «распропагандированных» запасных батальонов. Бьюкенен со своей стороны ухаживал за донскими казаками и за Калединым, которого намечал новым диктатором. Дон и Кубань, таким образом, становились «русской Вандеей» *.

Так складывалось для реакции начало ее стараний опереться на иностранную интервенцию. Центральные районы страны, являясь более промышленными, все более и более определялись как база революции, а окраины — как районы контрреволюционные. Отсюда брала начало последовательная, но исторически уже обреченная политика Алексеева и Брусилова изолировать фронт от тыла. С октября Духонин направлял казачьи и надежные кавалерийские части в Москву, в Могилев (Ставку), Киев, Смоленск, как ударные контрреволюционные силы.

Такой же ударной силой в Петрограде для действий против Смольного и для защиты Зимнего дворца были юнкера военных училищ.

К нам, в Молодечно, известия о событиях в стране приходили в отрывочном виде, но исторический выстрел «Авроры» прозвучал и для нас...

Через несколько дней после 7 ноября я получил распоряжение образованного революцией Советского правительства оставить штаб 10-й армии и отправиться в Брест в качестве председателя военной комиссии по перемирию с немцами.

Так окончилось мое скромное участие в первой мировой войне 1914—1918 годов.

Разумеется, я не мог тогда и предполагать, что народ моей родной страны найдет тот выход из кошмара этой войны, который он нашел. Для меня тогда путь народа к этой победе был еще далеко не ясен. Лишь в зародыше, где-то в глубине моих смутных стремлений, я чувствовал, что выход будет найден.

Я горжусь тем, что не обманулся в своей надежде на революцию. И можно ли этим не гордиться, видя в настоящее время, что Великая Октябрьская революция пре-

* Во время французской буржуазной революции конца XVIII века провинция Вандея была очагом контрреволюции.

вратилась в оплот освободительного движения всего человечества и уничтожения капиталистического рабства!

Можно ли не гордиться, что русский народ и его рабочий класс выдвинули ту партию, которой 7 ноября 1917 года начата не только новая полоса в истории России, но и новая эпоха в исторической судьбе всего человечества.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НА СЛУЖБЕ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 1-я

БРЕСТ-ЛИТОВСКИЕ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

«Quorum pars parva fui» *.

В конце ноября русский главнокомандующий Крыленко запросил по радио верховное командование Германии, согласно ли оно на заключение мира. После утвердительного ответа русская делегация из Двинска поехала для переговоров в Брест-Литовск. Командующий Восточным фронтом принц Леопольд Баварский приказал заключить перемирие и начать мирные переговоры, на ведение которых уполномочил своего начальника штаба генерала Гофмана. Участие в переговорах приняли представители от Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. В состав российской делегации входили Иоффе, Каменев, Биценко, ряд других членов, в том числе несколько офицеров Генерального штаба, и капитан 2 ранга Альтфатер, состоявший в военно-морском управлении при Ставке в Могилеве.

Получив неожиданное приказание выехать в Брест в составе делегации по мирным переговорам с немцами, я был предоставлен собственным силам, так как не имел никаких инструкций по предстоящей мне деятельности.

В приказании указывались день и пункт немецкой позиции перед селением Барановичи, где меня встретит немецкий офицер, распоряжением которого я и буду препровожден в Брест — в главную квартиру германского

* «В этом и я играл небольшую роль». — Вергилий, Элегии.

Восточного фронта — для выполнения возлагаемой на меня задачи.

Это назначение, переданное мне Шихлинским, было столь же неожиданным для него, как и для меня. Ни он, ни я не были осведомлены, почему такое поручение давалось именно мне.

Одно было для меня ясно: до получения этого приказа я был генералом старой армии, состоял на должности в этой армии, а с этого момента я порываю связи со старой армией и перехожу на военную службу Советской власти выполнять какие-то мне еще неизвестные обязанности.

Так просто, даже пока без всяких внешних перемен, произошел переход мой с 25-летней прежней командирской службы в старой армии на службу Советской власти. У других моих товарищей, перешедших на сторону Советов, был какой-то внешний разрыв: они были предварительно демобилизованы из дореволюционной армии, прежде чем вступить на советскую службу. Ничего подобного у меня не было: я не могу у себя отметить даже часового промежутка, когда бы я был между двумя армиями. Вот почему, когда спустя четверть века появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года, награждавший меня орденом Ленина «за 50-летнюю непрерывную военную службу на командных должностях», эти слова были восприняты мной как вполне естественные и справедливые.

Переход мой на службу Советской власти вполне отвечал и моим политическим убеждениям. Надо ли, однако, говорить о том, как относились к подобным поступкам враги советского строя? Годом позже прокурор Северной области Добровольский доказывал*, что моя служба Советской власти более преступна, чем деятельность любого коммуниста, именно как человека, примкнувшего к «преступной партии большевиков» просто потому, что в порядке борьбы я поставил ставку на Советскую власть! С другой стороны, столь же естественным для меня было, несколькими годами позже, сообщение мне командующим войсками Московского военного округа,

* См. «Архив русской революции», ч. III, изд. Гессена, Берлин, 1922, стр. 59.

что против моего оставления в Красной Армии не встречается никаких возражений «ни сверху, ни снизу»...

По точному расчету времени я выехал из Молодечно в Минск, где был принят главнокомандующим, а оттуда по железной дороге в направлении к Барановичам. От конечной станции я был подвезен на повозке до назначенного пункта нашей позиции, где меня и встретил немецкий офицер.

По пути я мог воочию наблюдать крайнее разложение армии после понесенных потерь, людских и материальных. Видел я и наши отвратительно грязные окопы. Пока я ожидал немецкого офицера, несколько опоздавшего, солдаты накормили меня из своего котла обедом, который можно было есть только после продолжительного голодания.

Германский офицер посадил меня в свои сани, завязал мне глаза и в таком виде привез меня в свой окоп на немецкой позиции, где мне развязали глаза. Я долго не мог поверить, что две маленькие комнатки с деревянным полом, оклеенные светлыми обоями, с занавесками на окнах, с картинками на стенах и с цветочками в горшках были обычным жильем рядового офицера на позиции. Хозяин накормил меня хорошим, но простым обедом, даже с вином, и когда я отдохнул, повез меня далее в Барановичи, откуда поезд должен был доставить меня в Брест. В Барановичах в офицерском собрании мне был предложен еще обед с вином вроде шампанского.

Ночь провел я в поезде, а наутро 6 декабря прибыл в Брест и был водворен в один из блоков (двухэтажных каменных флигелей, стоявших по бокам улицы), отведенных для жилья русской делегации, прибывшей за день до меня. Я представился председателю ее — А. А. Иоффе, познакомился с членами нашей делегации и с подчиненными мне другими офицерами комиссии по перемирию. Велико было мое изумление, когда среди членов делегации я встретил старого знакомого по Московскому университету — Михаила Николаевича Покровского. Он стал с тех пор известным ученым-историком. Мы узнали друг друга и почти не расставались за все пребывание в Бресте: вместе ходили в офицерское собрание пить утренний чай, завтракать, обедать, а после обеда гуляли по отведенным для наших прогулок местам.

В первый же день за завтраком я был представлен генералу Гофману — начальнику гарнизона Бреста — и начальнику штаба Восточного фронта, а также офицерам штаба. Среди последних, как я заметил, важную роль играл майор генерального штаба Бринкман — начальник оперативного отделения. Остальные офицеры были, по видимому, без значительных ролей.

К нам приставили особого офицера, хорошо владевшего русским языком; он окружал нас самыми разнообразными услугами, в которых мы не могли не нуждаться в незнакомом городе-крепости. Ему, конечно, было поручено и следить за каждым из нас, членов делегации, в которых Гофман видел лишь агитаторов.

Надо сказать, что о Гофмане я уже давно составил себе совершенно определенное представление как об одном из наиболее даровитых немецких военачальников. Подобно тому как в австрийской армии я привык считать центральной фигурой начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, так у немцев за последнее время мое внимание сосредоточивалось на деятельности и личности генерала Гофмана. Как начальник штаба Восточного (русского) фронта он в моих глазах превосходил и Фалькенгайна (начальника штаба верховного главнокомандующего) и всех других немецких стратегов, не исключая Гинденбурга и Людендорфа, своим умением правильно оценивать обстановку. Все это настраивало меня внимательно присматриваться к Гофману по приезде в Брест.

Охотно разговаривая со мной как с генералом, а также, думается мне, поддавшись небольшой лести по его адресу, он довольно откровенно (не опасаясь, очевидно, нас, как уже бывших противников) по разным случаям высказывал свои суждения не только о русских операциях, но и о действиях центральных держав.

Прожив около полугода в России и будучи в течение нескольких лет начальником русского отдела в прусском генеральном штабе (русско-японскую войну он провел в прикомандировании к японской армии), Гофман был хорошо знаком с нашей армией и сносно, хотя и не свободно, говорил по-русски. В беседах со мной он всегда переходил с немецкого на русский язык; я объяснял это его желанием под предлогом стеснения в русской терминологии менее точно высказывать свои мысли. Он с раз-

дражением говорил об отсутствии должной решительности у германского верховного командования по отношению к России, об ослаблении в сентябре французского фронта на несколько корпусов, использованных не для наступления с австрийцами по правому берегу Вислы с целью отрезать русские армии в Польше, а для поддержки Гинденбурга в его бесполезных действиях против Ренненкампа. Между тем уход этих корпусов дал французам возможность оправиться и произвести «чудо на Марне», которое в сущности и явилось переломным моментом войны в пользу Антанты.

Не выправили дела и вновь сформированные корпуса, к тому же снова разделенные поровну между французским и русским фронтами, не принося пользы ни первому (в сражениях у Ипра), ни второму (для взятия Варшавы).

Столь же бесполезно, по мнению Гофмана, немецкое верховное командование провело 1915 год, используя громадные силы (чуть не 30 корпусов) на выталкивание русских из Галиции и бесцельные, хотя и успешные, бои против 10-й армии вместо того, чтобы решительным наступлением на Вильно и Гродно сразу отрезать русские армии.

Я охотно согласился с Гофманом и даже привел в подтверждение слова профессора Гейсмана из Академии Генерального штаба, что оправданы лишь те бои, которые являются «целесообразными» с точки зрения политики и стратегии и «планосообразными» с точки зрения тактической.

— А что, Гейсман был немец? — не без внутреннего удовольствия спросил меня Гофман, несомненно полагая, что дельные мысли могут родиться только в немецкой голове.

С неменьшей горечью Гофман поведал об известных нам и без этого откровения более свежих неудачах немцев в 1916 и 1917 годах на французском фронте, когда крон-принц в течение нескольких месяцев с упорством, достойным лучшего применения, заставлял своих солдат нести невознагражденные потери под Верденом, принуждая свои войска обращаться к обороне на Сомме и против Брусилова — Клембовского на русском фронте. Занятно было при этом смотреть на Гофмана, этого надменного тевтона, вынужденного признать, что немцам были

дером военной партии, он был идейным выразителем и взглядов Вильгельма на славянство как на навоз для удобрения германской культуры. Позднее Гофман выступил с книгой «Der Krieg der versäumten Gelegenheiten» (1923 год) — «Война упущенных возможностей». Он сожалел в ней, что главный удар в начале войны был направлен не на Россию с целью полного ее разгрома (должно быть, поэтому он и пытался в Бресте наверстать упущенное).

Зная, что в планы русского Генерального штаба не входило отступать в глубь страны, Гофман развивал мысль, что, действуя вместе с австрийцами, немцам удалось бы нанести России сокрушительный удар, избежать вовлечения в войну Англии, Италии, Румынии и Америки. Эти расчеты на успех он строил на малой подготовленности к войне русских, на революционном настроении народа, на малой авторитетности русского командования. Его взгляды были типичным продуктом немецкой военщины. В них он вместе с австрийским Конрадом был последователем плана Мольтке Старшего, противником принятого Вильгельмом плана Мольтке Младшего и видоизмененного плана Шлифена *.

Надо сказать, что я, несмотря на высокую оценку стратегических способностей Гофмана, невзлюбил его с первого взгляда. Я возненавидел его, когда, представляясь ему, был встречен возгласом:

— А! Значит, вы назначены замещать бедного Скалона, которого уходили ваши большевики! Не вынес, бедняга, позора своей страны! Крепитесь и вы!

— Я не давал вам повода беспокоиться обо мне, — насмешливо ответил я.

Два слова по поводу этих возгласов Гофмана, сделавшихся мне понятными лишь к концу дня, после разговора с приставленным к нам офицером.

Оказалось, что несколько дней назад в Брест руководить комиссией по перемирию приехал Скалон. Через два — три дня по приезде он собрал совещание с немцами о порядке перемирия. Затем, сославшись на то, что

* Из-за непризнания Версальского мира Гофман ушел в 1919 году в отставку. Не оставляя попыток организовать интернациональный поход на Советскую Россию, он служил живой связью антисоветской политики германских и английских правящих кругов.

ему понадобилась какая-то карта, Скалон поднялся за ней в свою комнату и... назад не вернулся. Пришедшие за ним нашли его на полу мертвым. Трагическое происшествие было совершенно определенным образом истолковано Гофманом, а следовательно, и всеми немцами в Бресте. Менее ясным оно было для меня: мне представлялась необъяснимой фантазия моего Владимира Евстафьевича — выбрать такое место, время и даже момент для того, чтобы покончить счеты с «позором страны».

Найдя же среди бумаг Скалона, переданных мне вместе с комнатой, где он жил, письмо, полученное в день смерти от какого-то приятеля с сообщением о развратном поведении жены Скалона, из-за которой он столько выстрадал, я, конечно, остался при особом мнении относительно причины трагедии. Весь штаб фронта во главе с самим Леопольдом Баварским подчеркнуто торжественно похоронил бедного Скалона как павшего «жествой позора» своей родины.

Кроме министров иностранных дел: германского статс-секретаря Кюльмана и австрийского — графа Чернина, о которых речь будет ниже, на стороне наших противников не было лиц, достойных воспоминаний: все и всё поглощалось всеобъемлющей фигурой Гофмана.

Во главе российской делегации в первую половину переговоров стоял Иоффе, во вторую — Троцкий.

Я глубоко обязан моему ментору, Михаилу Николаевичу Покровскому, за то, что он помог мне ориентироваться в ходе переговоров и правильно оценивать их политическое значение, без чего я, вероятно, впал бы в крупные ошибки.

В первый период, когда переговорами руководил Иоффе, они, по моему впечатлению, носили чисто дипломатический, корректный характер и, видимо, клонились к заключению мира как цели, поставленной нашей делегации. Лишь позже от Покровского я узнал, что Иоффе был сторонником Троцкого и не сочувствовал заключению мира.

С самого начала российская делегация потребовала полной гласности переговоров и передачи «ко всем» призыва окончить войну перемирием, а затем миром.

Гофман внес в это поправку: поскольку русские не имеют полномочий от Антанты говорить о мире, следует

вести переговоры лишь о сепаратном мире. Он соглашался на допуск русских в немецкие окопы, но под контролем и при условии воспрещения агитационной деятельности и распространения большевистской литературы среди солдат и вообще в Германии.

Требование нашей делегации эвакуировать Ригу и Моонзундские острова Гофман резко отклонил, равно как и требование прекратить переброску на французский фронт тех войск, переброска которых начата до переговоров.

Говоря о мире, Иоффе предполагал, что немцы откажутся от Польши, Литвы и Курляндии, отойдя на старые границы. Между тем немцы (Гофман и особенно Кюльман) считали, что вопрос об этих государствах не относится к области аннексии, поскольку эти страны решили отделиться от России и передать дело урегулирования отношений с ней в руки центральных государств. Возражал сначала и представитель Болгарии, указывая, что ей за союз с Германией обещана часть сербских областей и Добруджа. Однако Гофман позже говорил (по-моему, притворно), что он не очень настаивал на Польше и даже на Литве и Курляндии.

Вообще все переговоры в первую их половину были по преимуществу экономического содержания и носили весьма деловой характер.

Все участники совещаний обедали в общем зале собрания и даже поддерживали между собой внешне приятельские отношения. Некоторым забавным диссонансом было поведение эсерки (впоследствии члена компартии) Биценко. В ней Гофман видел даму, за которой ему за своим столом надлежало, как хозяину и кавалеру, ухаживать. Она же далеко не по-дамски отвечала на все его любезности, что, впрочем, не обескураживало Гофмана, обращавшего выходки Биценко в шутку и продолжавшего с ней свой подчеркнуто галантный тон.

Весьма корректным в частном общении было отношение Гофмана к Иоффе. Очень внимательным он был ко мне, очевидно, как к такому же генералу, как и он сам, тем более что считал меня, несомненно, жертвой большевиков (хотя пока еще живой). Таким же предпочтительным вниманием Гофмана пользовался и Михаил Нико-

лаевич Покровский, внушавший ему своей ученостью большое уважение, несмотря на партийность *.

С Покровским меня еще более сблизил совместная поездка за город, в резиденцию принца Леопольда. Мы направлялись туда с официальным визитом как представители российской делегации. Предполагаю, что выбор пал на нас по указанию Гофмана, считавшего нас наиболее достойными предстать перед лицом его высочества. Однако я не сумел с должным почтением отнестись к оказанной мне Гофманом чести. Ввиду столь официального характера визита я нашел для себя неудобным ехать, не сняв с себя уничтоженные Советской властью внешние отличия своего генеральского звания (погоны, ордена, лампасы и пр.). Напрасно Гофман, усматривая в моем намерении недостаток почтительности к его высочеству, уговаривал меня отложить эту операцию до возвращения с визита (в этом поддерживал Гофмана, к его удивлению, даже Иоффе). Ссылаясь на свою четвертьвековую привычку к точному исполнению приказов, я настоял на своем: снял погоны, не надел свои 22 ордена — российских и иностранных, собственноручно спорол генеральские лампасы. Сознывая свой скверный характер, я рад был сделать это назло Гофману и тем показать, что я не такая уж безвольная жертва в руках большевиков! Михаил Николаевич, присутствуя при этом, только посмеивался в бороду.

В назначенный день к нашему блоку была подана шикарная придворная карета с гербами. В нее сел Покровский, за ним влез и я в своем общипанном виде, очевидно, все же довольно жалком, потому что Покровский полушутливо сказал:

— Не горюйте, Александр Александрович, сейчас это необходимо. Поверьте мне, придет время, и мы вернем вам и ваши чины и ордена! **

* Покровский, вернувшийся перед Октябрем в Россию из-за границы, где читал свои лекции по истории, был уже крупным русским ученым историком-марксистом, автором многотомной «Русской истории с древнейших времен».

** Кстати, ордена эти после такого пренебрежения к ним с моей стороны постигла печальная судьба. В Москве в 1919 году они были обменены моей женой Анной Сергеевной на пуд белой муки. А среди них ведь были и золотые!

Представившись его высочеству и ответив на несколько вопросов (пожалуй, эти вопросы и наш Николай II сумел бы не хуже составить!), мы почтительно откланялись и вернулись к себе в той же карете. Леопольд, по отзыву Гофмана и его офицеров, был умным и опытным военачальником. На меня лично он такого впечатления не произвел.

Меня не раз поражала глубокая осведомленность некоторых членов нашей делегации в германских и особенно австрийских делах (преимущественно экономического характера). Не менее, однако, меня удивило резкое обращение Троцкого с одним из членов делегации (К. Р.) лишь за то, что последний сделал выговор в начальственных тонах немецкому шоферу, опоздавшему подать нам для обычной прогулки автомобиль. Шофер пожаловался Гофману, а тот выразил неудовольствие Троцкому. Инцидент был неприятен и для нас, так как Троцкий отменил наши прогулки на автомобиле.

Приятное впечатление производил на меня как внешностью, так и рассудительностью Леонид Борисович Красин. Покровский о нем отзывался как о старом большевике и крупном государственном деятеле — экономисте и дипломате. К сожалению, Красин пробыл в Бресте лишь пару дней. После одного экономического совещания, на котором немецкий оппонент возразил Красину очень длинной, но мало содержательной речью, Леонид Борисович шутя сказал мне: «Что, если на мои доводы немец еще раз разразится такой длинной речью?!» Я тоже шутя посоветовал Красину использовать ответ спартанского царя Клеомена при таком же случае самосским послам: «Я не помню уже начала вашей речи, — сказал Клеомен, — а потому не могу понять середины ее; что же касается до конца ее, то я с ним не согласен».

Перед сменой глав нашей делегации и в ожидании мнения Антанты о мире был десятидневный перерыв переговоров, и Гофман разрешил свозить желающих офицеров в Варшаву. Начальник оперативного отделения, на которого была возложена организация поездки, с немецкой грубой шуткой сказал мне, что каждому из офицеров в Варшаве будет «подарено по хорошенькой польке». При этих словах мне по ассоциации пришла мысль о «да-найских дарах», и я ответил, что в Варшаву поеду с удовольствием, но от «подарка» отказываюсь. «Ну, так мы

его отдадим вашему помощнику (капитану Л-у)», — невозмутимо заметил немец.

Через несколько дней по возвращении из Варшавы на судьбе Л-го я увидел, как предусмотрительно я поступил, вспомнив Вергилиевы слова: «Timeo Danaos et dona ferentes». А еще противники классического образования утверждают, что оно ни на что не нужно!

С переменой главы делегации резко изменились и отношения с немцами. Мы стали встречаться с ними только на совместных заседаниях, так как перестали ходить в офицерское собрание, а довольствовались у себя в блоке, в котором жили.

На заседаниях Троцкий выступал всегда с большой горячностью, Гофман не оставался в долгу, и полемика между ними часто принимала очень острый характер. Гофман обычно вскакивал с места и со злобной физиономией принимался за свои возражения, начиная их выкриком: «Ich protestiere!..**», часто даже ударяя рукой по столу. Сначала такие нападки на немцев мне, естественно, приходились по сердцу, но Покровский мне разъяснил, насколько они были опасны для переговоров о мире.

Отдавая себе отчет о степени разложения русской армии и невозможности с ее стороны какого-либо отпора в случае наступления немцев, я ясно сознавал опасность потерять колоссальное военное имущество на огромнейшем русском фронте, не говоря уже о потере громадных территорий. Несколько раз я говорил об этом на наших домашних совещаниях членов делегации, но каждый раз выслушивался Троцким с явной снисходительностью к моим непрошенным опасениям. Его собственное поведение на общих заседаниях с немцами явно клонилось к разрыву с ними. При этом для меня было непонятно какое-то пассивное отношение к позиции Троцкого со стороны остальных полномочных членов делегации, не исключая и Покровского. (Я не имел даже совещательного голоса.) Не ясна была мне и роль ряда товарищей, появлявшихся в Бресте и затем бесследно исчезавших (самого Иоффе, Красина, Биценко и других).

* «Боюсь данайцев (греков), даже когда они приносят дары». — Вергилий, Энеида.

** «Протестую!..»

Выносить терпеливо наглѡе поведение Гофмана, как я понимаю теперь, можно было лишь во имя великой цели переговоров — заключения мира.

Итак, переговоры продолжались, выливаясь главным образом в ораторские поединки между Троцким и Гофманом, в которых время от времени участвовали Чернин и Кюльман.

Представители срединных держав, бывшие в Бресте, преследовали в ходе переговоров различные цели. Секретарь по иностранным делам Кюльман, представлявший правительство Германии, нес ответственность за заключение мира перед рейхсканцлером. Он был истым представителем германского империализма. Болгарию представляли министр Тютчев и генерал Ганчев; первый — недалекий и упрямый, второй — более рассудительный. Позже приехал министр-президент Радославов. От Турции участвовал великий визирь Талаат.

Австро-Венгрия, у которой, начиная с самого императора Карла, была громадная тяга к миру, представлял граф Чернин — умный и опытный политик и убежденный сторонник мира. Чернин исходил из того, что война ведет к гибели Австро-Венгрии и что мир для Германии даже выгоднее, чем для Антанты. Чернин был готов идти на мир с большевиками без аннексий и контрибуций, тем более что он знал о пессимистических взглядах Людендорфа, Тирпица и значительной части германского рейхстага на исход войны. Колебался лишь один Вильгельм, находившийся под влиянием военных кругов.

Германские офицеры мне осторожно передавали, что Чернин принимал ряд самостоятельных мер, чтобы обеспечить заключение мира в Бресте, но встретил решительное противодействие Людендорфа, считавшего необходимой победу как преддверие к почетному для Германии миру. Мешал миру и французский маршал Фош, также требовавший сначала победы для себя. Наконец, противодействие миру было и со стороны шовинистических кругов Германии, стремившихся к присоединению к Германии Бельгии и Северной Франции, а также к захвату всех английских колоний.

Чернин не скрывал своего мнения, что в Бресте надо было идти на предложение Ленина о мире, тем более что дальновидно не верил в слабость Советской власти, которая, по его мнению, была сильна способными и воле-

выми людьми, воодушевленными стремлениями создать свою крепкую армию.

Все эти разногласия отражались на ходе мирных переговоров. В частности, они имели прямое отношение к судьбе Литвы и Курляндии, занятых германскими войсками. Немцы в лице Гофмана, Кюльмана и дирижировавшего ими Вильгельма претендовали на промышленность, сырье и запасы продовольствия этих областей. Чернин вынужден был присоединиться к своим партнерам. Его интересовал больше вопрос об Украине, как о своей непосредственной соседке. Чернин высказывался в Бресте в пользу самоопределения Украины и вошел в сепаратные переговоры с прибывшей в Брест украинской делегацией Голубовича в надежде получить от нее хлеб для голодающей Австро-Венгрии.

Делегация Голубовича, состоявшая из легкомысленной молодежи, политически враждебной большевистской партии, заняла такое же враждебное положение по отношению к российской делегации. Сама эта делегация была неправомочной; она представляла собой раду, уже свергнутую народом, установившим Советскую власть.

Гофман и Кюльман очень сочувствовали этой делегации, а Чернин боялся, как бы она не потребовала политических прав для Буковины и Восточной Галиции.

Естественно, что я с большим любопытством присматривался к украинской делегации, избегая, конечно, входить с ней в какие-либо сношения из-за ее враждебного отношения к российской делегации. Покровский охарактеризовал этих украинцев как национал-шовинистов и мелкобуржуазных политиканов, ставших у власти в Киеве после Февральской революции 1917 года. Политической программой их было образование буржуазной самостоятельности Украины. Во время брестских переговоров украинцы заключили сепаратный мир с немцами через голлову советской делегации.

В Бресте выяснилось, что войну не может продолжать и Румыния, но за мир с ней немцы требовали низложения короля Фердинанда, тяжелых для Румынии концессий на все виды ее природных богатств и длительной оккупации ее своими войсками. Чернин старался все эти требования смягчить, хотя и сделал уступку в пользу Болгарии, но стоял за сохранение для румын выхода к морю через Констанцу.

Однако сам Чернин после Бреста у власти не остался, так как был принесен Карлом в жертву Вильгельму.

Мирные переговоры, затягивавшиеся словопрениями, были закончены предъявлением Троцкому по приказанию Вильгельма 24-часового ультиматума, в ответ на который Троцкий 10 февраля объявил свою формулу «ни мира, ни войны» и свое решение уехать из Бреста.

Предательская роль Трсецкого на брестских переговорах слишком хорошо известна советским людям, чтобы надо было о ней говорить более подробно. Его роль исчерпывающе характеризуется высказыванием Ленина о том, что Троцкий помог немецкому империализму, отдав ему миллионные богатства — пушки и снаряды.

Мирные переговоры советской делегации были ознаменованы двумя обращениями Советского правительства к державам Антанты с предложением мира. Однако эти державы не только оставили советские обращения без ответа, но вынесли решение о помощи нашей отечественной контрреволюции на Украине, на Дону, в Финляндии, в Сибири и на Кавказе и о разделе между державами Антанты влияния на юге России — на Украине, Кавказе, в Крыму и в Бессарабии.

Отвергая предложения о мире, державы Антанты развязали руки германским капиталистам, навязавшим Советской республике тяжелейшие условия мира, хотя раньше германское правительство соглашалось на мир за уступку ему 150 тысяч квадратных километров территории, оккупированной немцами на Украине, в Польше и в Прибалтике.

Антисоветская политика Антанты благоприятствовала заключению мира Германии с Украинской радой, которая выговаривала себе при этом помощь немецких войск против большевиков. Гофман, конечно, охотно согласился оказать эту помощь, тем более за доставку Германии хлеба. Истинными целями его были: отторгнуть украинские земли, ограничить распространение Октябрьской революции, обеспечить Германии путь к кавказской нефти и сырью, а также выгодное стратегическое положение.

Этот мир с Украиной сопровождался ультиматумом Кюльмана к российской делегации: аннексия или война! Ленин вынужден был соглашаться и на это, ибо начало военных действий Германией вело к оккупации нашей страны, грозило неисчислимыми бедствиями для народа.

Троцкий, сорвав переговоры о мире, назначил, как сказано, отъезд делегации из Бреста на 10 февраля. А уже 18 февраля 30 немецких дивизий, развернувшихся на протяжении от Балтийского до Черного моря, заняли Лифляндию и Курляндию и, захватывая на своем пути огромные материальные ценности, оставленные русской армией, начали наступление против Советской республики с непосредственной целью свержения Советской власти. Половина этих дивизий двинулась через Нарву и Псков на Петроград.

Несмотря на то что Ленин принял ультиматум, наступление немцев продолжалось. Декретом Совнаркома от 21 февраля республика была объявлена в опасности. 22 февраля немцы выдвинули новые, гораздо более тяжелые условия для перемирия.

Наконец, после того как 23 февраля молодая Красная Армия нанесла поражение немцам под Псковом и Нарвой, они 3 марта подписали мир. В новой, присланной в Брест советской делегации, возглавленной Сокольниковым, я не участвовал.

16 марта IV Всероссийским съездом Советов, а через два дня и германским рейхстагом этот мирный договор был ратифицирован. Он, однако, не положил конца дальнейшим захватам и притязаниям Германии. Она предложила Советской России немедленно демобилизовать и разоружить армию, уничтожить флот, признать договор с Украинской радой. И этими наглыми требованиями дело не кончилось. 13 августа Германия потребовала заключить с ней добавочный договор — о выплате ей полутора миллиардов рублей золотом, а также заключить договоры с Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Однако Германия нарушила и этот договор, захватив Дон и Крым.

Только 13 ноября 1918 года, после окончания войны Антантой и революции в Германии, ВЦИК смог аннулировать Брестский договор с его грабительскими условиями.

В заключение несколько слов о последних днях, проведенных мной в Бресте.

10 февраля, после отъезда из Бреста российской делегации, я, по своей должности председателя военной комиссии по перемирию, остался в Бресте один с моим телеграфистом-юзистом и его аппаратом. В офицерском

собрании, куда я был приглашен столоваться, на меня не обращали уже никакого внимания. Не стеснясь моего присутствия, немцы говорили о предполагаемом наступлении против Советской России.

14 февраля после обеда Гофман подошел ко мне вместе с начальником оперативного отделения и обратился со следующим заявлением: «Троцкий объявил: ни война, ни мир, поэтому отпадает необходимость и в перемирии, и в вашем присутствии в Бресте. Завтра, в десять часов, в ваше распоряжение я предоставляю экстренный поезд, который и доставит вас к нейтральной полосе между фронтами». Сказав это, Гофман отошел. Желая показать, что слова генерала меня мало поразили, я в шутовском тоне сказал начальнику оперативного отделения: «А я только что вчера отдал в пошивку штаны!» Затем, не изменяя тона, спросил, будут ли мне опять завязывать глаза? Немец засмеялся и ответил, что доложит Гофману, а он, наверное, разрешит глаз не завязывать.

Видя, что немец разговаривает охотно, я спросил у него, куда делись наши офицеры Генерального штаба, бывшие в составе делегации.

— Германское правительство не могло отказать в их просьбе остаться в Германии, раз им их офицерская честь и присяга царю не позволяют перейти на сторону большевиков, — ответил немец с явным желанием уязвить меня.

Я сказал, что о присяге царю говорить не приходится, поскольку он сам отрекся от престола, а понятия об офицерской чести могут быть разные: мне, например, как русскому, моя офицерская честь не позволяет оторваться от своего народа и русской земли.

На этом разговор наш окончился, и я отправился, чтобы заняться несложными сборами в обратный путь.

Однако разговор с немцем и сообщение об оставшихся у них наших офицерах долго не давали мне заснуть в эту последнюю ночь в Бресте.

Из головы не выходили некогда наизусть заученные слова Тараса Бульбы, сказанные своим казакам о святости русского товарищества и братства. Неужели, думал я его мыслями, так легко русские люди стали принимать «бусурманские обычаи», гнушаться языком своим, продавать свой своего? Неужели милость чужого короля,

да и не короля, а паскудная милость магната (вроде Гофмана) для них дороже всякого братства?

Как страстно захотелось мне предостеречь их словами Бульбы о том, что и «у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве», должна оставаться «крупница русского чувства»... «И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать,— так никому ж из них не доведется так умирать! Никому, никому! Нехватит у них на то мышиной натуры их!»

* * *

На следующий день после разговора с Гофманом все произошло по программе. Поезд, хотя нас было всего лишь два пассажира (я и телеграфист с его аппаратом), состоял из четырех вагонов.

Перед самым отходом поезда прибыл проводить меня состоявший при делегации офицер и, подавая мне какой-то сверток, сказал: «Генерал Гофман приказал вручить вам ваш заказ портному; по приказанию генерала заказ выполнили в течение нынешней ночи. Кроме того, генерал надеется, что русские офицеры научились от немецких не только устраивать окопы, но вообще воевать».

Мне пришли на память слова Покровского по поводу моих орденов, и я их перефразировал: «Если немецкие офицеры научили русских воевать, то придет время, когда русские отучат немецких воевать». Это я и попросил передать Гофману вместе с благодарностью за заботу о моих штанах.

Простившись с немцем, я вошел в вагон, и поезд тронулся.

После опубликования Советской властью декрета о мире (о чем я узнал уже дорогой) все военные представители Антанты в Ставке потребовали от Духонина выполнения договора 1914 года. Требования эти были энергично поддержаны: у нас — Алексеевым и Калединым, в Англии — Черчиллем. Союзники не без основания боялись усиленной подготовки немцев к весеннему наступлению 1918 года, так как немцы уже во время самих перегово-

ров в Бресте вели переброску своих дивизий с русского фронта на французский.

И снова являлась мысль, насколько было мудрым решение большевистской партии и Советского правительства, руководимых В. И. Лениным, о заключении Брестского мира. Он давал России передышку для упрочения положения республики и накопления сил; он вырывал Россию из империалистической войны и отводил непосредственную угрозу вторжения германских империалистов; позволял закончить начальный период формирования регулярной Красной Армии.

Это значение Брестского мира лучше всего определил сам Ленин: «Мы обязаны подписать, с точки зрения защиты отечества, самый тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир — не для того, чтобы «капитулировать» перед империализмом, а чтобы учиться и готовиться воевать с ним серьезным, деловым образом».

Для немцев Брестский мир не дал ожидаемой свободы на французском фронте. Хотя силы Германии еще не иссякли, операции против Парижа, с опозданием на три года, стали уже безнадежными. Сами немцы еле успевали оправляться от наносимых им союзниками ударов. Кроме того, в Германии зрела революция.

С Австро-Венгрией, как это и предвидел Чернин, все было покончено. Да не подумает читатель, что пишу эти слова с какой-либо долей злорадства: нельзя смеяться над страданиями народов!

Брестский мир не был для Австро-Венгрии передышкой, какой он был для Советской власти. Надежда ее на помощь Украины оказалась напрасной, так как доставка хлеба тормозилась расстройством транспорта. Кроме того, хлебные операции на Украине находились под контролем германцев, руководивших гетманом Скоропадским. На Украине собралось до четверти миллиона немецких и австрийских войск, всеми средствами вымогавших у населения хлеб и создавших безудержную спекуляцию. Огромное озлобление немцев против австрийцев вызвала реквизиция последними хлебных транспортов, шедших в Германию через Австрию.

Несмотря на первоначальные успехи австрийской армии против Италии в 1917 году, показавшей высокое искусство, особенно в горной войне (главным образом благодаря героизму солдат), наступление австрийцев в

1918 году окончилось неудачей. Немцы потребовали к тому же от своей союзницы помощи против французов. За неудачи армии заплатились Конрад и Чернин, вынужденные по настоянию Германии уйти в отставку. Общее положение все же принудило Австро-Венгрию снова поднять вопрос о сепаратном мире.

8 августа 1918 года и для Германии наступил, по выражению Людендорфа, «черный день»: соединенные англо-французские войска начали губительную для Германии и ее союзников Амьенскую операцию. Боевые неудачи вызвали капитуляцию Болгарии и Турции, Австро-Венгрия заключила перемирие. Как и Германия, она шла уже навстречу революции, свершившейся 11 ноября.

В октябре Карл издал манифест о преобразовании монархии, выделив из нее на положении самостоятельных государств немецкую Австрию, Чехию, Украину, Югославию (без Кроации и Боснии), административную область Буковину, вольный город Триест. Западная и Средняя Галиция были соединены с независимым польским государством. Лишь Венгрия, твердо отстаивавшая собственные интересы, сохранила территорию венгерской короны.

Однако и этот запоздавший манифест не удовлетворил уже народы бывшей Австрии. Даже Вильсон обратился со своим воззванием не к Австро-Венгрии, а к ее народам! Судьба и тут сыграла свою шутку: Андраши (сын Андраши — создателя Тройственного союза) вступил в переговоры о сепаратном мире на всех фронтах и, вырвав у Карла полную независимость Венгрии, вернул из Италии на родину венгерские полки. (Те, что были в Одессе, пошли домой пешком!) Австрийские войска, бывшие на Украине (в Жмеринке, Виннице, Киеве), создавали у себя Советы солдатских депутатов.

В начале ноября бывшая Австро-Венгрия полностью капитулировала перед Антантой, вслед за чем все германские войска в ней были интернированы. Советы солдатских депутатов образовывались уже повсеместно.

Революция совершилась! Солдаты убили графа Тисса, и в Будапеште была провозглашена республика. Андраши подписал мир с Германией.

В Вене также была объявлена республика. Карл уехал в Тироль. Монархия даже не защищалась; ни с какой стороны, ни одним классом не было оказано ни-

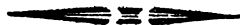
какого сопротивления. Новая немецкая Австрия осталась второстепенным государством, отрезанным от моря.

Так бесславно кончила свое существование Австро-Венгерская монархия под властью правителей, гордо поставивших своим девизом «*Austriae est imperare orbi universo*» *.

Этой главой заканчиваю я свои воспоминания, столь тесно связанные с последними годами некогда «великой и счастливой» монархии.

Послужит ли история Австро-Венгрии благотельным уроком для других современных стран, правители которых ставят перед собой столь несбыточные мечты о всемирном господстве?

Мне остается лишь закончить свою главу обычными словами, которыми на западноевропейских кладбищах увенчивают надгробные памятники: «*Ci-gît...*» **



* «Австрии предопределено господствовать над всем миром».

** «Здесь покоится тело...»

Глава 2-я

АРМИЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРЕ

«...В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!»

М. Горький, Песня о Соколе.

На обратном пути из Бреста глаз моих действительно не завязывали, и сопровождавший меня немецкий офицер охотно отвечал на все мои вопросы о местности в районе Барановичей и происходивших на ней боях, в которых он сам участвовал. Мы друг другу помогали восстанавливать в памяти те или другие события. Офицер, как мне казалось, из любезности, превозносил в угоду мне храбрость русских офицеров-гренадер.

Я же думал о трудности происходивших здесь боев, о тяжести понесенных потерь. Все яснее становилось для меня, что главной причиной наших неудач была гнилость самодержавного режима.

Отдавшись своим мыслям, я не заметил, как был доставлен к нейтральной полосе между бывшими фронтами — нашим и немецким. Здесь мы с юзистом оставили поезд и, простившись с провожавшим нас офицером, очутились в совершенном одиночестве посреди бездорожной снежной равнины в полкилометра шириной, отделявшей нас от русских окопов.

Не скажу, чтобы легко было нам протаскать через эту полосу тяжелый аппарат Юза. В наших окопах мы снова отведали обеденное меню из русского котла 1918 года.

Отсюда, расставшись с опечаленным разлукой юзистом, я был доставлен к ближайшей железнодорожной станции, а от нее прямым поездом (хорошо, что внутри вагона, ибо многие из пассажиров довольствовались тем, что примостились на тормозах, подножках и даже на крышах вагонов) прибыл в Минск. После обеспеченного всеми удобствами путешествия в экстренном поезде непривычной казалась теснота вагонов, набитых солдатами, спешившими в давно желанный отпуск после тягостного сидения в окопах. Зато я не мог пожаловаться на отсутствие внимания ко мне и всякого рода предупредительности со стороны ближайших соседей, узнавших, кто я и откуда еду.

В Минск я приехал утром 17 февраля и прямо направился к главнокомандующему Мясникову. Он, подробно выслушав мой доклад, в котором я не преминул заявить о готовящемся немецком наступлении, резко и категорически отвергнул эту мысль (очевидно, смешав два понятия: нежелательность и невозможность!). Отпуская меня до следующего утра (18 февраля), он приказал явиться к нему за указаниями перед отъездом в Москву.

Вечером я вышел погулять в город, и первое, что привлекло мое внимание, было большое объявление Мясникова примерно такого содержания: «...Расходятся неблагонадежные слухи о возможном наступлении немцев. Предупреждаю, что впредь буду привлекать к строжайшей ответственности, вплоть до предания военному суду, лиц, распространяющих эти слухи» *.

Прочитав это объявление, я до самого утра был в недоумении, отнести ли эту угрозу к Гофману или лично к себе.

Утром, приняв меня в своем кабинете, Мясников с усмешкой задал мне вопрос, продолжаю ли я держаться

* Очевидно, мнение Мясникова было одним из тех мнений, против которых Ленин возражал во второй половине февраля 1918 года в статье «О революционной фразе».

своего мнения о возможности наступления немцев? Не успел я ответить, что это не мое мнение, а явные намерения немцев, как раздался звонок телефона. Мясников взял трубку и, выслушав какое-то сообщение, сказал: «Вы правы: немцы перешли в наступление. Срочно поезжайте в Москву».

В Москву я выехал в тот же вечер.

Сделав доклад в каком-то здании на Никитской, рядом с консерваторией, о последних днях своего пребывания в Бресте, я получил приказание ехать на Кудринскую Садовую, в Высший Военный совет, к начальнику штаба М. Д. Бонч-Бруевичу.

В Высшем Военном совете я получил назначение на должность заместителя командующего отрядами Западной завесы В. Н. Егорьева, моего товарища по службе в Главном управлении Генерального штаба. Егорьев перед самой войной вернулся из Черногории, где выполнял одну из редких должностей, выпадающих офицерам Генерального штаба, — должность военного министра при черногорском короле!

После беседы с Бонч-Бруевичем и Егорьевым выяснилось, что под необычным наименованием «отряды Западной завесы» надо разуместь вновь создаваемые и пока еще не существующие отряды партизан и красногвардейцев для борьбы с германскими интервентами. В частности, эти отряды в составе Западной завесы должны были прикрывать прямое и важнейшее направление к Москве от Минска через Смоленск.

Таким образом, судьба продолжала удерживать меня на этом направлении с самого начала войны.

Посвященный в Высшем Военном совете в обстановку, создавшуюся в стране, я видел, какую угрозу для молодой Советской республики приобретало стягивание на нашу территорию воинских частей из всех стран. Сибирь и часть Волги уже захватывались чехословацкими дивизиями; во Владивостоке высаживались японцы, англичане, американцы, французы, итальянцы; Украина была оккупирована немцами; на Дону сосредоточивались казачьи кулацкие части Краснова. Восстание оренбургских казаков Дутова отрезало от республики Туркестан.

Эсер Савинков * по указаниям английского поверенного в делах Линдлея и французского посла Нуланса готовил в Ярославле, Уржуме и других северных городах белогвардейские мятежи. Турки и англичане продвигались к Баку.

В результате этих враждебных действий вся республика была охвачена железным кольцом врагов. В руках у них были уже Казань, Симбирск, Пенза, Самара, вся Донская область, южная часть Воронежской губернии, часть Северного Кавказа. Столь знакомые мне генералы Алексеев, Рузский, Лукомский, Миллер, Деникин, Марков, Романовский, Корнилов были теперь деятельным и позорным орудием в руках Антанты. Но я твердо верил в неодолимую силу русского народа, не раз в своей истории выходившего победителем из не менее грозных опасностей. Со спокойной верой в конечный успех встретил я первые мероприятия Советской власти по срочному созданию массовой, регулярной, высокодисциплинированной армии.

Формирование регулярной армии в Советской республике оказалось делом чрезвычайно трудным по своей новизне. Оно сильно тормозилось, кроме того, выступлением против начинаний В. И. Ленина «военной оппозиции», защищавшей партизанщину, боровшейся против использования столь нужных для армии военных специалистов и насаждения в армии крепкой революционной дисциплины.

Для укрепления создаваемых регулярных красноармейских частей партия выделила из своих рядов в военное ведомство и во все полевые части громадное число коммунистов. Последние значительно оздоровили молодые части, вдохнули в них волю и решимость отстоять завоевания революции. Для руководства этой политической работой и в первую очередь для внедрения крепкой сознательной дисциплины были образованы политические отделы в армиях и на фронтах, введен институт военных комиссаров в дивизиях и полках, а для непосред-

* Социалист-революционер, после Октября ярый враг Советской власти. Авантюрист, участник убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича; был помощником военного министра Керенского; вместе с Корниловым готовил контрреволюционный переворот. Кончил жизнь самоубийством.

ственного воспитания частей созданы в них коммунистические ячейки. Наконец, были призваны на работу в армию военные специалисты из командного состава старой армии. За деятельностью их был установлен надзор, чтобы пресекать измены, удалять из армии малоданных к работе в новых условиях.

С огромным удовлетворением я видел себя активным участником этой кипучей созидательной работы.

Однако я должен откровенно признаться, что, хотя и убедился воочию в распаде старой армии, не сразу отдал себе отчет, почему надо было до конца разрушать старую армию, чтобы при непосредственной угрозе врагов со всех сторон заменять ее новой, с таким трудом налаживавшейся в вихре политических, социальных и военных событий. Я не отдавал себе еще твердо отчета в том, что капиталистическая армия, каковой была и русская дореволюционная, являлась армией угнетения трудящихся, уже воспитанной в духе захватнических войн и порабощения народов, пронизанной насквозь национализмом — реакционной империалистической идеологией. Это я понял лишь в ходе гражданской войны.

После моей работы разведывательно-оперативного характера назначение на должность заместителя командующего отрядами Западной завесы знаменовало для меня начало нового периода служебной деятельности. С этой поры военно-организационная работа стала основной областью во всей дальнейшей моей службе.

Работа вновь формируемого штаба Западной завесы, наша организационно-оперативная деятельность захватывали нас полностью, не позволяя даже сознать всей опасности обстановки.

Чувство долга и уверенность в себе внушались нам, даже незаметно для нас самих, энергичными, определенными указаниями В. И. Ленина по принятию мер защиты от надвигавшейся опасности. Эти указания товарища Ленина поражали нас его необыкновенной способностью вникать во все, даже мельчайшие подробности боевой обстановки, предусматривать ход событий. Они обеспечивали всю работу по формированию добровольческих отрядов, наполняли нашу жизнь захватывавшим интересом, не оставляя в нас места никаким малодушным чувствам.

Штаб Западной завесы, на первых порах состоявший лишь из нескольких человек технического персонала, выехал в конце февраля по месту назначения — сначала в Сухиничи, а затем в Калугу.

Пребывание мое в штабе отрядов Западной завесы было непродолжительным. Едва получил я право на почетное звание «бойца Красной гвардии и красного партизана», как был перемещен из Калуги в Архангельск начальником штаба вновь созданного Беломорского военного округа. Последний был установлен декретом Совнаркома от 8 апреля 1918 года в порядке нового деления территории республики на военные комиссариаты по военным делам — окружные, губернские, уездные и волостные. Общей целью этого нового аппарата было реформировать добровольческую и партизанскую Красную Армию с ее кустарной организацией на началах однообразия и пополнения обязательными призывами граждан, то есть путем учета годного к военной службе населения из числа рабочих и крестьян. Для руководства этим делом был организован Мобилизационный отдел Всероссийского главного штаба.

В том же году была начата большая работа по всеобщему военному обучению населения.

Интервенция стран Антанты заставила Советскую республику сделаться военным лагерем, создать единое управление на фронтах и в тылу в лице Революционного Военного Совета Республики и учредить Совет Рабочей и Крестьянской Обороны.

Все эти мероприятия Советской власти были полны для меня самого острого интереса, так как деятельность моя была целиком связана с вопросами создания, развития и укрепления Красной Армии как в ее общем масштабе, так и в отдельных ее частях. Все эти вопросы, быть может, кажущиеся читателю скучными, представляются мне в виде какой-то системы струн, издающих, по мере воспоминания о них, звуки, тем более сильно отдающиеся в моей душе, что с ними соединилось много дорогих для меня воспоминаний о напряженных боевых днях гражданской войны.

Ко времени моего назначения 8 апреля 1918 года начальником штаба Беломорского военного округа главной

нашей задачей стала борьба с иностранной интервенцией.

Для меня как начальника штаба округа Северный край являлся территорией, которую я обязан был изучить во всех отношениях. Этот край к тому же представлял для меня особую привлекательность, как для любителя природы и охотника.

Я составил и послал в центр свой доклад о территории округа. Заключенная между двумя историческими путями — «из варяг в греки» и «из Булгар в Югру» — территория эта была сплошь покрыта лесом, такой же необозримой, могучей стихией, как и прилегающие моря, столь же обильной своими естественными богатствами. Лес — смешанный — еловый, сосновый, березовый — перемежался с сильно болотистыми участками, проходимыми только по редким дорогам, идущим главным образом вдоль рек. Никаких карт не существовало, картой наиболее крупного масштаба была лишь 10-верстка («зеленка», названная так по представляемой ею территории, покрытой почти сплошь, без просветов, зеленой краской, изображающей лес).

Можно без преувеличения сказать, что в этих девственных местах начало широкой культуре положила Красная Армия. К издревле известной углинской нефти присоединились в ту пору сведения об угле печорских районов. Этому способствовал Вячеслав Дмитриевич Цветаев, будущий начальник Академии имени М. В. Фрунзе, мой ближайший соратник по Северному фронту. Ему же выпала честь в должности командира дивизии нанести интервентам окончательный удар на Северной Двине, открывший нам путь в Архангельск.

Северная Двина, важнейший водный путь всего края, играла исключительно важную роль в гражданской войне на Северном фронте. Этот путь идет к северу от Котласа, являясь как бы продолжением Сухоны — Юга и многоводной Вычегды. Под Архангельском Двина поражает своей громадной шириной и полноводьем. Здесь обилие лесозаводов, примыкающих непосредственно к Архангельску.

До постройки в 1916 году Мурманской железной дороги Архангельский порт принимал все военные грузы, которыми наши «союзники» питали Россию при нашей военно-технической отсталости.

Большую роль в развитии боевых действий играл приток Двины Вага. Начиная от старинного города Шенкурска Вага судоходна. Устье ее в период боевых действий на севере имело в моих глазах решающее значение как ключ к двинским позициям противника, а следовательно, и к Архангельску.

Железная дорога Архангельск — Вологда проложена в сплошных лесах. Сначала узкоколейка, она затем в империалистическую войну была перешита на нормальную колею ввиду значения северных портов. Важнейшими в боевых операциях гражданской войны железнодорожными станциями являлись: Исакогорка, Холмогорская, Обозерская, Плесецкая, Шалакуша, Няндом, Коноша. Несмотря на все свои усилия, интервенты не прошли ни на железнодорожном направлении, ни на северодвинском, как не прошли и на Пинеге, и на Печоре, и на Онеге. Вооруженных до зубов, их остановили только что сформированные красноармейские части и раздетые, необутые, голодные красные партизаны. Они действовали в северных снегах, среди лесов и болот: емецкие — у Средь Мехренги, онежские — у Чекуева, пинежские — в Веркольском районе, шенкурские — на линии Вельск, Благовещенск, кандалакшские — на Мурманской железной дороге, в Церковнической и Шелекской волостях. Отвагу красноармейцев и партизан не могли преодолеть ни прибывшие в Архангельск с генералом Пулем королевские шотландские полки, ни королевские ливерпульские, дургамские и йоркские полки, ни морские бригады, ни хваленый 339-й полк американцев, ни их высокообученный инженерный полк, ни канадские артиллерийские и пулеметные части, ни французский испытанный колониальный полк, ни итальянский полк, ни присланные затем на подкрепление новые бригады англичан и американцев, ни созданные в Архангельске отборные славяно-британские легионы, ни русско-французские легионы, чехословацкие и сербские части, ни австралийские и шведские наемники, ни, наконец, прибывшие через океан и вошедшие в Северную Двину английские флотилии. Последние состояли из двух мониторов, пяти канонерских лодок, ряда вооруженных пароходов, поддерживаемых авиацией. И они были остановлены простыми русскими людьми на самодельных баржах, иногда перевертывав-

шихся под устанавливаемыми на них присланными из Питера морскими пушками!

Для сообщения между Архангельским районом и Печорским краем не было почти ни дорог, ни перевозочных средств.

Единственный проложенный путь шел из Архангельска к селу Усть-Цыльма, к сердцу Печоры, этой артерии, которая и питала весь край своими богатствами и служила дорогой для передвижения всех жизненных припасов, необходимых населению и армии. Печорский край был тесно связан с городом Чердынью, то есть с Пермью, Нижним-Новгородом и Обью (через приток Печоры — Щугор), с одной стороны, и с Ярославлем, Вологдой и Архангельском — с другой. Его границами служат Ледовитый океан, Уральские горы, истоки Камы, Вычегды, Выми и Мезени. Заполненный тундрами, лесами, горными хребтами, равнинами, он издавна славился своими природными богатствами: рыбой, лесом, мехами, нефтью, медными рудами и пр.

Наша 6-я армия вела борьбу с интервентами и белогвардейцами и на территории Печорского края. Она черпала из Сибири через эту территорию значительные хлебные запасы, столь нужные и самой армии и местному населению.

Своими скудными перевозочными средствами 6-я армия сумела вывезти из-за Урала свыше 10 тысяч пудов хлеба. Она платила краю прокладкой новых дорог, улучшением сплавных и судоходных рек, организацией маслodelьного промысла, созданием различных культурно-промышленных пунктов и т. п. Для доставки хлеба из Зауралья 6-я армия наметила транзитные пути из Сибири через Соликамск или Чердынь и далее на Усть-Сысольск, Котлас или по древнему направлению («из Булгар в Югру») — через Троицкое-Печорское на Чердынь (соединение Камы и Печоры).

Война на севере положила начало развитию здесь новой промышленности: топливной, энергетической, сырьевой, химической, переработки дерева. Она дала мощный толчок развитию старых отраслей промышленности: железнodelательной и металлургической. Она сообщила сильное движение сельскому хозяйству: скотоводству, сыроварению, маслodelьной отрасли, кожевенной, огородничеству.

Служба на Севере помогла мне глубже понять и полюбить своеобразную природу этого края.

Однажды, после присоединения к территории 6-й армии Междуозерного района (перешейка между Онежским и Ладожским озерами), я выехал вместе с членом Революционного Военного Совета армии А. М. Ореховым на ознакомление с местностью перешейка, осмотр передовых позиций, а затем и на совещание с командиром действовавшей здесь 1-й стрелковой дивизии Борзаковским в Петрозаводск. Когда в экипаже со станции Званка нас переправили через реку Свирь и мы углубились в перелески, Орехов вышел пройтись. Вдруг я услышал его отчаянные крики. «Ну, — подумал я, — наверное, наскочил на медведя или на финский патруль!» Я бросился на крики, взводя на бегу свой маузер. Прибежав, я увидел неожиданную картину: посреди лужайки мирно сидит Орехов, показывает рукой на землю вокруг себя и кричит: «Посмотри! Посмотри!» Я взглянул и остолбенел — все кругом было усеяно белыми грибами. Мы начали тотчас их собирать, сначала с корешками, потом только шляпки, наложили громадную кучу на мой дождевик и поволокли его по земле к экипажу.

Торопясь осмотреть передовые окопы и не опоздать к условленному в Петрозаводске совещанию и в то же время не желая расставаться с драгоценным грузом грибов, я, чтобы не объезжать с одного батальонного участка на другой по кружной дороге, приказал ехать вдоль фронта. Артиллерийским снарядам противника я был при этом вторично контужен, как бы в наказание за свое упрямство.

Орехов упрекал меня в напрасном риске, я же хотя и видел его правоту, но все же пытался отшутиться и привел ему в свое оправдание слова Помпея, воевавшего с Цезарем: «Ехать надо было, а жить не так уж было необходимо!»

Условия, в которых штабу округа приходилось выполнять свои задачи по формированию частей Красной Армии, были очень сложны. Территория Северного фронта простиралась от Ладожского озера до Уральских гор. Только на юге она ограничивалась 61-й параллелью северной широты, на севере же она простиралась за Полярный круг до берегов Ледовитого океана, причем сам Архангельск лежит примерно на широте Исландии, в

удалении от Москвы на 1135 километров. Климат, в соответствии с географическим положением, суровый. Средняя годовая температура здесь около 0 градусов, лето короткое, но с жаркими днями.

Известно, что гражданская война на Севере России возникла как начальная попытка капиталистов уничтожить Советскую власть. Активным и влиятельным сторонником интервенции был английский государственный деятель консерватор Керзон.

План войны на советском Севере был тщательно разработан совместно штабами Англии, США и Франции и явился частью общего плана вооруженной интервенции против Советской России. Верховный военный совет союзников летом 1918 года постановил захватить Мурманск и Архангельск, чтобы затем использовать их как базу для дальнейшего продвижения в центр страны. Главная роль при этом отводилась англо-американскому агенту Колчаку как будущему диктатору России. В конце лета 1918 года американцы и англичане широко развернули свои действия. Северный фронт явился одним из важнейших звеньев в сети фронтов, которыми империалисты намеревались окружить и задуть Советскую Россию. У президента США Вильсона была составленная государственным департаментом карта с «предлагаемыми границами в России». С этой картой он приехал на Парижскую мирную конференцию в 1919 году, где предлагал оставить советскому народу лишь Средне-Русскую возвышенность, а Прибалтику, Украину, Белоруссию, Кавказ и Сибирь отторгнуть. В Азиатской части России намечалось создать ряд мелких колониальных государств с границей по Уралу. Себе США намеревались взять Кавказ.

От англо-американцев не отставал и Нуланс, французский политический деятель, посол Франции в России с 1917 года. Он активно поддерживал контрреволюционные силы в России, был ярым сторонником вмешательства во внутренние дела последней и с этой целью весной 1918 года переехал в составе дипломатического корпуса в Вологду. Отсюда он поддерживал Савинкова, организатора Ярославского восстания, и совместно с английским шпионом Локкартом установил тесную связь с чехословацкими мятежниками. Осенью 1918 года Нуланс поки-

нул Россию. Позднее он написал книгу, изданную в 1933 году, — «Моя миссия в Советской России».

Для осуществления своих захватнических планов англо-американцы собрали в Северном крае во второй половине 1918 года большие морские и сухопутные силы, в изобилии снабдив их новейшей техникой. Им противостояли ничтожные по численности и вооружению советские отряды.

Англичане сосредоточили на Северном фронте свыше 100 самолетов («Славяно-британский авиационный корпус») с авиаматкой и базой. Самолеты интервентов вначале действовали вполне безнаказанно и бомбили не только части Красной Армии, но и деревни и села, терроризируя мирное население. Против этой, сильной тогда авиации, приспособленной уже действовать в суровых северных условиях, мы могли выставить лишь два авиационных отряда на плохих машинах.

Несмотря на бесстрашие наших летчиков, которые отражали налеты вражеских сил и атаковали воздушного врага всегда первыми, перевес тут был на стороне врага. Силы Красной Армии не могли, конечно, сразу и полностью обеспечить нашу молодую республику от нападения извне.

В опаснейший для Советской страны период, когда Колчак занял Пермь, на Севере перешли в наступление войска англо-американских интервентов с целью соединиться с колчаковской армией и наступать на Москву. Американцы захватили на Севере важнейшие позиции для наступления в долину реки Емцы, в район Средь-Мехренги, в район Шенкурска (выдвинувшись вверх по Северной Двине), в долину реки Пинеги и в направлении Обозерско-Чекуевского тракта.

Этим выдвижением они создали себе обеспеченное положение в крае. Они не сомневались в успехе своих действий, владея морем с незамерзающими портами и главными коммуникационными линиями. При этом они рассчитывали на слабость края, удаленного от Москвы, занятой к тому же тяжелым положением на других фронтах.

Действительно, какой безвыходно тяжелой казалась общая военно-политическая обстановка для Советской республики, только что начавшей свою жизнь! Как неотразимо сокрушительными представлялись угрожавшие

ей, лишенной средств защиты, удары многочисленных врагов со всех сторон!

Однако достижения Октябрьской революции были спасены, и страна была выведена из этого тяжелейшего положения благодаря героизму свободного народа, гению его вождя — великого Ленина, самоотверженной деятельности партии большевиков.

Тяжелое положение в Северном крае усугублялось неблагоприятным соотношением в нем классовых сил. Здесь почти повсеместно и очень сильно чувствовалось влияние эсеров. Оно особенно проявилось при начальных мобилизациях. Местные офицеры — выходцы из слоев кулачества — были настроены против Советской власти; они организовывали свои отряды, борьба которых с красными партизанами часто носила ожесточенный характер. На этой почве возник в начале войны и известный шенкурский мятеж в единственном уезде, который имел свой хлеб (весь край жил на привозном хлебе). Сельская контрреволюция часто связывалась с городской, чему способствовала невозможность для правительства обеспечить население хлебом. Следует учитывать, что на Севере, даже после захвата власти Советами, власть фактически оставалась в руках земских и городских дум (существовавших рядом с Советами!). Там заседали не только правые эсеры и меньшевики, но даже кадеты.

В Архангельске обращались собственные деньги, издавались меньшевистские и эсеровские газеты; их влияние распространялось и на заводы и на профсоюзы. Столь благоприятными условиями не замедлили воспользоваться «союзники» для осуществления своих захватнических планов. В. И. Ленин предвидел эту опасность и предупреждал о ней еще в июне.

Всю весну и лето 1918 года в Архангельск почти беспрепятственно с нашей стороны съезжались через Вологду послы, посольства, консулы, разные советники и секретари иностранных миссий, итальянцы, сербы, чехословаки якобы для возвращения на родину. Французский консул Эберт не только требовал для них квартиры, но пытался даже самовольно их занимать. Поведение иностранцев приняло столь явный характер хозяйничания в городе, что Совнарком приказал все иностранные отряды отправлять в Москву хотя бы силой. Последнее

удалось нам выполнить хитростью, во избежание крупных скандалов.

Подготовка интервенции, начавшаяся в конце 1917 года дипломатическим путем, с марта 1918 года стала осуществляться фактически и открыто под главенством англо-американцев.

* * *

Мой приезд в Архангельск состоялся в конце мая 1918 года. Незадолго перед этим я женился на той самой, знакомой мне еще с 1899 года девочке с льняными волосами, которую я когда-то встретил у родственницы своей первой жены. Теперь вместе с ней и двумя маленькими дочурками, Ниной и Кирой, я и прибыл к своему новому месту службы.

Мне были даны подробные инструкции на предварительном совещании военных работников в знакомом мне особняке на Зубовском бульваре, принадлежавшем ранее адъютанту Николая Николаевича князю Щербатову. Спутником моим был мой старый знакомый по Генеральному штабу Ф. Е. Огородников. Он получил назначение военным руководителем в штаб Беломорского военного округа и имел также какие-то дипломатические функции в отношении иностранных представителей.

Архангельск встретил нас на первых порах неприветливо и в смысле погоды и в смысле элементарных бытовых удобств. Мы были помещены в здании бывшей гимназии, в огромном зале, заставленном ученическими партами. Неважным было и отношение к нам как работникам нового штаба.

Понемногу эти отношения стали налаживаться. Ознакомливаясь с членами Архангельского исполкома, я впервые встретился с будущим героем Северной войны Павлином Федоровичем Виноградовым, заместителем председателя исполкома. Он напрямик мне сказал в ответ на высказанное мной желание работать в полном контакте с исполкомом:

— А сначала посмотрим, что вы за птица!

Такая откровенность сначала меня озадачила, а после размышления очень понравилась: войдя в архангельскую обстановку, я понял, что другого ответа и быть не могло.

Комиссаром в окружной штаб прибыл тов. Геккер, которого я не без любопытства разглядывал еще в Бресте, куда он явился на пару дней с огромным красным бантом на груди, возбуждая иронические замечания всех немцев, начиная с Гофмана.

С ним и с Огородниковым мы начали подбирать сотрудников штаба. Вскоре из Красноборска прибыл, предлагая свои услуги, Петин, бывший у Квевцинского на Западном фронте начальником службы связи. Из Вологды приехал на должность в оперативное отделение Буренин и многие другие.

В конце мая прибыла из Москвы советская ревизия для обследования Севера. Во главе ее стоял М. С. Кедров. Она представляла собой комиссию, состоявшую из 11 секций, по всем военным специальностям.

Главнейшими задачами комиссии, распространявшимися на Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую и Иваново-Вознесенскую губернии, были: разгрузка Архангельского порта от громадных складов военного имущества (ввиду опасности захвата их интервентами); оздоровление политической атмосферы в районе Архангельска; подготовка последнего к обороне на случай такого же вмешательства «союзников», которое они осуществили в Мурманске.

Англичане во главе с генералом Пулем высадились в Мурманске, приветливо встреченные изменниками—председателем краевого Совета Юрьевым, генералом Звегинцевым и старшим лейтенантом Веселаго.

Спустившись из Мурманска по железной дороге к югу, англичане заняли Канда拉克шу, Сороку и Кемь. В Кемь они разогнали Кемьский Совет, расстреляв главных его членов.

К этому времени весь советский Север уже был наводнен английскими и американскими агентами, привлеченными его природными богатствами: лесом, нефтью, медью, а также хлебом из Западной Сибири. Американский посол Френсис, английский поверенный в делах Линдлей и французский посол Нуланс, приехав при попустительстве Троцкого из Петрограда через Вологду в Архангельск, чувствовали себя здесь полными хозяевами. На всем побережье уже было много английских факто-

рий по вывозу леса, особенно в устье Онеги. Летом англичане и американцы заняли и город Онегу.

25 июня 1918 года Ленин категорически указал: «принять все меры к тому, чтобы вторгающиеся на советскую территорию наемники капитала встретили решительный отпор. Всякое содействие, прямое или косвенное, вторгающимся насильникам должно рассматриваться, как государственная измена, и караться по законам военного времени».

Еще яснее было второе предостережение Ленина Юрьеву: «Если вам до сих пор не угодно понять советской политики, равно враждебной и англичанам и немцам, то пеняйте на себя...

С англичанами мы будем воевать, если они будут продолжать свою политику грабежа».

Якобы для улаживания вопроса с Юрьевым к нему от Троцкого был прислан «чрезвычайный комиссар» Нацаренус. При нем 8 июля Юрьев заключил договор с Пулем, высадившим 8-тысячный десант англичан (против 4 тысяч войск на всем Севере!).

К началу интервенции политическое настроение Мурманска — единственного «окна» в Европу — было явно против Брестского мира. Важность переговоров с Пулем заключалась в том, что англичане признали Советскую власть в крае, причем свои действия маскировали «соглашением». В результате этого соглашения с Юрьевым в Мурманске создавалась морская база англичан, из которой интервенция перекинулась и на Архангельск.

Ближайшими советниками Юрьева (вернее даже, вдохновителями) в этом изменническом деле были генерал Звегинцев и старший лейтенант Веселаго. Ни того, ни другого я не знал, но в Петербурге слышал про гвардейского гусара Звегинцева, большого карьериста; был ли это тот самый Звегинцев, сказать не могу. Присланную на мое имя телеграмму Звегинцева из Мурманска с предложением примкнуть в Архангельске к решению Мурманского совдепа я, конечно, тотчас же передал Кедрову. Что последний с нею сделал, не знаю.

С 28 мая Кедров со свойственной ему энергией и решительностью принялся за выполнение возложенных на него задач. Немедленно была прекращена всякая деятельность городской думы, попытавшейся опубликовать обращение к рабочим с призывом ликвидировать Совет-

скую власть и ее представителей. Начата была большая работа по оздоровлению морально-политического настроения среди рабочих 25 лесопильных заводов. Чрезвычайной комиссией по разгрузке Архангельского порта (ЧКОРАП) было объявлено от имени Совнаркома задание немедленно разгрузить артиллерийские склады с военным имуществом и срочно вывезти его в Котлас и на Сухону, невзирая на противодействие находившихся еще в Архангельске иностранных представителей*.

Иностранные представители Френсис, Линдлей и Нуланс вместе с Сполайкевичем (серб), Торетто (итальянец) и Марумо (японец) стремились противодействовать этим мероприятиям, подкупая население продовольствием и отклоняя предложения переехать в Москву под предлогом большей безопасности на Севере от немцев. Лишь около половины июля, после ликвидации восстания в Ярославле, удалось выпроводить их из Архангельска.

Около середины июня состоялось секретное совещание в исполкоме, по решению которого народный комиссар М. С. Кедров своим приказом от 22 июня 1918 года № 134 ввел в районе всего Архангельского порта, города и его окрестностей военное положение; назначил меня временно командующим сухопутными и морскими силами в этом районе (с политическим комиссаром при мне от местного исполкома тов. Куликовым), возложив временное командование флотилией Северного Ледовитого океана на начальника военно-морского отдела Селедфлота.

Одновременно тем же приказом мне было предложено принять все меры к приведению сухопутных сил в боевую готовность, а командующему морскими силами — привести в такую же готовность флот и береговые батареи.

На меня же возлагалась ответственность за эвакуацию взрывчатых веществ из складов и за взрыв последних (если не удастся эвакуировать их до десанта интервентов). Непосредственным исполнителем и эвакуации и взрыва был назначен артиллерист Костевич, мой давний знакомый.

Разговаривая с Костевичем о возможностях взрыва огромных запасов взрывчатых веществ, я узнал «утешительное» мнение этого компетентного специалиста: то ли

* С ними состоялось соглашение о невывозе только румынских грузов. Ввиду обнаруженных злоупотреблений в самой ЧКОРАП Кедров ликвидировал ее деятельность 20 июня.

не останется на земле и следов от города и порта, то ли не будет и самой земли под ними, поглощенной морем от действия взрыва.

Этим мнением Костевича я считал себя обязанным поделиться с женой. К моему крайнему удивлению, она отнеслась к сообщению довольно безучастно. Я нашел ее поведение единственно правильным: что же иначе оставалось делать?!

Не удивительно, что сам Костевич, как автор высказанной гипотезы о перспективах взрыва, постарался не проверять ее на практике и развил такую изумительную энергию по вывозу снарядов и взрывчатых веществ в Котлас по Двине и на Сухону по железной дороге, что Кедров выхлопотал ему в награду 3 тысячи рублей.

Зато у меня появилась другая гипотеза: не тем ли надо объяснить значительный разрыв по времени между восстанием в Ярославле и десантом интервентов в Архангельске (намечавшихся одновременно), что «союзники», зная о задаче, возложенной на меня и Костевича, не захотели испытать на себе последствий возможного взрыва. Слишком хорошо они были осведомлены обо всем, что делалось в Архангельске, причем, вероятно, через того же Костевича, перешедшего на сторону интервентов после их десанта.

Большая и весьма положительная роль в укреплении советского строя на Севере принадлежала М. С. Кедрову. Если говорить коротко, Кедров в кратчайший срок и на моих, что называется, глазах освободил советские, партийные и общественные организации от засилия неблагонадежных элементов; укрепил морально-политическое состояние в многочисленных рабочих организациях, на заводах и фабриках; руководил ликвидацией ряда восстаний; разогнал контрреволюционные организации в Вологде и в тыловых районах Севера; пресек ряд измен во всех областях политической, партийной, военной и общественной деятельности.

Решительными мерами Кедров сохранил для Советской власти огромные материальные ценности, сосредоточенные во время империалистической войны в Мурманске и Архангельске; упорядочил финансовую систему Северного края; подготовил к обороне Архангельск и Архангельскую губернию, обеспечив фланги обороны на востоке



М. С. Кедров

и на западе. (Не его вина, если для непосредственной защиты Архангельска и Мурманска из центра были присланы исполнители, оказавшиеся врагами народа.)

Много сделал Кедров и для укрепления военного аппарата вновь создаваемой регулярной армии, установил крепкую связь его с местными организациями.

Он непосредственно руководил начальными военными действиями, задержав продвижение интервентов, занявших Архангельск, на Вологду вдоль железной дороги и Северной Двины.

Что касается лично меня, то я навсегда сохранил глубокое искреннее уважение к этому человеку, явившемуся моим первым наставником в трудных условиях организационной работы в Беломорском военном округе, а затем и в 6-й армии. Ему я обязан многочисленными советами по обороне Северного края от интервентов и белогвардейцев.

Не могу также забыть, как горячо он одобрял впоследствии, уже в Москве, мое желание подать заявление о вступлении в партию.

Душевную прямоту Кедрова хорошо характеризует следующий его разговор со мной. Я как-то раз откровенно передал ему циркулировавшие в городе слухи о его зверствах и в связи с этим вспомнил известные слова знаменитого кардинала Ришелье: «У меня, — говорил Ришелье перед смертью, — личных врагов нет, так как все, кого я преследовал и карал, были врагами государства, а не моими». На это Кедров со своей обычной горячностью возразил, что считает слова Ришелье или крайним лицемерием, или крайним политическим невежеством. «Настоящий советский гражданин не может так противопоставлять личные интересы государственным: враги советского народа являются и моими личными врагами», — сказал он.

Центр в предвидении десанта приказал Кедрову принять на себя командование над всем Северо-Восточным районом, для чего с 20 июля перенести свое пребывание в Вологду, а непосредственную оборону Архангельска возложить на специально командированного главкомом комдива Потапова * и приданных ему сотрудников. Во исполнение этого приказания Кедров, Геккер и я (в каче-

* Бывшего в 1917 году военным работником при Керенском.

стве начальника штаба района) переехали в Вологду, передав оборону Архангельска Потапову.

Последний принял на себя руководство обороной города и вместе с изменником Викорстом все меры к «надежной» встрече интервентов: к установке батарей на острове Мудьюг, к закладке минных полей на Двинском фарватере, к затоплению на нем наших ледоколов, к возложению охраны города на надежную часть, к установлению наблюдения за прилегающим к Архангельску побережьем, наконец, к соответствующему размещению в городе его гарнизона в целях обороны. Это были именно те меры, которые обсуждались и были приняты на совместном с нами секретном совещании Архангельского полкома в присутствии Потапова и Викорста.

Мы с Кедровым, уже будучи в Вологде, с негодованием узнали, как легко интервенты при содействии этих изменников совершили свою высадку.

1 августа Архангельск по существу беспрепятственно перешел в руки интервентов, так как батареи на острове Мудьюг, не примененные к местности, были тотчас же сбиты огнем (неприятельских) крейсеров «Атентив», «Кокрен» и «Адмирал Ооб», минные поля обезврежены тральщиками; затопленные (не на фарватере и невзорванные вследствие негодных запалов Костевича) ледоколы «Микула» и «Святогор» подняты; охрана города оказалась порученной 1-му Архангельскому батальону, только что перед самым десантом бунтовавшему против Советской власти; сам Потапов в момент десанта из города скрылся; его помощник полковник Берс был более озабочен судьбой денежного ящика, с которым и перешел к англичанам; наконец, красноармейская часть была предусмотрительно размещена на левом берегу Двины и не могла помешать десанту англичан, благополучно высадившемуся на правом берегу. Губернский военный комиссар Зенькович, пытавшийся организовать оборону на левом берегу, у станции Исакогорка, был обойден с фланга и тыла французским и английским десантами на побережье и убит. Члены исполкома, застигнутые врасплох (Павлин Виноградов находился в этот момент в Шенкурске на усмирении мятежа, поднятого при поддержке Френсиса эсерами), поспешно эвакуировались на пароходах по Двине в Котлас.

После занятия Архангельска интервентами остатки красноармейских отрядов отошли от города. Кедров поспешил с отрядом на помощь им из Москвы по железной дороге, но был остановлен интервентами.

Так началась интервенция англо-американцев у нас на Севере. Одновременно она происходила и на Дальнем Востоке, и в Сибири при участии японцев.

Интервенты из Архангельска выдвинули свои войска к югу: по железной дороге к станции Обозерской, а по Северной Двине — в район Сельцо — Тулгас — Троица.

Мы со своей стороны закрепились у станции Емца. Противник, хваставшийся, что через 10 дней после высадки будет в Вологде, за всю осень 1918 года смог продвинуться только на 70 верст.

Вновь установившийся фронт соприкосновения с интервентами шел в границах: на севере — линия огня; на западе — по восточной стороне Онежского озера (позже эта граница уже шла по восточному побережью Ладожского озера) — Вытегра до Белоозера и Череповца; на юге — по линии железной дороги Данилов — Буй — Галич — Вятка; на востоке — по железной дороге Вятка — Котлас, река Вычегда до ее верховьев и далее на восток до реки Печоры и Уральских гор.

В начале августа наши боевые силы на этом фронте, подчиненные Кедрову, не превосходили двух тысяч штыков. С 1 сентября численность войск дошла до пяти тысяч, а к октябрю, считая тыловые части, превысила восемь тысяч.

Я состоял тогда начальником штаба. Начальниками других отраслей военного управления были назначены члены комиссии Кедрова; все они показали себя отличными работниками на боевом фронте в эти тяжелые для нас дни.

Самой яркой фигурой этого начального периода войны был Павлин Виноградов — сын рабочего Сестрорецкого завода, сам работавший еще мальчиком на заводе, а затем ставший учителем. Рано примкнув к революционерам, он подвергался гонениям и тяжелым репрессиям со стороны царского правительства. Это был человек неукротимой энергии и храбрости, не останавливавшейся ни перед чем решимости, необычайной прямоты характера, всегда готовый без оглядки пожертвовать собой на пользу дела.

Накануне десанта Виноградов заявил французскому консулу Эберту, обнаглевшему в своих требованиях во время посещения им исполкома: «Господин консул, аудиенция кончена; прошу оставить зал исполкома!»

Услышав, что члены Шенкурского исполкома осаждены в казармах мятежными эсерами и меньшевиками, он, не медля ни минуты, отправился их освобождать. Возвращаясь по Ваге и узнав о бегстве членов Архангельского исполкома в Котлас из захваченного интервентами Архангельска, Павлин Виноградов на своем пароходе поспешил в Котлас, вернул пароход с малодушно бежавшими членами исполкома, по дороге организовал их для отпора интервентам, даже не зная сил и средств противника, выдвинувшегося из Архангельска вверх по реке для захвата Котласа. В ночной встрече с врагами Павлин Виноградов атаковал их своими двумя пароходами, расстреливал в упор из пулеметов и пушчонок. Остановив таким образом движение ошеломленных этим нападением интервентов, он преградил им дорогу в Котлас, заполненный до отказа эвакуированными из Архангельска запасами. Он не считал даже для себя возможным толком узнать о судьбе жены и ребенка, вывезенных из города.

В бою против флотилии англичан на Двине (несколько ниже устья Ваги) он лично вел огонь из пушки, прислуга которой была перебита. 8 сентября герой был смертельно ранен осколком неприятельского снаряда.

Трудно переоценить значение подвига Виноградова для Республики. Почти за полтора месяца боев он спас наше положение на Северной Двине, выполнив этим волю Ленина, придававшего громадное значение Котласу.

«Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

В. И. Ленин пристально следил за делами на Севере. Через Кедрова он неустанно требовал энергичных мер для защиты Вологды и Котласа, давая конкретные указания по военно-фортификационным работам, и даже лично высылал из Москвы специалистов подрывников, а из Балтийского флота — моряков на Северную Двину с техническими средствами.

Насколько пристально В.И. Ленин следил за событиями на советском Севере, показывает следующий случай, запечатлевшийся в моей памяти.

У деревни Максимовской, северней Шенкурска, наша разведка в начале апреля 1919 года подобрала такую записку: «Товарищи, просим вас не наступать и не стрелять, так как мы мобилизованные и находимся под игом, как в старину... Перейти нельзя, — у перешедшего все отбирают и из-за него должна страдать семья».

Эта, на первый взгляд бесхитростная, записка заставила нас задуматься. Основная суть ее, несомненно, выражала настроения подавляющей части белогвардейского войска. Однако слова «просим вас не стрелять и не наступать» настораживали, так как от них отдавало провокационным душком. Не снижая активности своих боевых действий, мы решили тщательно проверить, насколько справедливо содержание записки.

Лично я, имея не раз в своей боевой практике дело с подобными документами, был твердо убежден в провокационном характере записки и несколько расходился в этом отношении со своими товарищами, особенно с Кузьминым. Поддерживал меня лишь Орехов.

Кузьмин же, поддавшись своему пылкому темпераменту и непреодолимому стремлению выдвинуться в своих мнениях и поступках, решил проинформировать по данному поводу Владимира Ильича, послав ему несколько телеграмм.

Вскоре от Ленина пришла ответная телеграмма, показывавшая, с какой мудростью он умел вникать даже во фронтовые мелочи, делать из них выводы, позволявшие предугадывать возможный поворот событий. «Ваши телеграммы, — писал он, — на меня производят впечатление обмана со стороны англичан. Поэтому я, отнюдь не предпрещая распоряжений Вашего военного начальства, прошу со своей стороны усилить всемерно охрану и бдительность, а равно позаботиться об усилении нашего наступления».

Знакомясь через Кедрова с указаниями Ленина, я не раз удивлялся прозорливости Владимира Ильича, его умению анализировать конкретную обстановку на фронте, делать из нее безукоризненно верный с военной точки зрения вывод.

Одно из первых указаний Ленина относительно укрепления позиций на Северной Двине было сделано нам в тот период, когда мы с Кедровым ломали голову над обстановкой. Какое количество вражеских войск двинуто на нас, где наиболее угрожающее положение? Ленинское указание я по достоинству оценил позже, когда нам стало ясно, что интервенты, имея полное превосходство во флоте, намеревались быстро захватить Котлас, осуществить соединение с войсками белочехов и Колчака.

Кедров энергично проводил в жизнь указания В. И. Ленина, отдаваемые им лично. В этом отношении трудно переоценить заслуги, оказанные Кедровым Республике в годы северной интервенции.

Так, получив телеграмму В. И. Ленина о необходимости мобилизации на рытье окопов буржуазии, Кедров в тот же день издал приказ о проведении мобилизации буржуазии в трехдневный срок и всемерно добивался выполнения его. В результате на фортификационные работы было привлечено более 1200 человек.

Работа вместе с М. С. Кедровым и под его руководством, хотя и непродолжительная по времени, явилась для меня большой школой.

Часто наши беседы с Михаилом Сергеевичем в его вагоне на запасных путях Вологодской станции, в котором он жил со своим маленьким сыном, простирались далеко за полночь. Эти беседы приносили мне громадную пользу, помогая ясно понять политику Советской власти и партии.

Чтобы не возвращаться к этому, скажу, что наши беседы и встречи продолжались и в Москве, на квартире Кедрова (на Солянке), где он жил уже с Ревеккой Акибовной Пластининой и ее сыном Володей от первого мужа. Оба они, а иногда с участием бывшего председателя Архангельского губисполкома Степана Попова с большим вниманием знакомились с составленным мной тогда описанием боевых действий 6-й армии на Севере, внося много ценных поправок.

— А ну, мамка, сделай нам с Александром Александровичем чайку, — обычно говорил Михаил Сергеевич, встречая меня.

В ответ «мамка» — Ревекка Акибовна, смеясь, ставила электрический чайник на стол и вынимала из бу-

фета коробку с фруктовым мармеладом, который Кедров очень любил.

Как в Бресте Михаил Николаевич Покровский, так на Севере Михаил Сергеевич Кедров и Михаил Кузьмич Ветошкин были моими партийными просветителями. По их собственным моральным качествам я рисовал себе впервые тип настоящего коммуниста, особенно яркий в лице Кедрова. Из ночных бесед с ним я узнал его ближе, я был ближайшим свидетелем тех душевных усилий, с какими он принял решение о расстреле командира 1-го Советского полка Иванова, перешедшего на сторону интервентов.

Своей внешностью — худощавый брюнет с несколько мрачным и недоверчивым выражением лица — Михаил Сергеевич мог производить вначале и неприятное впечатление. Но по характеру он был чрезвычайно прямым и откровенным человеком и хорошим, верным товарищем.

Как мне было приятно получить от него к Новому, 1928 году его брошюру «За Советский Север» с автографом: «А. А. Самойло — на память о далеких хороших временах, о победах над белым врагом, в знак искренней дружбы! М. Кедров. 1. 1. 1928 г.» *.

В день десятилетнего юбилея Красной Армии — 23 февраля 1928 года — я получил глубоко тронувшее меня приветствие Президиума торжественного заседания, посланное мне от имени трудящихся Архангельской губернии в лице губисполкома, губкома ВКП(б), губпрофсовета, Архангельского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и воинских частей.

Ровно через два года, в годовщину освобождения Севера от белогвардейских войск, мне был послан Архангельским горсоветом пригласительный билет на объединенное торжественное юбилейное заседание советских, партийных и профессиональных организаций.

Я сговорился с Кедровым и Пластининой, и мы вместе выехали в Архангельск на празднество, посетили ме-

* М. С. Кедров работал потом в ВЧК под руководством Ф. Э. Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны злодейски умышленно убит врагом народа Берия.

ста, особо памятные нам по боевой работе 6-й армий, побывали снова там, где смертью героев пали Павлин Виноградов, Зенькович, Куликов и многие другие; отдали им воинские почести.

* * *

В мою задачу не входит развертывать здесь перед читателем всю боевую историю героической 6-й армии, как она по справедливости была названа в приказе Реввоенсовета СССР после ликвидации фронта в 1920 году. Я считаю своим долгом остановиться на некоторых малоизвестных эпизодах борьбы на Северном фронте, почему-то считавшемся второстепенным среди фронтов гражданской войны.

Борьба 6-й армии на Севере — во многих отношениях исключительное явление войны. И по суровости природных условий и по характеру противника, каким были прибывшие в Архангельск западные интервенты, победители первоклассной германской армии, этот участок борьбы заслуживает пристального изучения.

Наиболее ответственным периодом борьбы был август — первый месяц после десанта. Наши молодые отряды, голодные и плохо одетые, неделями стояли беспрерывно, без резервов, на позициях под Обозерской, в лесу, в болотах, под дождем. Немало стойкости надо было проявить на таких позициях. Местность эта в военном отношении хорошо характеризуется судьбой 500 американцев, попавших в эти болота и оказавшихся не в состоянии из них выбраться, погибших в них при попытке обойти правый фланг наших позиций. Ни один человек не спасся, чтобы поведать, как произошла трагедия, постигшая американских захватчиков: была ли она несчастливой для них случайностью или, как ходили слухи, актом самопожертвования нового Сусанина.

Более оживленный характер носила борьба на Северной Двине, где упорные оборонительные бои перемежались то с наступлениями, то с отходами.

На Ваге наши отряды сдерживали противника, прорвавшегося наиболее глубоко к югу на кратчайшем и удобнейшем направлении к Вологде, проявляя дисциплинированность и доблесть, изумительные в молодых, необстрелянных войсках.

Велась упорная борьба на Пинеге и на Печоре, по которым северные интервенты и белогвардейцы пытались установить связь с Восточным фронтом.

Далеко не спокойно было в тылу, в самой Вологде, где были обнаружены и обезврежены офицерские контрреволюционные организации*, финансировавшиеся англичанами и широко развернувшие свою пропагандистскую, дезорганизирующую и диверсионную деятельность, готовившие ряд восстаний.

Благодаря политическому воспитанию и заботам о бойцах части 6-й армии быстро обращались в стойких и сознательных защитников, преданных советской Родине. Так было и с теми частями, которые иногда присылались к нам на фронт неустойчивыми в моральном отношении. Присланный нам на помощь из Петрограда 3-й Советский полк с эсеровскими офицерами угрозой прямого бунта сначала заставил нас оставить позиции под станцией Обозерской и отойти на Плесецкую. Но затем полк, очищенный от неблагонадежных элементов, мерами политического воспитания был превращен в одну из самых надежных и боеспособных частей армии.

Неблагоприятные политические условия: длительное влияние эсеров и меньшевиков среди населения, засилие иностранного капитала, тяжелое хозяйственное положение — заставили командование армии с самого начала обратить главное внимание на создание и всемерное укрепление политического аппарата и на его партийно-политическую деятельность как в войсках и среди населения, так и среди войск интервентов и белогвардейцев. Эта работа сделалась могучим средством в руках политического отдела армии для сплочения рядов армии и сыграла громадную роль в моральном укреплении всех полков.

Большая общественно-политическая работа проводилась членами Революционного Военного Совета армии и комиссарами дивизий и полков. Все они приложили громадные усилия к укреплению железной воинской дисциплины, к тому, чтобы бойцы овладели боевой техникой, научились беречь оружие.

* Организация «Британо-славянских легионов», «Союз возрождения России».

Особенно плодотворной была деятельность члена Военного совета М. К. Ветошкина, совмещавшего свои военные обязанности с должностью председателя Вологодского исполкома.

В свою ответственную деятельность политического руководителя армии он внес богатейший опыт уже тогда старого большевика *, активно работавшего в большевистских организациях как в тылу царской армии во время русско-японской войны, так и среди петербургского студенчества. М. К. Ветошкин оказал неоценимую помощь членам Военного совета, особенно мне, генералу старой армии, коему вверялось руководство войсками на ответственном участке фронта.

Наблюдая результаты политической работы, я, как командующий, воочию видел, каким могучим оружием она является в борьбе за укрепление боеспособности войск, за упрочение воинской дисциплины.

Под влиянием членов Военного совета Ветошкина и Орехова я незаметно для себя включился в политическую работу, почувствовал ее неотъемлемой частью своей деятельности.

Для иллюстрации приведу один из приказов (от 20 сентября 1919 года), написанный в связи с отдельными случаями мародерства в армии. В приказе говорилось:

«Частями нашей армии на реках Северной Двине и Ваге в последние дни одержана блестящая победа над врагами Рабоче-Крестьянской Республики. Так, части на Северной Двине, преследуя противника, прошли больше ста верст, а части на Ваге окончательно очистили эту реку, захватили устье Ваги и теперь, владея Двинским Березняком, подходят уже к Мержегорской.

Революционный Военный Совет 6-й армии горд и счастлив, имея в своих рядах вверенной ему армии таких героев красноармейцев, способных на столь славные подвиги. Нами уже принимаются шаги для должной награды отличившихся полков.

И вдруг мы получаем печальное известие: оказывается, что наблюдаются повторные случаи расхищения красноармейцами имущества у населения занятых нами местностей. Хотя эти случаи и единичны, хотя их и мало,

* Члена ВКП(б) с 1904 года.

Революционный Военный Совет считает, что этому позору должен быть положен конец. Реввоенсовет грозно предупреждает, что он не допустит насилия над мирным населением и что жестоко покарает виновников! Наши победы, наша радость не должны омрачаться грабежом.

Мы обращаемся ко всем сознательным красноармейцам с напоминанием, что наши штыки несут свободу и защиту беднякам. Обижать бедноту есть преступление и измена делу нашего освобождения. Надо помогать беднякам и уничтожать тех, кто при помощи англичан теснил их. Надо братски, с любовью встречать крестьян, бывших под игом англо-франко-американских разбойников. Надо вести себя так, чтобы крестьяне освобожденных местностей видели в Красной Армии тех, кого они ждали, — то есть своих освободителей.

Революционный Военный Совет, объявляя вышеизложенное, приказывает командирам и комиссарам частей беспощадно, вплоть до расстрела на месте преступления, карать тех, кто будет грабить или обижать население занятых нами местностей. Коммунистическим ячейкам предписывается следить за поведением красноармейцев, а всем агитаторам и политработникам разъяснять населению, что если и есть кой-где случаи грабежа, то это дело рук темных личностей, проникших в ряды честных и славных красноармейцев, а посему крестьяне, не боясь, должны обо всех подобных случаях сообщать командирам или комиссарам, дабы эти негодяи понесли должную кару.

Долой негодяев, проникших в ряды красноармейцев!

Да здравствуют славные герои, очищающие Север от белых банд!

Да здравствует братское единение крестьян и Красной Армии!

Командующий армией Генерального штаба

Самойло».

Этот приказ, зачитанный во всех ротах, тронул сознание широких красноармейских масс. На борьбу с позорными для Красной Армии фактами были подняты силы коммунистов и комсомольцев. Мы все в Военном совете армии вскоре с радостью заметили, как поднялась даже у рядовых бойцов ответственность за судьбу своей армии, за ее поведение, за борьбу с сильным врагом.

В результате всей этой работы и создавались крепкие, высокосознательные красноармейские полки, хранившие строжайшую дисциплину и революционный порядок, сплоченные вокруг ленинской партии, понимавшие классовую правду гражданина-воина, готовые к решительным и самоотверженным действиям против врага.

Когда Революционный Военный Совет Республики требовал от меня как командарма помощи другим фронтам, где боевая обстановка была более острой, я с готовностью выделял из состава 6-й армии лучшие, надежнейшие части.

Неразрывно с этой деятельностью политического отдела армии шла и работа по разложению армии противника. Тут надо сказать о том, каким было положение интервентов на захваченном ими Севере.

С занятием Архангельска интервентами гражданская власть перешла в руки эсера Чайковского, образовавшего верховное управление Северной областью при поддержке с января 1919 года этого управления белогвардейцами во главе с Миллером в качестве генерал-губернатора области. Фронт их выдвинулся к югу и, как упоминалось, достигал Шенкурска. Мурманский фронт удерживался интервентами с помощью белофиннов. В захваченных районах велась беспощадная расправа с большевиками и вообще с трудовым населением. Остров Мудьюг стал могилой многочисленных борцов за социализм и независимость Родины. С обеих сторон вспыхнула партизанская война.

Трудности Северного фронта осложнились положением на других фронтах.

Предвидя, что с началом навигации 1919 года интервенты предпримут сильное наступление на Котлас по Северной Двине, мы начали уже зимой 1918 года свое продвижение вниз по Ваге с целью задержать здесь дальнейшее распространение противника, а главное укрепиться в районе устья Ваги, чтобы с этой фланговой позиции угрожать флангам интервентов, наступавших по Двине и вдоль железной дороги. Наш фронт перед развитием военных действий шел с реки Онеги к станции Обозерской на железной дороге, от нее на Вагу (к югу от Шенкурска) и далее к Северной Двине.

Уверенность генерала Айронсайда, возглавлявшего с октября войска интервентов, в своей победе над нами

была настолько велика, что в Архангельске в специально образованной интервентами комиссии серьезно обсуждался вопрос, как поступить со мной после этой победы. В своих воспоминаниях военный прокурор Северной области Добровольский вот как высказывал в комиссии свое мнение по этому поводу *:

«...Члены комиссии никак не могли понять, как можно осудить за принадлежность к «большевизму» лиц, не принадлежащих к Российской Коммунистической партии большевиков. Пришлось терпеливо приступить к долгим объяснениям, что с точки зрения закона приходится иметь дело с двумя преступными сообществами, из которых одно именуется себя Российской Коммунистической партией (большевики), а другое — Советской властью. Ядро второго сообщества составляют Ленин и другие, но, кроме них, в состав его входят не только партийные коммунисты, но и другие лица, сознательно, а не в силу принуждения или из-за куска хлеба примкнувшие к этому сообществу, причем иногда не в силу каких-либо идейных соображений, а просто потому, что они в порядке борьбы поставили ставку на Советскую власть. Деятельность таких лиц в объективном смысле приносит не меньший вред, и в оценке ее судебная власть не исходит из партийной принадлежности, но лишь разрешает вопрос, поскольку данное лицо является сознательным агентом Советской власти. Для иллюстрации своей мысли я просил членов комиссии ответить, чья деятельность является более преступной: какого-нибудь коммуниста или командующего против нас красными войсками генерала Генерального штаба Самойло».

Этим сладким надеждам Миллера — встретиться со мной еще раз после нашего знакомства в Петербурге, в Николаевском кавалерийском училище и в Главном управлении Генерального штаба, — не суждено было сбыться. Победа 6-й армии под Шенкурском произвела отрезвляющее действие и на Айронсайда, и на все британское правительство, и даже на моего другого хорошего знакомого по Петербургу — британского генерала Нокса.

* Архив русской революции, т. III, изд. Гессена, Берлин, 1922, стр. 59—60.

Летом уже начались разговоры об уводе английских войск с нашего Севера. Марушевский даже внес предложение заставить англичан остаться силой оружия!

Сам Миллер, только что в начале июня утвержденный в своей должности указом «верховного правителя России», развил по поводу ухода англичан необычайно обширную корреспонденцию.

Сначала он просил Черчилля вообще оставить английские войска в Архангельске, потом умолял его оставить их хотя бы на неделю, затем мирился с оставлением только добровольцев, наконец, только запасов. Несговорчивость Черчилля заставила Миллера поочередно просить о поддержке войсками американцев, французов, шведов, сербов, чехословаков, финнов (великодушно обещая им независимость страны!), Эстляндию, донских казаков. Потерпев везде и у всех неудачу, Миллер пошел на уступки оппозиции у себя в Северной области, ввел инспекцию труда, пообещал ряд конституционных мероприятий, амнистию, наконец стал отказываться даже от диктатуры.

Лично я лишь полной растерянностью Миллера объясню, что он забыл обратиться за помощью ко мне как к своему хорошему знакомому, дабы избавить меня от позорной казни через повешение по приговору Добровольского!

Последний удар Миллеру нанес генерал Нокс, телеграфировав в Лондон коротко, но убедительно: «Когда 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, бесцельно помогать белым».

«Better late than never *», — сказал я мысленно по адресу Нокса английскими словами русскую поговорку, — мне всегда вы казались неглупым человеком и не только потому, что подарили мне в Петербурге хорошую лондонскую сумку для носки карт».

Положение Северной области действительно было очень тяжелым, особенно продовольственное у населения: плохой урожай, отсутствие помощи от Временного правительства, бывшего на стороне кулаков и прежних владельцев. Паек от «союзников» был мал и выдавался на год. Все издержки по гражданской войне ложились на плечи широких масс.

* Лучше поздно, чем никогда.

Оставшиеся в архангельском подполье большевики, несмотря на свирепые репрессии (расстрелы производились даже по подозрению), укрепляли свои организации, вели выступления против интервентов, выпускали прокламации, подготавливали волнения и даже восстания в войсках.

Уповая на значительные силы (интервенты сосредоточили на Севере свыше 56 тысяч человек, считая экипажи эскадр) и на широко проводимые репрессии, белое правительство и союзное командование долго не признавали безнадежности борьбы против целого народа, уверенного в своей правоте и защищавшего свое существование.

Несмотря на громадное впечатление, произведенное на «союзников» поражением под Шенкурском, тот же Миллер много позже, на совещании с общественными группами, утверждал, что положение на Севере ничего угрожающего не представляет. Долго не открывал он глаз и на состояние собственных белогвардейских войск. С легкой руки английских солдат, начавших сопротивление отправке на фронт, подняли бунт 3-й и 8-й полки. Летом на Онеге 5-й полк, перебив своих офицеров, перешел на сторону красных войск; бунтовал и лучший белогвардейский Дайеровский полк, действовавший на железнодорожном направлении, причем часть его также перешла на сторону советских войск; то же было в 7-м полку; в начале зимы Архангелогородский полк поднял восстание, охарактеризованное генерал-губернатором как «небольшое недоразумение». Начали постепенно сдавать даже наиболее надежные банды белых партизан (шенкурских и тарасовских) из кулацких выходцев. Мятежи из Архангельского района стали перекидываться на Пинегу и Печору.

Распространенное мнение о том, что Северный фронт был фронтом менее важным, носившим характер пассивный, оборонительный, я считаю ошибочным, основанным лишь на внешнем сравнении условий борьбы на нем с условиями других, более активных фронтов.

Действия 6-й армии на протяжении всей ее борьбы имели характер маневренный и активный. Длительные промежутки в боевых действиях вызывались или климатическими особенностями, или необходимостью длительной же подготовки очередных операций ввиду громадных

расстояний, скудости транспортных средств и средств связи. Кроме того, 6-я армия, как я уже говорил, неоднократно выделяла из своего состава лучшие полки на помощь соседним фронтам. Это обстоятельство иногда не только лишало армию возможности предпринимать активные действия, но ставило ее в невыгодное и даже опасное положение. Тем не менее я считал себя обязанным идти на это во имя взаимной выручки, учитывая, что в случае неудачи наш фронт располагает огромными пространствами для отхода, чего нет на других фронтах. Главное же я рассчитывал на доблесть своих войск и их командиров, воспитанных и закаленных суровыми условиями Северного театра войны, на испытанную помощь партийно-политических работников армии.

Полным подтверждением таких соображений и явилась Шенкурская операция.

Шенкурск, уездный город на судоходной реке Вага, был сильно укреплен интервентами. Он служил оплотом эсеровского и меньшевистского влияния не только в уезде, но и во всей Архангельской губернии и являлся самым южным пунктом, до которого продвинулись с начала войны интервенты. Расположен Шенкурск между важнейшими оперативными направлениями: железнодорожным — на Москву и северодвинским — на Котлас и далее на Екатеринбург и Пермь (3-я армия Восточного фронта). Владея Шенкурском, интервенты все время угрожали флангам наших позиций на обоих направлениях. Отсюда стремление 6-й армии захватить Шенкурск, чтобы затем выйти через устье Ваги на Двину, а по ней спуститься вниз к Архангельску в обход сильно укрепленных позиций на железной дороге. Этот расчет строился на разности во времени между освобождением Двины ото льда в верховьях и низовьях ее. Последнее в свою очередь позволяло рассчитывать на содействие нашей флотилии и бездействие более сильной флотилии противника.

Этот наш замысел в конце концов и был осуществлен. Все другие расчеты на овладение Архангельском, дававшие главному, себя не оправдали.

После десанта интервентов линия фронта с трудно проходимыми перерывами между главнейшими направлениями установилась: от северного берега Онежского

озера на Повенец, Кожозеро, Прилуцкое (на Онеге), 441-я верста на железной дороге, Кодыш (на Емце), Березник (на Ваге), Троицкое (на Северной Двине), Труфангорское (на Пинеге) и далее по старинному северному пути на Березов (на Оби) через Усть-Шугор (на Печоре).

В район Печоры был брошен отряд Мандельбаума * с целью препятствовать связи интервентов с Колчаком.

На этом правом фланге армии действовать можно было лишь летом, в остальное время все пространство между Вычегдой и истоками всех северных рек представляло поверхность, не проходимую из-за болот и снега.

В октябре яростные атаки интервентов на Северной Двине совпали с серьезными восстаниями белогвардейцев, организованными эсеров-меньшевистскими главарями в районах Ижевского и Воткинского казенных заводов. Восстания удалось ликвидировать в ноябре по особому требованию Ленина, видевшего опасность их и для Северного фронта в связи с активными действиями Колчака против Перми (3-й армии Восточного фронта).

Все эти действия, равно как и появление чехословацких отрядов на Печоре, были, очевидно, звеньями одного и того же плана интервентов, имевшего целью соединенными усилиями наступать к центру республики со всего севера и востока.

Мы в 6-й армии болезненно ощущали опасность, грозящую на нашем правом фланге. Наш Печорский край и Чердынский район все время притягивали на себя боевые усилия как со стороны Колчака, так и со стороны северных интервентов. Их целью было сомкнуть здесь оба фронта, а мы не располагали средствами, чтобы парализовать их усилия. Именно здесь, в районах Ижевского и Воткинского заводов, интервенты при содействии эсеров и меньшевиков создавали крупные очаги восстаний против Советской власти.

Наиболее опасным в данном отношении был для 6-й армии декабрь 1918 года, принесший неустойку 3-й армии на Восточном фронте и захват Колчаком Перми, а на Северном фронте, в Печорском крае, — активные и

* Аферист, рекомендованный и присланный из центра (Пятницким), много повредивший армии и впоследствии осужденный. Разбитый на Печоре чехословаками, отряд его был заменен отрядом от 6-й армии.

успешные действия чехословацких отрядов против афериста Мандельбаума.

Заменившие его командиры успели упрочить наше положение на Печоре, но, не располагая силами и средствами, не смогли надежно обеспечить край от дальнейших посягательств и с севера и со стороны Чердыни.

Это угрожающее положение Печорского края и тесно связанного с ним правого фланга 6-й армии (районы Вятки и Котласа) заставило Военный совет армии в начале 1919 года обратиться с особым письмом к Владимиру Ильичу. Судьба этого письма (опубликованного впоследствии в XXXIV Ленинском сборнике с резолюцией и пометками Владимира Ильича) отчетливо показывает, какое значение придавал Ленин Северному фронту, как пристально следил за положением на нем, как внимательно относился к сообщениям с мест, как мудро оценивал боевую обстановку во всех ее подробностях и как быстро, полно, дальновидно принимал меры для устранения всех недостатков.

С целью наглядно показать это не могу воздержаться, чтобы не воспроизвести следующее место из письма 6-й армии и ответ Ленина: «...Положение фронта нашей VI армии сугубо неприятное, отступление III армии еще больше ухудшает. В северо-восточной части нашей армии, т. е. в Печорском крае уже за последнее время (как Вы уже вероятно знаете из сводки) появились чехо-словаки, под командою князя Вяземского, стремящегося к воссоединению Урала с Архангельском. Помешать же этому воссоединению мы абсолютно не можем. Несмотря на целый ряд предупреждений и Севфронта и Реввоенсовета Республики на эту опасность мы до сих пор ничего не получили. И ежели нам своевременно не дадут сил, то через несколько времени мы будем иметь перед собой сплошной фронт противника — Архангельск — Пермь — Урал...»

На полях этого письма Ленин написал:

«Реввоенсовету для принятия мер экстренно»

К концу 1918 года основная 18-я стрелковая дивизия 6-й армии имела две бригады на железнодорожном направлении, а третью — на Северной Двине с полками на Ваге, Пинеге, Мезени, Вакше.

На левом фланге армии интервенты, захватив район Чекуева на Онеге, держали в своих руках единственную

дорогу, соединявшую Архангельский район с Мурманском.

Свой план на овладение укрепленным Шенкурском я строил на одновременной атаке его с трех сторон: с фронта, вдоль Ваги (Вельская колонна Филипповского — 1200 штыков с 6 тяжелыми орудиями); со стороны железной дороги, от станции Няндомы, удаленной от Шенкурска на 190 верст (колонна Раудмеца — 1000 штыков); от села Кодема на Северной Двине, удаленного на 250 верст (колонна Солодухина — 600 штыков с одной 6-дюймовой пушкой). Одновременно партизанский отряд у села Шеговары (40 верст севернее Шенкурска) должен был отрезать противнику отход в тыл.

Я ясно себе представлял, что если бы такую операцию я представил профессору генералу Орлову в Академии Генерального штаба, то мне не видать бы Генерального штаба, как своих ушей, так как мой план не только был труден и рискован, но вообще противоречил основному правилу военного искусства — не назначать соединения разрозненных частей, что называется, под носом у противника. Но я твердо рассчитывал на следующие, оправдывавшие план соображения:

- на испытанные уже качества красноармейских частей и начальников колонн;

- на пассивный характер всего Шенкурского гарнизона (3 тысячи американцев и канадцев с белогвардейцами) и его начальника, и без того, по сведениям разведки, опасавшихся за свое слишком выдвинутое вперед положение, а потому более рассчитывавших на отсиживание в укреплениях города;

- на то, что окружающая местность считается ими недоступной для продвижения войск зимой, при глубине снега до двух аршин, и особенно для артиллерии (эти убеждения мы старательно поддерживали в гарнизоне через доверенных агентов);

- на отличное знакомство с этой местностью наших войск, непрерывно беспокоивших американцев деятельностью разведывательных команд и приучавших американцев к своему появлению;

- на то, что действительно труднодоступная местность окажется для местных уроженцев с их умением приспосабливаться к суровым условиям русского Севера вполне преодолимой;

— на предложение члена Революционного Военного Совета армии Кузьмина принять на себя и других надежных сотрудников оперативного отделения штаба армии непосредственное наблюдение на месте за согласованностью действий начальников колонн при атаке города; распорядительность в боевой обстановке и любовь к военному делу Кузьмина (за эти качества, уже выявленные на Северной Двине, он был награжден орденом Красного Знамени) не давали места сомнениям, что он справится с взятой на себя задачей *.

Таким образом, я больше опасался не за атаку города, а за успешное продвижение на такие расстояния фланговых колонн, лишенных надежных средств связи.

Директивой, данной начальникам колонн 12 января для начала наступления, предусматривался одновременный штурм города всеми тремя колоннами в 24 часа в ночь на 25 января. Подготовка же наступления велась уже с декабря.

Мои предложения оправдались полностью.

Ровно к 24 часам все три колонны заняли исходные положения для атаки. Не предусмотрел я только одного — что войска, не исключая и начальствующего состава, и без того плохо питавшиеся, будут после продолжительного движения и утомленными, а город в изобилии снабжен всякого рода запасами. Это не могло не создать задержки и действительно ее создало.

После короткого боя противник в ночь на 26 января сдал город и поспешно отступил к северу на 60 километров, на укрепленные деревни Выставка и Кицки.

Разбор операции был очень поучителен.

Город, сильно укрепленный, был взят, но главная цель — уничтожение Шенкурского гарнизона и выход к устью Ваги — достигнута не была. В этом я прежде всего винил самого себя: недостаточно категорично эта цель была поставлена перед исполнителями, считавшими (неправильно, конечно, так как идея операции им была разъяснена на предварительных совещаниях) с захватом города главную задачу выполненной, а дальнейшую — делом слабого партизанского отряда у Шеговар.

* Опасное положение 3-й армии Восточного фронта под Пермью, а на левом — под Петроградом не позволило мне оставить Вологду — единственный узел связи между обоими флангами.

Несостоятельным здесь оказалось и поведение Кузьмина и начальника оперативного отделения, от которых я был вправе ожидать проявления необходимой инициативы. Они же при создавшейся задержке в городе оказались и лично слабыми и не сумели повлиять на начальников колонн.

Рядовой состав колонн — командиры и красноармейцы — при наступлении к Шенкурску вели себя выше всяких похвал.

Трудности движения были преодолены с такой воинской доблестью, на которую способен только русский солдат, что я убежденно отстаивал, как читатель помнит, еще в Академии Генерального штаба в беседе с генералом Леером.

Трудности в Шенкурской операции для всех трех колонн были одинаково велики, но различны по своему характеру; в преодолении их громадную роль сыграли военные комиссары колонн и коммунисты.

Перед средней, Вельской, колонной стояли трудности чисто тактического, боевого характера. Она была вынуждена все время наступать с фронта под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, по совершенно открытой местности, по глубокому снегу. Опасавшиеся за свой правый фланг американцы вели хорошее наблюдение в сторону железной дороги. Это натолкнуло самих красноармейцев Раудмеца обратиться к помощи «мимикрии», хотя они и не подозревали о существовании такой отрасли военно-инженерного искусства. Они быстро приспособили свой несложный гардероб к боевой обстановке, надев нижнее белье поверх своих шинелей и приняв тонкие строи. Эти меры позволили колонне продвигаться вперед, не привлекая особого внимания противника.

Громадные трудности выпали на долю Северодвинской колонны Солодухина. Она должна была преодолеть громадное расстояние по пересеченной, лесистой местности, покрытой глубоким снегом, без каких-либо дорог. Самоотверженность рядовых коммунистов, изобретательность самих красноармейцев и опыт Солодухина, бывшего в старой армии унтер-офицером саперных войск, помогли колонне не только своевременно выйти к Шенкурску, но дотащить с собой тяжелую пушку, ставя ее то на салазки, то расчищая перед ней снег деревянным

треугольником, раздвигавшим перед собой снег и позволявшим двигаться орудиям. Зато первый же выстрел из этой пушки в начале атаки на город, как мне говорили впоследствии пленные, окончательно подорвал дух гарнизона: появление колонны, да еще с тяжелой артиллерией, со стороны, считавшейся непроходимой, решило судьбу Шенкурска.

В Шенкурске было захвачено 15 орудий, 60 пулеметов, 5 тысяч снарядов, 3 миллиона патронов, большие запасы всякого рода имущества. Однако устье Ваги добыто не было.

Впечатление, произведенное взятием нами города на правительства Англии, США и Франции (как выяснилось позже от пленных и из газет) было громадное. Из Вашингтона, по слухам, было получено запрещение ставить американцев в передовую линию! * Из Лондона на Айронсайда посыпались упреки в непредусмотрительности.

Не меньший успех имела 6-я армия в результате действий созданных ею же самой флотилии на Северной Двине и на озерах.

Кроме нескольких старых пароходов и барж, отведенных из Архангельска в Котлас, весь Беломорский флот в первых же числах августа попал в руки интервентов: крейсер «Аскольд», ледоколы «Святогор» и «Микула Селянинович», посыльные суда «Соколица» и «Горислава», миноносцы «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Сергеев», «Бесшумный», 13 тральщиков. Потребность наших войск в создании заново флотилий была вызвана обилием в крае водных пространств, служивших естественными путями сообщения, и необходимостью сотрудничества флотилий с сухопутными войсками. С падением Советской власти в Архангельске 2 августа часть моряков пробилась к пристаням и увела несколько пароходов.

С 5 по 14 августа были образованы два морских отряда. На этих пароходах, вооруженных только 37-мм пушками, моряки собрались на Двине в районе села Петропавловский, где и произошло 18-го числа первое столкновение с интервентами, принудившее последних отойти к самому устью Ваги. Здесь интервенты и задержались

* Боевая практика эти слухи подтвердила, а война американцев в Корее показала, что данное распоряжение прочно усвоено американцами со времени северной интервенции.

до половины сентября. Подошедшие к ним на помощь английские канонерские лодки с более сильной артиллерией заставили и нас создать судовую артиллерию, вооружив пароходы и баржи спешно переброшенными из Петрограда на Двину, по особому приказанию Ленина, морскими орудиями. Позже в Москве командующий войсками округа М. мне передавал, что это свое приказание об орудиях Ленин подкрепил угрозой М. отвечать головой за своевременную их доставку на Двину.

В состав ядра нашей флотилии входили четыре речных буксирных парохода, вооруженных морской артиллерией (по два 100-мм орудия и по два 75-мм на каждом), а также две вооруженные каждая двумя 6-дюймовыми орудиями железные баржи со своими буксирами.

У англичан были специальные речные боевые суда, бронированные, прекрасно оборудованные и снабженные; два монитора с 6- и 7,5-дюймовыми орудиями; четыре канонерские лодки с 6-дюймовой и другой артиллерией; а также значительное количество самолетов для корректирования огня судовой артиллерии; последние почти непрерывно бомбили суда нашей флотилии.

Соотношение сил было далеко не в нашу пользу, и обстановка требовала очень продуманного подхода к использованию наших судов, чтобы, нанося максимальный вред противнику, сохранить боевую силу флотилии. При всем этом вновь созданная флотилия значительно облегчила противодействие мощной английской флотилии на этом важнейшем для интервентов направлении.

Весной 1919 года мы готовились нанести сильный удар англичанам, несмотря на их канонерские лодки и даже мониторы. Мы предполагали, как уже сказано, воспользоваться разницей в ледоходе в верховьях и низовьях Двины с целью овладеть столь желанным устьем Ваги.

Однако (уже после моего отъезда на Восточный фронт) неожиданно сильный ледоход из Вычегды задержал на неделю нашу флотилию. 1 мая она вышла, а 2-го уже встретилась с английской флотилией и была вынуждена лишь отбиваться от ее ударов.

В сентябре наша флотилия снова перешла к активным действиям, траля свои и неприятельские мины (впервые магнитные!). Это вынудило ее отстать от продвижения своих войск, а в половине октября, с началом морозов, флотилия ушла на зимовку в Котлас.

Проведение операций 1919 года на Двине выявило две разные тенденции: у сухопутного командования, с одной стороны, и у командования флотилией — с другой. Первое исходило из подсобной роли флотилии в решении задач сухопутного фронта. Последнее считало главной задачей своей флотилии ослабление и парализацию действий флотилии противника, так как такой успех сразу отразился бы на положении частей на побережье. Это подтверждалось успешными действиями нашей судовой артиллерии, а также применением мин, помешавших английской флотилии продвинуться вверх по реке. Наряду с этим командование флотилией признавало важность артиллерийской помощи частям армии при подготовке наступления, когда суда флотилии должны были содействовать разрушению неприятельских блокгаузов и других укреплений, а также бороться с артиллерией противника. В критические моменты судовая артиллерия должна была быть готова к отражению наседающего противника.

Все эти соображения моряков не вызывали, конечно, возражений со стороны командования армией. Оно не могло требовать от судовой артиллерии выполнения лишь второстепенных и мелких задач.

На Северной Двине мы имели наиболее типичные условия для речной войны, так как речными флотилиями располагали оба противника. Линия боевого фронта шла перпендикулярно реке, уходя в ту и другую стороны от берега на несколько километров. Фланги ее упирались в почти непроходимые леса и болота, что обуславливало действия флотилий на центральных участках фронта.

В общем, опыт Северодвинской флотилии показал, с одной стороны, трудность борьбы импровизированного флота со специальными судами, а с другой — полную возможность использовать даже такой флот с целью обороны, чтобы удерживать противника от прорыва фронта.

После присоединения к территории Северного фронта Междоузерного района (между Онежским и Ладожским озерами) на Онежскую флотилию легла задача по обеспечению нашего наступления вдоль Мурманской железной дороги, так как наши силы были слабы и требовали помощи огнем и десантом. Однако и здесь наша флотилия была также слаба, тем более, что противник располагал быстроходными катерами и гидроавиацией. Лишь

после усиления нашей флотилии подкреплениями из Балтики она могла осенью развить активные действия и ликвидировать попытки северных белогвардейцев поддерживать Юденича. Действия флотилии, усиленной балтийскими миноносцами и сторожевыми судами (в ее составе было до 30 судов разного назначения), успешно возмещали малочисленность наших войск на Междоузерном участке, причем распространялись на все Онежское озеро, реку Свирь и даже Ладожское озеро.

Присоединение Междоузерного участка к Северному фронту позволило войскам фронта принять участие в знаменитой Видлицкой операции в конце июня 1919 года, во время борьбы с первым наступлением на Петроград. Белофинская добровольческая армия, двигаясь по восточному берегу Ладожского озера к югу, угрожала не только Мурманской железной дороге, но и дороге из Петрограда на Москву и Вологду. На войска 6-й армии была возложена задача начать наступление против белофиннов с целью оттеснить их за границу и установить связь с петроградской группой Красной Армии. Одновременно было решено высадить десант в тылу противника, для чего из Балтики были посланы на помощь в Ладожское озеро миноносцы и сторожевые суда. 27 июня десант на пароходах подошел к устью реки Видлицы, где находилась главная материальная база белофиннов, и, разгромив тыл противника, принудил его отойти.

Остановившись на этих ярких страницах истории 6-й армии, я не могу не отметить заслуг таких ее участников, на которых лежала деятельность, малозаметная с первого взгляда, неблагодарная и очень трудоемкая, но в высшей степени влиявшая на успешность всех боевых действий армии. Я имею в виду военных инженеров армии и их армейского начальника, скромнейшего товарища Фирсова; военно-санитарных работников, руководимых благороднейшим самоотверженным коммунистом Христофоровым, и военных связистов, с таким колоссальным трудом налаживавших связь на огромных пространствах Северного фронта.

Всеобъемлющую нужду в военно-инженерном искусстве и в военно-саперном деле легко поймет каждый, ибо нельзя представить себе нормальной деятельности войск без технической помощи, особенно в тяжелых условиях Севера.

Диву даешься и при мысли о том, как мог Христофоров со своими малочисленными помощниками врачами умудриться в тяжелейшие 1918—1919 годы всеобщей разрухи и недостатка во всем предохранить от неминуемых, казалось бы, эпидемий Северный фронт — эту чуть ли не единственную в республике котловину, в которую свозились больные, раненые, пленные со всех фронтов. И надо быть такой случайности, чтобы Христофоров, уберегший у себя на фронте сотни тысяч людей от этих эпидемий, сам погиб от тифа, едва попав на другой фронт!

Вспоминая товарищей, составлявших командование армии, хотелось бы сказать, что это были русские люди, любившие свою землю и свой народ. Хотя они и делали ошибки, как люди, но искренне стремились к благу Родины и соединяли в этом едином стремлении все свои усилия. Мы никогда не закрывали глаза на взаимные недостатки, но всегда при этом помогали друг другу. Я помню, как Орехов ругал меня за расточительность, когда я вздумал заказать себе кожаную куртку. Еще более памятни мне острые разногласия мои с Кузьминым, когда он вздумал вмешиваться в мои оперативные распоряжения, а я на них ответил телеграммой главкому с просьбой снять меня с должности и заменить Кузьминым. В ответ я получил от РВС Республики телеграмму, одинаково удовлетворившую и меня и Кузьмина: «Продолжайте спокойно работать. Советское правительство смотрит на вас как на одного из надежнейших защитников Республики».

Кузьмин вслед за этой телеграммой был назначен на другой фронт, что несколько позже не помешало ему просить о возвращении в 6-ю армию, а мне — согласиться на его просьбу. При расставании Кузьмин подарил мне свою брошюру «Чему учились под огнем врага» (1921 год) с надписью: «А. А. Самойло — первому, кто ознакомил с принципами военной науки».

Теплым и трогательным было мое прощание со своими товарищами по Революционному Военному Совету армии, когда я, закончив командование, уезжал из 6-й армии. С Александром Михайловичем Ореховым мы обнялись со слезами на глазах: я как бы предчувствовал скорую, безвременную кончину этого простого, прямого, искреннего человека.

Когда я вспоминаю товарищей Ветошкина и Орехова, их неутомимую деятельность по воспитанию комиссаров полков и дивизий, по насаждению железной дисциплины и порядка в частях, то невольно думаю о том, что именно таких энергичных, отдававших себя целиком борьбе политработников имел в виду В. И. Ленин, когда говорил, что без военкома мы не имели бы Красной Армии.

С М. К. Ветошкиным мне привелось после почти 35-летней разлуки встретиться совсем недавно — в 1955 году. Мы, конечно, не сразу узнали друг друга: годы сделали свое. Но как приятно была мне эта встреча! Мы живо вспомнили дела давно минувших дней, нашу незабываемую 6-ю армию...

Недавно в связи с пятидесятилетием общественно-политической деятельности и в ознаменование активного участия в революционном движении правительство наградило Михаила Кузьмича, ныне профессора, доктора исторических наук, орденом Ленина.

* * *

Как может видеть читатель, у меня не было оснований быть неудовлетворенным ходом событий на фронте, которым я командовал. Приближение весны 1919 года с радужными надеждами на успешные северодвинские операции, неразрывно для меня соединявшиеся с надеждами на освобождение от интервентов Архангельска, еще более подымали мое оптимистическое настроение. Помню, что, глядя из окна штаба на хлопоты начальника снабжения около посаженной им яблони, я размышлял о том, как обеспечить плодотворные результаты предстоящих операций.

Мне не приходило, однако, в голову, что непредвиденное событие может разрушить мои надежды так же, как одна холодная ночь может уничтожить все заботы о яблоне.

Это неожиданное событие в моей жизни и наступило в конце апреля 1919 года.

Костяев, начальник штаба главкома, мой товарищ по Генеральному штабу, вызвал меня к прямому проводу и от имени главкома предложил принять должность командующего армиями Восточного фронта вместо снимаемого с этого поста С. С. Каменева. Костяев добавил, что на

мое место решено поставить Глаголева, работающего на Туркестанском фронте.

Как ни неожиданно для меня было это предложение, я тотчас представил себе всю его нелепость. Как можно было в критический момент самых горячих боевых действий снимать с должности командующего — пусть даже виновного в боевой неустойке, но держащего в руках все нити такого сложного аппарата, как управление фронтом! Эта нелепость неизмеримо вырастала в моих глазах оттого, что на замену Каменева выдвигался человек со стороны, находящийся совершенно не в курсе событий на фронте, не знающий войск и их начальников, не знающий ближайших сотрудников. Наконец, предложение было и противозаконно, так как замещать командующего можно лишь его начальником штаба как единственным человеком, стоящим в курсе дел и могущим без перерыва руководить боевыми действиями.

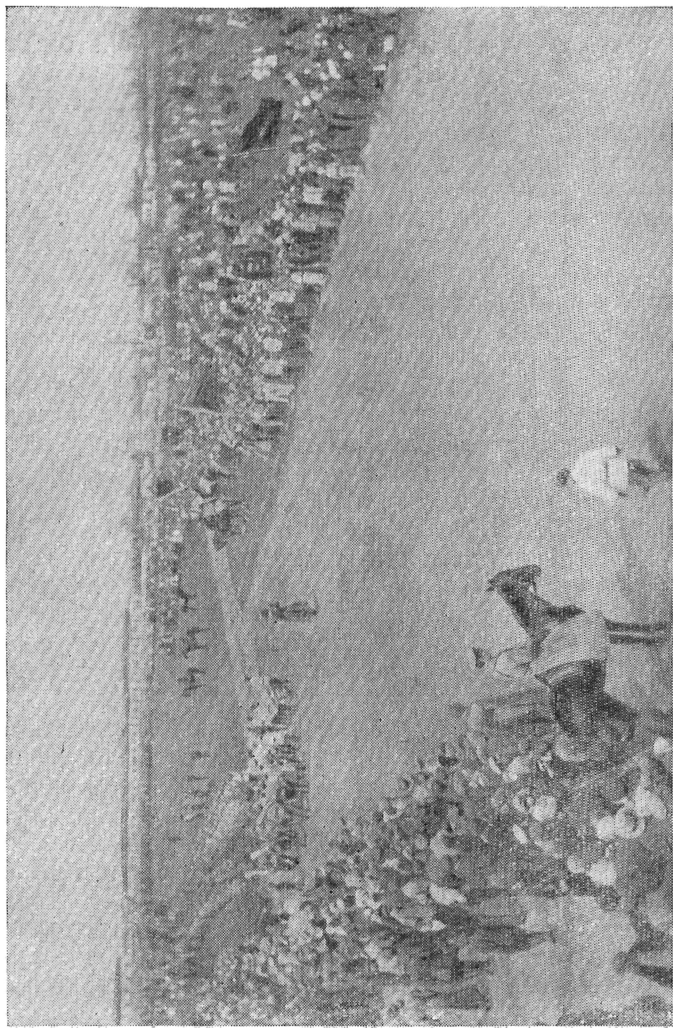
Нелепость предстоящей перемены вырастала еще больше при мысли, что моим собственным заместителем в 6-й армии являлся человек, очевидно, столь же незнакомый с условиями Северного фронта, как я с условиями Восточного.

Все эти соображения заставили меня категорически отклонить сделанное мне предложение.

В тот же день меня вызвал к проводу мой товарищ П. П. Лебедев, оказавшийся начальником штаба Восточного фронта. По его словам, он счел нужным предупредить меня, узнав о сделанном мне предложении, что весь состав Революционного Военного Совета фронта решил отказаться от своих должностей в случае смены Каменева. Это известие окончательно укрепило меня в своей позиции.

Однако Костяев заявил, что предложение главкома категорическое, и мне высылается официальное предписание, а также вагон для отъезда в Симбирск.

Чтобы понять мое отношение к этому приказу, надо вспомнить, что Восточный фронт был в тот период главным фронтом, где в напряженных сражениях непосредственно решался вопрос о самом существовании Советской республики. Интервенты сосредоточили против этого фронта наибольшие силы, снабдив их огромной военной техникой.



Первомайский парад частей Вологодского гарнизона (1949 год)

Мои печальные размышления по поводу назначения на Восточный фронт разделяли многие в нашей 6-й армии. 2 мая 1919 года от Военного совета ее я получил приказ по армии (№ 527), в котором было сказано: «Для армии тяжело это расставание, так как при вас она зарождалась, созидалась и превратилась в могучий оплот русской революции на Севере. Ей приходилось сражаться не только с врагами, но и с природой, климатом и некультурностью всего края. Но при вас все враги и все препятствия преодолевались. Расставаясь с вами, 6-я армия несет тяжелую утрату в руководстве ее боевой деятельностью, но сознает, что, в ущерб интересам 6-й армии, республика вручает вам судьбу свою на Востоке, а в ваших личных качествах, в вашей беззаветной любви к Родине и преданности народу 6-я армия видит залог дальнейших ваших боевых успехов и новых подвигов».

* * *

Сидя в вагоне по пути в Симбирск, к новой должности, я с горькой усмешкой вспомнил сравнение с яблоней, сделанное еще в Вологде. Теперь я казался себе чем-то вроде яблони, вырванной из земли...

2 мая 1919 года телеграммой главкома № 203 я был назначен временно командующим фронтом, а приказом Революционного Военного Совета Республики от 9 мая № 67 утвержден в этой должности.

Работа моя на новом фронте, как я и опасался, сложилась в условиях, тяжелее которых трудно себе представить. Реввоенсовет возглавлял фактически Гусев — старый большевик, хорошо осведомленный в военном деле *. Два других члена Реввоенсовета фронта были лишь исполнителями указаний Гусева. Каменев, как сам он потом сказал мне в Москве, правда, в шутиливом тоне, таил неприязнь ко мне с той давней поры, когда в Киеве я отказался взять его, Каменева, моим помощником в штаб Киевского военного округа.

После моего приезда в Симбирск он не только оставался там, но продолжал жить на одной квартире с Гусевым и пытался через него влиять на все проводимые мной решения. Неоднократно бывало, что Гусев, согла-

* До революции был редактором военной энциклопедии, изд. Сытина.

шаясь со мной по какому-либо вопросу утром, во вторую половину дня, вернувшись с обеда и переговорив, очевидно, с Каменевым, отказывался от своего прежнего мнения. А эти колебания вызывали, разумеется, необходимость и с моей стороны в изменении, а иногда даже в перемене решений. Все мои распоряжения дискредитировались.

Положение усложнилось резким конфликтом между мной и командующим 5-й армией Тухачевским из-за неправильных его донесений о действиях своих дивизий. Сторону его принял и Гусев. На мое обжалование главному я получил разрешение отстранить командарма-5 от командования армией. Однако осуществить это разрешение я, конечно, не считал возможным по условиям оперативной обстановки, в силу тех же соображений, по которым я сам отказывался от назначения на Восточный фронт.

Наши общие разногласия дошли до Ленина и заставили центр пересмотреть все положение. В результате Каменев был восстановлен в должности командующего фронтом, а я возвращен на свою должность командарма 6-й отдельной армии (Северного фронта).

Вследствие нервного утомления и осложнения с контузией головы мне было предоставлено несколько дней отдыха, после которого я вернулся в Вологду.

Позднее от Лебедева я узнал, что в качестве одного из аргументов против меня Гусев представил мою характеристику (за несколько дней совместной службы!) как ставленника Троцкого (очевидно, придавая слову «ставленник» какое-то особое значение) и как лица, неспособного к командованию фронтом, внесшего в дело путаницу вследствие неоднократных перемен в своих решениях. Не знаю, кто в данном случае повлиял на Гусева. Ясно, однако, что эта характеристика была продиктована не стремлением к объективной оценке моих действий, а являлась попыткой свалить вину с больной головы на здоровую.

В 1935 году бывший командарм-5 Тухачевский, уже в должности первого заместителя Народного комиссара обороны, вспоминая события на Восточном фронте, поместил в центральных газетах упомянутую характеристику. В своем частном письме к нему я просил его указать мне, как реагировать на эту статью: подать ли в отставку или

выступить в печати с объяснениями. На это через начальника штаба Московского военного округа я получил указание — смотреть на данный вопрос лишь как на эпизод истории, поэтому объяснения в печати не нужны, и продолжать служить, как служил до сих пор.

Позже, в 1940 году, та же моя характеристика была повторена совсем для меня неизвестным автором Борисовым в его брошюре с воспоминаниями о М. В. Фрунзе, а также нашла отражение в книге «Статьи и речи М. В. Фрунзе» издания 1936 года.

По требованию главкома я, возвратясь из Симбирска, составил 7 и 8 июня 1919 года доклады о боевой обстановке на Восточном фронте. Эти свои доклады я обнаружил в 1947 году в Институте Маркса — Энгельса — Ленина. В Краснознаменной Военно-воздушной академии в это время состоял преподавателем генерал Михельсон; он мне рассказал, что его знакомый командир, работая в архивах, встретил мой доклад с очень для меня лестным отзывом Ленина. Естественно, что я захотел этот доклад найти. В Архиве Красной Армии такого доклада не оказалось, но я узнал, что если на докладе была резолюция Ленина, то его надо искать в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Действительно, в этом Институте мне показали оба моих доклада — от 7 и 8 июня, но резолюция Ленина была лишь на одном из них такого содержания: «Секретно. Троцкому и Склянскому».

Никаких других докладов с резолюцией Ленина мне найти не удалось. Впрочем, когда я через некоторый срок зашел вторично в Институт проверить в точности дату резолюции, мне и этот доклад показан не был, так как его в Институте уже не оказалось.

Я не смею, конечно, истолковывать значение виденной мной резолюции Ленина, но мне не верится, чтобы в тот острый политический момент, к которому относились мои доклады, приведенная выше резолюция Владимира Ильича могла означать только простую передачу докладов по принадлежности. Следующие факты из моей службы, имевшие место непосредственно после возвращения моего из Симбирска, позволяют мне смотреть на эту резолюцию в благоприятном для меня смысле. Я имею в виду:

— возвращение мое после командования Восточным

фронтом на должность командующего Северным фронтом;

— награждение меня после ликвидации Северного фронта двумя орденами Красного Знамени и ценным подарком от Революционного Военного Совета Республики;

— назначение мое в 1920 году в состав комиссии по перемирию с Финляндией, а затем в состав комиссии по переговорам с Турцией;

— назначение мое помощником начальника Полевого штаба, а затем штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии;

— назначение мое начальником Всероссийского Главного штаба;

— назначение меня членом Высшего военного совещания.

Вряд ли эти факты могли иметь место, если бы у Владимира Ильича по вопросу о командовании мной Восточным фронтом осталось неблагоприятное для меня заключение.

Восточный фронт весной 1919 года имел решающее для республики значение. В начале апреля этого года Колчак, пользуясь превосходством в силах, подошел почти вплотную к Волге. Только принятыми мерами по усилению фронта и выдающимся по искусству контрнаступлением, осуществленным под руководством М. В. Фрунзе, достигнут был перелом на Восточном фронте и тем самым положено начало решительному разгрому всех вооруженных сил интервенции и контрреволюции.

В результате был воссоединен с Советской республикой Туркестан, высоко поднят во всей Азии авторитет Советской власти, несмотря на все старания англичан помешать влиянию ее в этой важной для нас окраине.

Покидая Восточный фронт, я много думал об успехах Красной Армии за пройденный ею период борьбы.

Не без удовольствия я отмечал, насколько высоко поднялась ее мощь уже в начале 1919 года; недаром бывшие союзники пытались пойти на соглашение с Советской властью и решились устроить из Польши и Эстонии ряд государств-буферов между собой и Советской Россией. На Восточном фронте наша армия развивала успехи на оренбургском и уральском направлениях, что позволило ее частям соединиться с войсками Туркестана,

обеспечив этим связь со столь важной для нас окраиной, уничтожая одновременно отряды оренбургского и уральского казачества — оплот армии Дутова. Успех здесь был тем важнее, что вместе с этим стал склоняться на нашу сторону перевес и на Южном фронте.

С особой силой я хочу подчеркнуть здесь и другую характерную черту войны — внутреннюю, обуславливавшую все успехи данного периода, а именно: историческую роль Коммунистической партии и ее вождя Владимира Ильича Ленина.

Мы, свидетели и участники строительства Красной Армии с первых дней ее существования, знаем и понимаем, что успехи не даются сразу и даром, что надо положить много труда, преодолеть немало препятствий, чтобы их достичь. Мы гордимся своим участием в строительстве нашей армии под руководством Коммунистической партии и по непосредственным указаниям В. И. Ленина. Но мы одновременно хорошо поняли и гордимся еще более, что эти успехи возможны лишь у свободного народа, создавшего для этого благоприятную почву — в соответствующем государственном и общественном строе, в согласии с высоким учением, которым руководствуется и сама Коммунистическая партия.

Одним из главных положений этого учения является установление и неукоснительное соблюдение последовательной и строго централизованной дисциплины во всей организационной и оперативной работе. Кедров часто говорил мне, что Ленин не раз настойчиво указывал ему на первостепенное значение в армии крепкой дисциплины и строгого воинского порядка. Ленин считал это важнейшей обязанностью всего состава армии и в первую очередь командного состава, которому с этой целью и присваиваются дисциплинарные права как могучее средство воспитания и внедрения высокого сознания воинского долга и воинской чести, этих основ боевой мощи армии.

* * *

Летом 1919 года в войсках интервентов начались восстания. Целые полки, бросая свои позиции, переходили на нашу сторону. Вскоре все пространство между Ладожским и Онежским озерами было очищено от противника. При этом были захвачены большие трофеи.

В августе по указаниям из Лондона интервенты начали эвакуацию. Для обеспечения этого англичане, не доверяя силам белогвардейцев, срочно прислали несколько батальонов с батареями и пятью танками, взятыми с Западного фронта. Было решено с целью обеспечения большей безопасности эвакуации собрать все силы и, пользуясь численным превосходством, нанести последний удар. Однако на практике весь результат такого «удара» вылился в захват одной лишь станции Плесецкой.

Ввиду безнадежности создавшегося положения 9 августа покинул Мурманск итальянский экспедиционный корпус во главе со своей миссией. Из Лондона в Мурманск и Архангельск был выслан значительный флот для перевозки английских солдат. Причем Айронсайду великобританское правительство ставило в вину, что он не отвел сам солдат с фронта еще зимой и вынужден делать это теперь под давлением 6-й армии. Айронсайд со своей стороны оправдывался громадной разбросанностью сил, холодом, снегом, климатом!

В Архангельске уже с августа находился генерал Раулинсон, «специалист по эвакуации». По его указаниям была уничтожена и потоплена масса ценных грузов, не переданных даже Миллеру из боязни, что они попадут в руки большевиков.

В конце сентября и начале октября англичане, наконец, оставили Архангельск и Мурманск.

Зимой 1919/20 года 6-я армия была занята формированием и обучением новых частей и отправкой их на другие фронты, срочно требовавшие подкреплений.

На Двине согласно отданному приказу В. Д. Цветаев со своими двумя полками перешел в решительное наступление и 4 февраля 1920 года овладел укрепленными позициями противника на речке Шепелиха. Этот наш успех сразу резко подорвал и моральное состояние белогвардейцев. С целью использовать благоприятный момент были двинуты на Архангельск вдоль железной дороги 154-й и 155-й полки. Несмотря на тяжесть наступления по глубокому снегу, в 40-градусный мороз, при плохом обмундировании красноармейцев, наступление увенчалось блестящим успехом. За дни боев с 8 по 15 февраля весь фронт противника на этом главном направлении был дезорганизован. 21 февраля наши передовые части прорвались на станцию Холмогоры, где были

встречены депутацией от восставшего накануне населения Архангельска. В тот же день наши части вошли в город.

Миллер, перебравшись со своим штабом на ледокол «Минин», поспешил оставить Архангельск.

Пришел столь желанный конец северной интервенции.

Не могу не поделиться с читателем своей гордостью за моральное состояние частей 6-й армии: названные выше полки возбудили ходатайство не вводить их в город в изношенной одежде, а предварительно позволить переодеться из оставленных в городе запасов.

Революционный Военный Совет учел горячее желание бойцов армии — поделиться своей радостью с великим вождем народа Лениным, все эти годы борьбы неослабно следившим за положением на Севере и своевременно помогавшим нам побеждать врага. Была составлена телеграмма, в которой мы стремились соединить военное донесение с чувствами, охватившими нас и население.

«Сегодня в час, — писали мы, — 154-й красный полк вступил на посрамление мировой буржуазии, на радость международному пролетариату в советский Архангельск. Население встретило восторженно, хлебом, солью. 2 танка, 40 автомобилей, большие склады военного снаряжения, продовольствия находятся в полном порядке. Миллер бежал на ледоколе «Минин», послана погоня. В городе порядок образцовый. Мезень — Пинега, куда сообщили по радио, что введена Советская власть в Архангельске, восторженно приветствует советские войска за освобождение от гнета насильников английского империализма».

Успех под Архангельском сразу распространился на весь фронт. 26 февраля была взята Онега. Наступление на мурманском направлении, начатое 24 февраля, тотчас после переворота в Мурманске, быстро развивалось: 2 марта была захвачена Кемь, а 13 марта и сам Мурманск; 23 марта была занята незамерзающая бухта Печенга.

В итоге 6-я армия возвратила Советской власти Северный край с двумя незамерзающими портами, с территориями в 640 тысяч квадратных километров и с населением в 640 тысяч человек.

Безгранично приятно читать данную Лениным оценку победам Красной Армии на Северном фронте, в которые вложена частичка и моего труда.

«На Северном фронте, — сказал в октябре 1919 года Владимир Ильич, выступая перед слушателями Свердловского университета, — где наступление на Мурманск обещало неприятелю особенно большие выгоды, где давно уже были собраны англичанами громадные и великолепно вооруженные силы, где нам, при отсутствии продовольствия и снаряжения, было невероятно трудно бороться... И как раз там оказалось, что все наступление неприятеля рухнуло окончательно».

При ликвидации фронта 6-я армия в приказе Революционного Военного Совета Республики названа «героической». Почти двухлетняя борьба в таких суровых условиях представляет исключительное явление в истории войн и вполне оправдывает это название. Оно заслужено энтузиазмом и любовью к своей Родине советских людей.



НА ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

После ликвидации Северного фронта, по окончании всех официальных торжеств в Архангельске и Вологде — парадов войсковых частей, прощания с советскими, партийными и общественными организациями, посещения местных заводов и митингов на них, я получил разрешение съездить в Петроград.

К сожалению, от моей петроградской квартиры, оставленной в 1914 году, я нашел лишь следы в виде старого барометра, висевшего на стене в артели, принявшей мой инвентарь на «хранение». Когда я сообщил об этом своему знакомому петроградскому губернскому военному комиссару Биткеру, а он в свою очередь председателю городского Совета, мне предложили в виде компенсации взять мебель из квартиры, находившейся рядом с бывшими казармами Павловского полка и брошенной своим хозяином известным писателем Леонидом Андреевым. Сначала я обрадовался, но, увидев мебель, заполнявшую две большие комнаты писателя, пришел в ужас от фантазии ее владельца. Мебель состояла из тяжелых столов, диванов, кресел и стульев с такими грубо вырезанными из дерева фигурами и физиономиями человекоподобных существ, что не могло быть и речи не только о возможности разместить их в обыкновенной жилой комнате, но и о простой перевозке их из Петрограда в Москву. Я, как говорится, махнул рукой и отказался от предложенной компенсации.

Вскоре я с семьей (женой и двумя дочерьми) переехал в Москву, где по распоряжению Михаила Ивановича Калинина, знавшего меня со времени посещения им фронтов гражданской войны, мне была отведена квартира.

Вслед за тем я был вызван в Комиссариат по иностранным делам, где вместе с врученным мне дипломатическим паспортом на имя «российского гражданина» А. А. Самойло получил приказание правительства отправиться в Петроград, в гостиницу «Астория», и поступить в качестве члена комиссии по заключению перемирия с Финляндией в распоряжение председателя комиссии. Последним оказался один из членов Революционного Военного Совета Восточного фронта, яро боровшийся против меня в Симбирске. При моем представлении ему он от имени РВС Республики вручил мне второй орден Красного Знамени «за выдающиеся заслуги на Северном фронте».

Комиссия в полном своем составе выехала в Финляндию, на столь знакомую мне станцию Куоккала, на которой я когда-то, в годы своей службы в Главном управлении Генерального штаба, снимал дачу рядом со знаменитыми «Пенатами» И. Е. Репина и не раз встречался с художником, которому я был представлен нашим общим знакомым известным скульптором Гинзбургом.

В противоположность переговорам в Бресте, финляндские мирные переговоры шли действительно мирно и 28 апреля благополучно закончились, причем я едва успел раза два побывать на старой своей даче, с которой было связано у меня много воспоминаний личного характера.

По возвращении из Финляндии я был назначен помощником начальника Полевого штаба Красной Армии, переименованного вслед за этим в штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Начальником его состоял П. П. Лебедев, а главкомом был назначен Каменев.

В том же 1920 году, кроме должности помощника начальника штаба РККА, я получил в порядке совместительства еще две должности: начальника Всероссийского Главного штаба (Всеросглавштаб) и члена Высшего военного совещания, только что созданного при РВС Республики.

Эта вторая должность в совещании, игравшем, по-видимому, лишь роль какого-то морально-политического характера, особых хлопот мне не доставляла. Никто этому совещанию никаких заданий не давал, никто от него никаких советов не требовал. Оно собиралось всего раза два — три и на этом свое существование спокойно закончило.

Совсем другого характера была должность начальника Всеросглавштаба, на которую я был назначен приказом РВС Республики в июне. Война с Антантой еще не кончилась, и в компетенцию Всеросглавштаба входила мобилизация, пополнение армии командным составом и пр.

Я как начальник Всеросглавштаба и мой военный комиссар (Степан Степанович Данилов) должны были быть у дел не менее 18 часов в сутки. Заместитель председателя Революционного Военного Совета Республики Склянский принимал наши с Даниловым доклады по ночам (после 24 часов) через каждые два дня и буквально ежечасно по телефону требовал всевозможные справки. Сам он уезжал из РВС Республики домой спать не ранее двух — трех часов ночи, а случалось и позже. Он не умел распределить ни своего времени, ни дорожить временем подчиненных. Назначив нам время доклада в 24 часа, он принимал нас почти всегда на один — два часа позже. А так как для доклада мы приезжали на Знаменку (теперь улица Фрунзе) от Садовой, то потеря времени была для нас особенно чувствительной.

По основной профессии Склянский был военным врачом и в империалистическую войну служил в 5-й армии Северного фронта.

Иного склада был характер моего комиссара по Всеросглавштабу Данилова. Это был человек деликатный, отзывчивый и внимательный в обращении. Глубоко вникая во все вопросы, он всемерно старался облегчить мне их разрешение и всячески заботился о всех моих нуждах. Уже пожилкой, страдая болезнью сердца, он тщательно скрывал свое состояние, чтобы не беспокоить окружающих. Вместе с тем Данилов умел чрезвычайно деликатно отмечать их ошибки и недостатки.

Кроме нас с Даниловым, обычными докладчиками у Склянского были Каменев и Лебедев. Особенно жаловаться на их отношение ко мне я не могу, но хорошими

назвать эти отношения тоже не могу. Частично я пояснял это выше. Жалел я лишь, что прежней дружеской теплоты в отношениях с Лебедевым уже не было.

В числе подчиненных мне как начальнику Всеросглавштаба учреждений, вскоре сделавшихся самостоятельными, были: Главное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ) и Управление всеобщего военного обучения (Всеобуч). Первое было подчинено Петровскому*, второе — Подвойскому**. Помощником моим по Всеросглавштабу был М. М. Загю, ведавший в Главном управлении военных сообщений делами почт и телеграфа, впоследствии профессор Военно-химической академии.

Главнейшей моей обязанностью были формирование и отправка на театр войны с белополяками людских пополнений, а также основные вопросы общей организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Подготовка пополнений для армии еще не была централизована. В течение 1918 и 1919 годов впервые были созданы на Восточном фронте свои запасные части, на обязанности которых лежало дообучение пополнений. Так этот вопрос разрешался в основном и на остальных фронтах.

В конце февраля 1921 года Склянский, предупредив меня о моем назначении в состав комиссии Наркома иностранных дел Чичерина по переговорам с Турцией, приказал мне подготовиться к участию в ней в качестве военного эксперта. Это было мое третье поручение дипломатического характера, считая переговоры с Германией в Брест-Литовске и с Финляндией в Куоккала.

Переговоры с Турцией велись в Москве, в особняке на берегу Москвы-реки против Кремля.

Мое участие было скромное: Чичерин предложил мне как эксперту изложить свое мнение по вопросу о передаче Турции крепости Карс и некоторых других районов, искони принадлежавших Армении. Я высказался в отрицательном смысле.

* Петровский был членом Всеобщего еврейского рабочего союза в России, Польше и Литве (Бунд), проводившего в жизнь националистические, мелкобуржуазные взгляды; в 1921 году Бунд распался.

** Подвойский Н. И. — старый большевик-революционер. Действительный участник гражданской войны.

С другой стороны, сильным противовесом этим соображениям являлась мысль, сначала туманная, окрепшая лишь позже, о необходимости пойти на соглашение с Турцией, только что стоявшей в лагере наших врагов в годы империалистической войны, но резко изменившей курс своей внешней политики под влиянием внутреннего переворота весной 1920 года, в результате которого была свергнута власть султана и установлена республиканская форма правления. Несомненным представлялось мне, что это последнее соображение больше отвечало целям Советского правительства, начавшего переговоры с Турцией с решения пойти на уступки. В результате состоялся исторический договор о дружбе и братстве между Советским Союзом и Турцией, подписанный 16 марта 1921 года.

Помню шуточные слова Чичерина о том, что, очевидно, моей военной природе свойственна жадность, проявленная уже в Бресте и Финляндии.

В течение 35 лет, вплоть до второй мировой войны, Советско-турецкий договор служил прочной основой дружественных и добрососедских отношений между Советским Союзом и Турцией, установленных благодаря мудрому руководству В. И. Ленина и заслугам выдающегося государственного деятеля Турции Мустафы Кемаля (Ататюрка), основателя молодой Турецкой республики.

После выделения из состава Всеросглавштаба основных его отделов в самостоятельные управления существование Всеросглавштаба стало излишним, и он был упразднен в 1921 году.

Я возбудил ходатайство о назначении меня на службу по Главному управлению военно-учебных заведений и был назначен начальником управления этими заведениями Московского военного округа.

Мой помощник по Всеросглавштабу М. М. Загю, прощаясь со мной, сказал:

— Я тоже перехожу на педагогическую работу в одну из военных академий по специальности военной администрации. Хочу в Красной Армии быть продолжателем деятельности, которую так плодотворно в старой армии вел профессор Макшеев.

— Смотрите, Михаил Михайлович, — пошутил я, — не забудьте, к чему привело увлечение военной администрацией бедного Макшеева: ведь он совсем оглох.

— Типун вам на язык за ваше напутствие, — в свою очередь засмеялся Загю. — Не предполагаете ли вы, что глухота — профессиональная болезнь, вызываемая этой дисциплиной?

Я был очень огорчен и вместе удивлен позже, узнав, что моя шутка оказалась пророческой. Загю оглох после выхода первых его учебников по этой учебной дисциплине *.

* * *

Начав педагогическую работу еще в первые годы по выходе из академии, я возымел к ней особую любовь как к искусству, которое в умелых руках создает хороших членов общества. После больших переживаний империалистической и гражданской войн я на этом поприще почувствовал спокойную удовлетворенность своей деятельностью.

Московский военный округ был в то время основным средоточием военно-учебных заведений разных типов и специальностей.

Какое громадное поприще для самой широкой и разнообразной научной и педагогической деятельности представляла сеть военно-учебных заведений Московского военного округа, дает понятие даже простой перечень этих заведений:

1. Тактическо-стрелковые курсы имени III Коминтерна («Выстрел»).

* «Пророчество» это обернулось и против меня самого. Составив в 1945 году свой первый сокращенный учебник по военной администрации, изданный академией, я явственно почувствовал ослабление слуха. Врачи-отоларингологи объяснили это как результат моих двух контузий головы, несмотря на отдаленность последних по времени. Они не знали, быть может, что я всерьез взялся за военную администрацию. В 1947 году, когда по приказанию начальства я подготовил более полный учебник по этой дисциплине и представил его к изданию, глухота моя сразу усилилась. Не облегчило моей болезни и то, что редакционно-издательский отдел и издательство на громадном протяжении времени — с 1948 по 1955 год (период редактирования учебника) — старались для моего же блага принять все меры с целью отдалить выход в свет учебника, а вместе с этим и опасность для меня окончательно потерять слух. К сожалению, избежать того и другого дальше 1955 года стало уже невозможным. Не смею отягчать внимание читателя рядом других моих работ, весьма разнообразных, соответственно опыту моей служебной деятельности.

2. Курсы командного состава артиллерии особого назначения.

3. Военно-химические курсы.

4. Высшая военно-педагогическая школа.

5. Повторные курсы командного состава радиочастей.

6. Объединенная военная школа имени ВЦИК Советов.

7. Объединенная военная школа Коминтерна («Красных коммунаров»).

8. Московская пехотная школа имени Ашенбреннера.

9. Московская артиллерийская школа.

10. Московская военно-инженерная школа имени III Коминтерна.

11. Высшая школа связи.

12. Окружная военно-политическая школа.

13. Нижегородская пехотная школа имени И. В. Сталина.

14. Иваново-Вознесенская пехотная школа имени М. В. Фрунзе.

15. Рязанская пехотная школа.

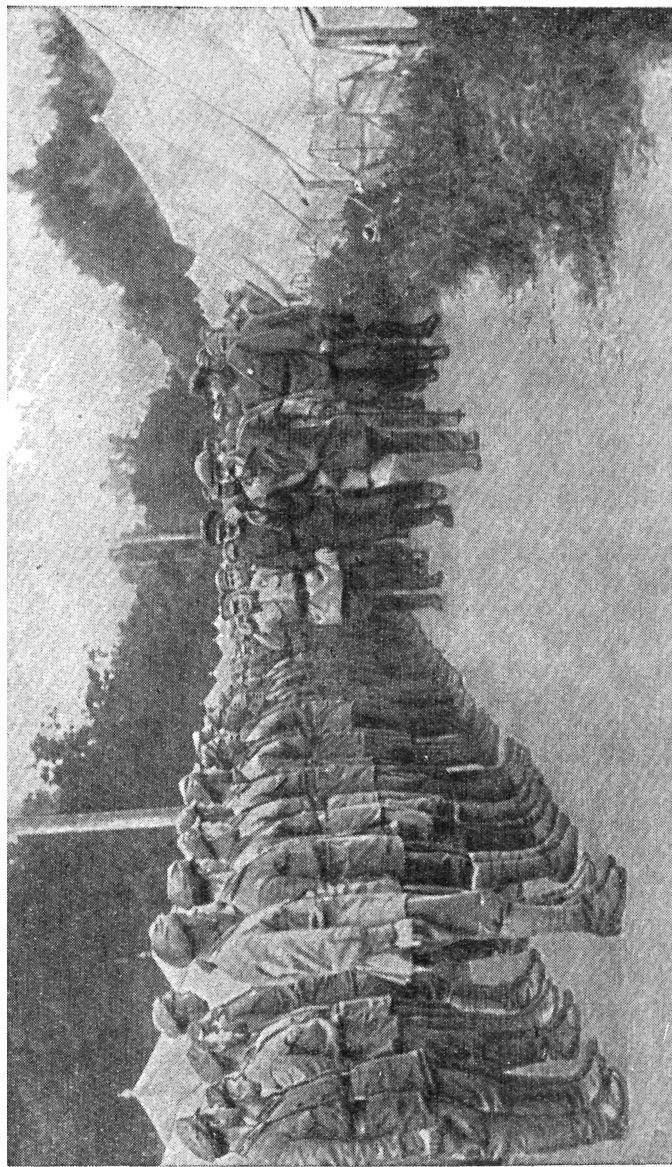
16. Тверская интернациональная кавалерийская школа.

17. Тульская оружейно-техническая школа.

Каждое из этих учебных заведений по своей специальности представляло огромное поле деятельности, полное самого захватывающего, притом своего особого, специфического интереса.

Мои посещения вместе с комиссаром тов. Воробьевым каждой из этих школ представляли чрезвычайно напряженную, до предела уплотненную и вместе с тем увлекательную работу.

По выработанной программе мы познакомились с личным составом школы, присутствовали в течение двух — трех дней на утренних зарядках и осмотрах, на уроках, на строевых и политических занятиях, при самостоятельной учебной работе курсантов; питались вместе с ними по их ежедневной раскладке. При посещении школ вне Москвы связывались также с местными партийными и советскими учреждениями, знакомились с их мнением о данной школе. Комиссар проводил партийные собрания, вместе с ним мы назначали общее собрание школы, на котором делали доклад о всем виденном нами и слышанном. На общее собрание всегда приглашали представи-



М. И. Калинин в лагере школы имени ВЦИК

телей от местных партийных организаций, а в лагерный период — от строевого командования и от соседних войсковых частей.

О каждом посещении школы мы представляли доклад командующему войсками округа или его заместителю, у которых таким образом собирался обширный материал о состоянии военно-учебных заведений.

За время начальствования военно-учебными заведениями (с 1922 до 1926 года) мне пришлось представлять их на смотр на Ходынском поле Командующему войсками округа Клименту Ефремовичу Ворошилову и председателю РВС Республики Михаилу Васильевичу Фрунзе. Пришлось мне также однажды командовать на Красной площади парадом курсантов, который принимал Михаил Иванович Калинин. Он знал меня и по гражданской войне и по частым посещениям расположенной в Кремле Объединенной школы имени ВЦИК Советов, на которых я встречал его вместе с начальником школы Лашуком.

Вместе с курсантами военно-учебных заведений Московского военного округа мне привелось в скорбный январский день 1924 года участвовать в высокопечальной встрече в Москве траурного поезда с телом Владимира Ильича Ленина.

Вечером этого дня мы с комиссаром созвали в Лефортовском дворце общее собрание курсантов — представителей от всех вузов. После наших докладов о Ленине и выступлениях курсантов, потрясенных тяжелой утратой, было зачитано обращение ЦК ВКП(б) к народу. В безмолвной тишине звучали огненные слова о бессмертном вожде:

«Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического — бесстрашный ум, железная, нестигаемая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений, — все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера».

Мое начальствование над военно-учебными заведениями округа было недолгим. В связи с общим сокращением

Красной Армии значительная часть их была ликвидирована. Управление остальными перешло в ведение Главного управления военно-учебными заведениями (ГУВУЗа). Специальные заведения (артиллерийские, инженерные и другие) были подчинены соответствующим главным начальникам.

Кроме названных военно-учебных заведений, в ведении ГУВУЗа находились всеобщее предварительное обучение, издание учебных пособий и устройство военных библиотек.

В связи с этими переменами я был назначен инспектором военно-учебных заведений ГУВУЗа и Московского военного округа.

С моим новым назначением изменилось очень мало. По-прежнему мы с комиссаром ездили по школам, проводили ту же программу обследования их работы, так же составляли доклады о результатах нашего ознакомления со школами, представляя их в ГУВУЗ и командующему войсками.

В 1926 году, уже несколько скучая по прежней более тормозливой деятельности, я с радостью узнал о введении правительством высшей вневойсковой подготовки в гражданских высших учебных заведениях и о предложении мне должности старшего военного руководителя этих учебных заведений в Москве, а в частности военного руководителя Московского университета. Я с большой готовностью дал свое согласие и несколько не жалел, что вскоре моя деятельность ввиду сложности ее в громадном Московском университете была ограничена этим последним.

* * *

Введение высшей допризывной подготовки в некоторых гражданских высших учебных заведениях было вызвано стремлением облегчить и удешевить дело обеспечения армии нужным количеством квалифицированных командиров запаса.

Дело это было новое и требовало большой подготовки к нему и со стороны военного ведомства (материальная база и личный состав) и со стороны учебных заведений, в смысле предоставления помещений, их оборудования и соответственного построения учебных планов.

Предполагалось, что военная специальность подготавливаемого этим путем запаса командного состава устанавливается в соответствии со специальностью того или другого учебного заведения. В Московском университете, подобно его факультетам, военная подготовка студентов получила уклоны пехотный, артиллерийский, химический и медицинский, причем к ней были привлечены и студентки. Дело осложнялось тем, что расположенный в самом центре города университет не имел вокруг себя никаких площадей, нужных для военных занятий, устройства военных кабинетов, тира и т. д.

В начале своего появления в университете я мог получить для «военного кабинета» лишь крошечную комнатку, чуть не половину которой занимала громадная круглая железная печь. Помня о своих обязанностях по организации допризывной подготовки студентов, я настойчиво ставил перед ректором Андреем Януарьевичем Вышинским вопросы, с этим связанные. Активную поддержку в моих стремлениях к надлежащей постановке военного обучения я встретил в партийной организации университета и в обширном коллективе студентов, которые при громадной учебной нагрузке все же находили время с увлечением отдаваться изучению военного дела, умели установить правильные отношения с нами, военными преподавателями, соединяя требуемую военную дисциплину и самые дружеские товарищеские отношения. Со многими из них я сохранил эти отношения и по уходе из университета.

Работа в старейшем учебном заведении страны давала мне большое моральное удовлетворение.

Постановлением общих собраний Московского государственного университета я дважды в течение двух созывов выдвигался депутатом от университета во Фрунзенский районный Совет депутатов трудящихся. Своей депутатской работой я искренне старался оправдать доверие университетской общественности.

* * *

Много теплых воспоминаний связано у меня с моей работой военного руководителя в Московском гидрометеорологическом институте (МГМИ), куда я был переведен из университета.

Если Московский университет по своей основной массе студенчества и их специальности склонялся больше в отношении военного уклона к пехоте, то МГМИ уже тяготел, с одной стороны, к инженерному уклону (гидрологи), а по своей основной специальности — метеорологической — к авиационному уклону.

Поэтому, когда были введены для командного состава РККА новые звания, я был причислен к авиационным войскам и наименован «комбригом» по этим войскам.

Помимо педагогической работы, я в эти годы уделял много внимания работе Постоянного военно-научного совещания, созданного при президиуме Центрального совета Осоавиахима СССР, а также шефской работе и очень близкой моему «филологическому сердцу» работе по подготовке военных переводчиков на специальных курсах при Центральном Доме Красной Армии. В связи со всей этой деятельностью я получал многочисленные грамоты и ценные подарки, был отмечен в приказах по Московскому военному округу.

Всякий раз при получении благодарственных приказов, подарков и грамот я спрашивал себя: в какой доле могу я относить их лично к себе? Ведь настоящим виновником приписываемых мне заслуг я вижу Советскую власть и Коммунистическую партию, воспитавших нас, советских граждан, в беспредельной любви к Родине и народу, в потребности видеть в труде на благо их высшее наслаждение.

Не скрою, много удовлетворения доставляло мне получать приветствия и поздравления в виде телеграмм и писем от моих сослуживцев, а особенно от моих учеников университета и института: им-то по молодой прямоте душевной, конечно, и в голову не придет скрывать или, наоборот, преувеличивать свои чувства. Я вспоминаю с большим наслаждением такой случай. В конце тридцатых годов мне пришлось быть на официальном докладе в присутствии высших военных представителей Москвы в клубе Министерства обороны на Красной площади. Дебатировался важный и острый вопрос о войне «на истощение» и о войне «на сокращение». В прениях выступал и я. По окончании прений уже далеко за полночь я вышел на *Красную площадь в сопровождении своих товарищей по армии, очень почтенных по возрасту и рангу. Они еще продолжали обсуждение со мной только что слышанных

мнений. Вдруг к нам бросается целая ватага молодых людей, проходивших по площади. Не обращая внимания на моих важных спутников, они окружили меня, увлекая с собой вниз к Москве-реке — гулять по набережной. Не дали мне даже проститься с моими спутниками и объяснить им происходящее.

Так буйно проявилось расположение ко мне студентов Гидрометеорологического института, оказавшихся на нашем пути.

Домой я вернулся лишь под утро. Встревоженная столь долгим моим отсутствием жена не легла спать.

— Неужели доклад так затянулся? — недовольно спросила она.

— Ну, ты понимаешь: доклад-то ведь был в клубе! — туманно ответил я, не желая пускаться в подробности.

Как бывает мне стыдно, когда на улице меня чрезвычайно приветливо останавливают молодые люди обоего пола, рекомендуясь: ваши ученики по университету или по институту, а я не могу не только припомнить фамилии, но и признать в лицо! Но таково действие «всесокрушающего невозвратного времени» (*irreparabilis temporis*), — как говорили еще в древнем Риме).

Летом 1954 года со мной произошел такой случай. Направляясь вместе с женой к станции метро «Сокол», я увидел у входа в вестибюль незнакомого гражданина, остановившегося с широко раскрытыми, устремленными на меня глазами и, по-видимому (после контузий я потерял слух и потому ничего не слышал), что-то оживленно говорившего. Приняв его за продавца какого-нибудь товара, я не обратил на него особого внимания и двинулся дальше. Но жена, дернув меня за рукав, написала на газете, указывая на незнакомца: «Товарищ Воробьев, твой бывший комиссар».

Только тут как бы покрывало спало с лица «незнакомца». Мы бросились друг к другу и, к большому удивлению уже окруживших нас любопытных, облобызались, как бывало прежде при христосовании на улицах, но не три раза, а трижды три, держа один другого за руки!



Глава 4-я

В ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛАХ

После введения в 1940 году правительством генеральских званий мне постановлением Совета Народных Комиссаров было, в числе нескольких других лиц, присвоено высокое звание генерал-лейтенанта авиации, а вскоре я был назначен в Главное управление Военно-воздушных сил заместителем начальника оперативного отдела.

Наш отдел был в переходном положении общей реорганизации, еще не вылившимся в определенные формы ни в отношении структуры, ни в отношении его деятельности.

Работа в оперативном отделе для меня, как лица, лишь впервые приступившего к детальному изучению авиационного дела во всем его многообразии, конечно, была очень интересной. Но она казалась мне монотонной и слишком спокойной.

Поэтому я был очень рад, когда мне предложили перейти на преподавательскую работу в Военную академию командного и штурманского состава, созданную на базе Московской Военно-воздушной инженерной академии.

Явившись летом 1941 года к начальнику академии, я сначала поставил его в тупик: что делать со мной как с новым преподавателем в таком большом чине, когда все кафедры возглавлялись лишь полковниками.

Я его успокоил, сказав, что готов без претензий начать, с чего придется. Предложив мне выбирать любую кафедру, он отдал приказ о зачислении меня преподава-

телем на кафедру общей тактики, как наиболее мне подходящую.

На первых порах пришлось и для жилья удовлетвориться лишь маленькой комнаткой с еле установившимися в ней небольшим столиком и двумя кроватями по бокам. Впрочем, особых неудобств испытывать не приходилось, тем более что днем я почти не выходил из помещений кафедры, а ночью, при частых воздушных тревогах, маленькая комнатка представляла несомненные выгоды — все было под рукой, чтобы быстро собраться и выбежать в лесок возле дома. К тому же вскоре пришлось вообще эвакуироваться со всей академией к новому месту ее дислокации.

После продолжительного скитания по железным дорогам академия, наконец, осела в городе Оренбурге, в «великих воротах народов» — между Уральскими горами и Каспийским морем. Через два года (24 апреля 1943 года) постановлением Высшей аттестационной комиссии я был утвержден в звании профессора по кафедре «Общая тактика». А затем вскоре получил кафедру по военной администрации, на преподавание которой переключился.

Постепенно и здесь все вошло в норму, начались спокойные учебные занятия. Правда, вновь назначенный начальник академии обрек меня на непредвиденные им муки, так как он поручил местному художнику написать красками мой портрет. После довольно длительного и тягостного моего позирования из-под кисти оренбургского маэстро вышел портрет человека со столь естественными чертами горького пьяницы, что мог бы служить для назидания потомству о пагубном действии вина.

В конце 1942 года исполнилось ровно полвека моей военной службы на командных должностях, и Президиум Верховного Совета СССР, по представлению академии, удостоил меня высшей правительственной награды — ордена Ленина. Орден был прислан в Оренбург и прикреплен к моей груди от имени Президиума собственной рукой командующего войсками округа.

Получение столь почетной оценки правительством моей служебной деятельности позволило мне считать себя достойным высокого звания члена партии, и я подал в партийную организацию академии заявление о

приеме в партию. В 1943 году я был принят в кандидаты, а в 1944 году получил партийный билет.

В связи с этим столь важным в моей жизни и столь волнующим меня событием я невольно вспомнил с чувством признательной благодарности о двух коммунистах, которым был обязан своими первыми мыслями о партии и ее великих целях: о Михаиле Николаевиче Покровском, уже в 1918 году открывшем мне глаза на значение и роль партии в судьбе Родины и русского народа, и о Михаиле Сергеевиче Кедрове, чей образ коммуниста-ленинца был для меня живым примером беззаветного участия в защите созданной партией Советской республики и в активной работе по созданию новой Красной Армии.

Как-то, вскоре после возвращения академии в Москву, Маршал авиации Федор Яковлевич Фалалеев, назначенный начальником академии (я никогда раньше не имел случая его встречать), подошел ко мне перед зданием академии и сразу озадачил меня словами: «Знаете ли вы, что я из-за вас получил замечание от товарища Сталина?» Видя мое испуганно-изумленное лицо, маршал улыбнулся и продолжал: «Когда я докладывал о награждении вас, по представлению академии, орденом Красного Знамени в связи с вашей 50-летней службой, он сказал: «Стыдно награждать его только орденом Красного Знамени; измените представление на награждение орденом Ленина». Сталин, оказывается, помнит о вашей службе вместе с Михаилом Васильевичем Фрунзе».

Излишне говорить, какое впечатление произвел на меня этот рассказ маршала.

Получая ордена, которыми награждала меня советская Родина, я всегда думал о Ленине, который в свое время сказал, что без военспецов не могла быть создана Красная Армия. В словах великого вождя — высшая награда скромному труду тысяч офицеров и генералов, перешедших, как и я, на службу революции.

Оставляя в 1948 году ряды родной Советской Армии, я с удовлетворением видел, что дело защиты светлого будущего советского народа уже приняло на свои могучие плечи новое поколение офицеров и генералов, которые с еще большей славой пронесут свои боевые знамена сквозь любые бури и грозы во имя полного торжества коммунизма — эпохи, в которой грядущим поколениям человечества не придется уже опасаться войн!

С выходом в отставку кончилось мое активное служение Родине и народу, в чем состоял главный смысл моего существования. Мне оставалось, говоря языком прощального приказа по академии, пользоваться «заслуженным отдыхом» и размышлять о прожитых годах.

С этой целью я и предпринял настоящие воспоминания.

«In den Ozean schiff't mit tausend Masten
Der Jungling, — still, auf gerettetem Boot, treibt
in den Hafen der Greis»*.

С особым чувством я воспринимаю теперь элегическую грусть этих мудрых, с детства знакомых строк. Старость моя не отяжелена для меня ни какими-либо неблагоприятными обстоятельствами личной жизни, ни условиями общественного характера.

Легко и со спокойной совестью доживаю я свой век, и многое облегчает мне в высшей степени бремя старческих лет.

Вот за машинкой сидит Анна Сергеевна, моя жена — спутник столько лет моей жизни. Она тоже постарела, но еще достаточно бодра, чтобы хлопотать по дому, печатать мои воспоминания. С ней сердечно делили и делим радости и невзгоды в личной и общественной жизни. Как это помогало работе, каким теплым светом это наполняет жизнь.

Вот вернулась из редакции «Вечерней Москвы» моя дочь Кира. Она работает там с давних пор. Я не слышу голосов ни ее, ни жены, ни внучки Тани, но мне приятно видеть их оживленные лица.

Было и много горя в нашей семье. В 1926 году, едва кончив университет, моя старшая дочь вызвалась сопровождать на юг свою заболевшую подругу и в дороге попала под колеса поезда, лишилась ноги. Позже, работая в институте физики, она заболела и вскоре умерла, едва достигнув тридцати лет. Погибла при выполнении гражданского долга и ее дочь Оля, будучи уже студенткой первого курса университета.

Как ни тяжело мне — отцу и деду — вспоминать об этом, я всегда с гордостью думаю о патриотической чи-

* В открытый океан на тысяче парусов несется юноша, — тихо на уцелевшем челне тащится в гавань старик. — Ш и л л е р.

стоте юных и родных мне сердец, не пожалевших себя во имя общего дела.

Когда теперь в раздумье оглядываешься назад, вспоминаешь свой большой жизненный путь и видишь неизмеримо широкую поступь народа к светлому будущему коммунизма, сердце, выдержавшее столько испытаний, наполняется такой радостью, что кажется, будто оно совсем и не состарилось за мою вот уже почти девяностолетнюю жизнь.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

В старой России

	<i>Стр.</i>
Глава 1-я. Детство и гимназические годы	7
Глава 2-я. В военном училище	30
Глава 3-я. Жизнь в полку (1892—1895)	39
Глава 4-я. В академии	54
Глава 5-я. Штабной ценз. Цензовое командование ротой	67
Глава 6-я. В Киевском военном округе	72
Глава 7-я. В Главном управлении Генерального штаба	113
Глава 8-я. В Ставке Верховного главнокомандующего	141
Глава 9-я. На Западном фронте	161

Часть вторая

На службе революции

Глава 1-я. Брест-литовские мирные переговоры	181
Глава 2-я. Армия после революции. Боевые действия на- Севере	202
Глава 3-я. На военно-педагогической работе	258
Глава 4-я. В Военно-воздушных силах	271

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ САМОЙЛО
ДВЕ ЖИЗНИ

Редакторы *Н. Г. Жданов, Г. М. Игнаткович*
Художник *М. Г. Вшивков*

Технический редактор *В. П. Рыбкина* Корректор *Ф. М. Горелик*

Сдано в набор 25.11.57 г. Г-40132. Подписано в печать 14.02.58 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂ — 8⁹/₈ печ. л. = 14,145 усл. печ. л. + 1 вкл. ¹/₈ печ. л. =
= 0,205 усл. печ. л. 13,925 уч.-изд. л.

Военное издательство Министерства обороны Союза ССР

Москва, К-Э, Тверской бульвар, 18.

Изд. № 7/9168.

Зак. № 719.

1-я типография имени С. К. Тимошенко
Военного издательства Министерства обороны Союза ССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Цена 5 р. 20 к.